
РУССКИЕ
ЦВЕТЫ
ЗЛА
ВИКТОР ЕРОФЕЕВ
ВАРЛАМ ШАЛАМОВ
АНДРЕЙ СИНЯВСКИЙ
ВИКТОР АСТАФЬЕВ
ЮРИЙ ВИЗБОР
ФРИДРИХ НИЦШЕ
СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ
ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ
САША СОКОЛОВ
ЕВГЕНИЙ ХАРИТОНОВ
ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ
ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ
РУСЛАН КИРЕЕВ
АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВ
ВЛАДИМИР СОРОКИН
ДМИТРИЙ ПРИГОВ
ЛЕВ РУБИНШТЕЙН
ЮЛИЯ КИСИНА
ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ
ВИКТОР ПЕЛЕВИН
ЭДУАРД ЛИМОНОВ

Русские цветы зла

Виктор Владимирович Ерофеев, Варлам Тихонович Шаламов, Андрей Донатович Синявский, Виктор Петрович Астафьев, Юрий Витальевич Мамлеев, Фридрих Наумович Горенштейн, Сергей Донатович Довлатов, Венедикт Васильевич Ерофеев, Валерий Георгиевич Попов, Саша Соколов, Евгений Владимирович Харитонов, Эдуард Вениаминович Лимонов, Вячеслав Алексеевич Пьецух, Татьяна Никитична Толстая, Анатолий Николаевич Гаврилов, Владимир Георгиевич Сорокин, Дмитрий Александрович Пригов, Лев Семёнович Рубинштейн, Юлия Дмитриевна Кисина, Игорь Яркевич, Виктор Олегович Пелевин

Аннотация

Ерофеев Виктор. Русские цветы зла
Варлам Шаламов. Тифозный карантин
Андрей Синявский. Золотой шнурок
Виктор Астафьев. Людочка
Юрий Мамлеев. Тетрадь индивидуалиста
Горенштейн Фридрих. С кошелочкой
Сергей Довлатов. Компромисс
Компромисс пятый
Ерофеев Венедикт. Василий Розанов глазами эксцентрика
Попов Валерий. Любовь тигра
Соколов Саша. Тревожная куколка
Харитонов Евгений. Духовка
Лимонов Эдуард. The Night Souper
Пьецух Вячеслав. Центрально-Ермолаевская война
Толстая Татьяна. Поэт и муза
Попов Евгений. Как съели петуха
Анатолий Гаврилов. История майора Симинькова
Сорокин Владимир. Заседание завкома
Пригов Дмитрий. Игра в чины
Пригов Дмитрий. Описание предметов
Пригов Дмитрий. Расчеты с жизнью
Рубинштейн Лев. Мама мыла раму
Рубинштейн Лев. Шестикрылый Серафим

Кисина Юлия. Полет голубки над грязью фобии
Яркевич Игорь. Солженицын, или Голос из подполья
Виктор Пелевин. Хрустальный мир
Ерофеев Виктор. Сила лобного места

Аннотация

Зло в русской литературе последней четверти XX века.

Последняя четверть XX века в русской литературе определилась властью зла. Вспомнив Бодлера, можно сказать, что современная литературная Россия нарвала целый букет ЦВЕТОВ ЗЛА. Ни в коем случае я не рассматриваю отдельных авторов этой книги лишь в качестве элементов такой икебаны, достаточно убежденный в их самозначимости. Однако сквозь непохожие и порой враждебные друг другу тексты проступает особая тема. Она не просто дает представление о том, что делается сейчас в русской литературе. Важнее, что сумма текстов складывается в роман о странствиях русской души. Поскольку русская душа крутилась в последнее время немало, ее опыт превращается в авантюрный и дерзкий сюжет. В русскую литературу вписана яркая страница. Классический роман XIX века уже никогда больше не будет учебником жизни, истиной в последней инстанции. Внесены зубодробительные коррективы. Чтобы выра-

зить силу зла, в русскую литературу пришло поколение далеко не слабых писателей.

Ерофеев Виктор
Русские цветы зла

Зло — это то, что отдаляет нас от Бога и людей.

Из разговора с монахами Ново-Валаамского монастыря

Признаться, я не люблю литературные антологии. Они напоминают винные дегустации, где вместо того, чтобы выпить бутылку хорошего вина, пьешь по глотку из каждой бочки, да еще под присмотром румяного винодела, что смотрит на тебя с немым вопросом: ну как?

В лучшем случае, отделаешься головной болью. Если я все-таки предлагаю литературную дегустацию, то не из желания угостить головной болью, а потому, что вкусовой букет новой русской литературы имеет самостоятельную ценность смешения.

Впрочем, слово «букет» можно использовать в ином значении.

Последняя четверть XX века в русской литературе определилась властью зла. Вспомнив Бодлера, можно сказать, что современная литературная

Россия нарвала целый букет fleurs du mal. Ни в коем случае я не рассматриваю отдельных авторов лишь в качестве элементов моей икебаны, достаточно убежденный в их самозначимости. Однако сквозь непохожие и порою враждебные друг другу тексты проступает любопытный архитекст.

Он не просто дает представление о том, что делается сейчас в русской литературе. Об этом пусть позаботятся ученые слависты. Важнее, что сумма текстов складывается в роман о странствиях русской души. Поскольку русская душа крутилась в последнее время немало, ее опыт выходит далеко за границы «славянских» интересов, превращая повествование в авантюрный и дерзкий сюжет.

Когда-то сталинские писатели мечтали создать единый текст советской литературы. Современные писатели пародируют их мечту. Если коллективный разум советской литературы телеоцентричен, то в новой литературе цветы зла растут сорняками, как попало.

Базаров, герой романа «Отцы и дети», был нигилистом, скандализировавшим общественную нравственность, однако его ключевая фраза звучала как надежда: «Человек хорош, обстоятельства плохи». Я бы поставил эту фразу эпиграфом к великой русской литературе. Основным пафосом

ее значительной части было спасение человека и человечества. Это неподъемная задача, и русская литература настолько блестяще не справилась с ней, что обеспечила себе мировой успех.

Обстоятельства русской жизни всегда были плачевны и неестественны. Отчаянная борьба писателей с ними во многом заслоняла собой вопрос о сущности человеческой природы. На углубленную философскую антропологию не оставалось сил. В итоге, при всем богатстве русской литературы, с ее уникальными психологическими портретами, стилистическим многообразием, религиозными поисками, ее общее мировоззренческое кредо в основном сводилось к философии надежды, выражению оптимистической веры в возможность перемен, призванных обеспечить человеку достойное существование.

Недаром проницательный маргинальный философ второй половины XIX века Константин Леонтьев говорил о розовом христианстве Достоевского, а также Толстого, почти полностью лишенного метафизической сути, но зато решительно развернутого в сторону гуманистических доктрин, напоминавших французских просветителей. Русская классическая литература замечательно учила тому, как оставаться

человеком в невыносимых, экстремальных положениях, не предавать ни себя, ни других; эта проповедь до сих пор имеет универсальное образовательное значение. Мысль Набокова о том, что Достоевский — писатель для подростков, формирующий молодое сознание, приложима в какой-то степени и ко многим другим русским писателям. Но если для Запада опыт русской литературы стал только частью общего литературного знания, и его инъекция, бесспорно, благотворна, то русское культурное общество в свое время получило такую дозу литературного проповедничества, что в конечном счете стало страдать чем-то наподобие моральной гипертонии, или гиперморалистической болезнью.

Правда, в начале XX века в русской культуре произошел серьезный разрыв с традицией. Он отразился в философии (например коллективный сборник «Вехи», описавший национальные стереотипы прогрессивного сознания), в изобразительном искусстве русского авангарда, а также в литературе «серебряного века». Длившийся около двадцати лет, богатый именами и стилистическими школами, «серебряный век», с точки зрения традиционной ментальности, представлял собой декаданс, однако его значение

во многом определилось отказом от предшествующей антропологии. Пожалуй, наиболее скандальным произведением той поры оказался небольшой роман Федора Сологуба «Мелкий бес». Его постулат: зло имеет не социальный смысл, а широко и привольно разлито в человеческой душе. Философии надежды здесь нечего делать.

Однако русская литература не захотела расставаться с оптимистической иллюзией. Она потянулась за народническим беллетристом Владимиром Короленко с его крылатыми словами: «Человек создан для счастья, как птица для полета», за Горьким, возвестившим: «Человек — это звучит гордо». Оба высказывания легли в фундамент социалистического реализма.

Смешивая гуманизм как «пракоммунистическую» философскую доктрину Ренессанса с непосредственным человеколюбием (то есть «добровольной» любовью человека к человеку), советские идеологи выставляли каждого, кто сомневался в гуманизме, как врага человечества. Такой подлог породил в советской культуре то, что Андрей Платонов назвал оргией гуманизма. Впоследствии эти оргии превратились в литературу лжи и позора с такими наворотами бреда и графомании, которые явили собой непревзойден-

ные образцы китча.

С другой стороны, с самого своего зарождения нонконформистская литература, от замятинского романа «Мы» через булгаковские сатирические повести и «Мастера и Маргариту», роман «Доктор Живаго» и так далее, вплоть до корпуса солженицынских сочинений, говорила о достойном сопротивлении тирании, о поруганных человеческих ценностях.

Советская и антисоветская литература состязались в гуманистических прыжках. Между тем именно при советской власти человек, то есть субъект гуманизма, показал, на что он способен. Продемонстрировав чудеса подлости, предательства, приспособленчества, низости, садизма, распада и вырождения, он, выяснилось, способен на все.

Сталинская комедия, разворачивавшаяся на гигантской сцене Евразии, в этом смысле была поучительна, и непредвзятый зритель мог выйти после ее окончания с самыми пессимистическими представлениями о человеческой природе. Однако когда наиболее блистательная ее часть завершилась в 1953 году со смертью автора и режиссера, оставшиеся в живых зрители поспешили все зло свалить на «культ личности»,

засвидетельствовав, ко всему прочему, человеческую неспособность к анализу.

Столкновение казенного и либерального гуманизма сформировало философию хрушевской «оттепели», которая основывалась на «возвращении» к подлинным гуманистическим нормам. «Тепло добра» стало тематической доминантой целого поколения поэтов и прозаиков 60-х годов (Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Василий Аксенов, Фазиль Искандер, Андрей Битов, Владимир Войнович, Георгий Владимов и др.), впоследствии именуемого «шестидесятниками».

С их точки зрения, критика гуманизма была недопустимой роскошью, мешающей борьбе с лицемерным режимом, возможности привести его к желаемой модели «с человеческим лицом».

В конце 80-х годов история советской литературы оборвалась. Причина ее смерти насильственна, внелитературна. Советская литература была оранжерейным цветком социалистической государственности. Как только в оранжерее перестали топить, цветок завял, потом засох. Симметричный ей цветок литературы сопротивления также захирел; они были связаны единой корневой системой.

В результате все смешалось. Писатели остались

без литературы.

Однако не все. Еще в оранжерейные времена стала складываться литература позже критика назвала ее другой литературой — вне основной проповеднической линии. Политически другая литература была «неясной», что вызывало недоверие к ней у противостоящих идеологических лагерей. Конечно, она не страдала советизмом, но скорее была асоветской, нежели антисоветской. Она сдержанно относилась к диссидентской литературе; та ей казалась идейной изнанкой конформистской словесности при заметной общности эстетических критериев.

Другая литература училась у странной (с точки зрения русского интеллигентного сознания) смеси учителей: Гоголя и маркиза де Сада, декадентов начала века и сюрреалистов, мистиков и группы «Битлз», Андрея Платонова и никому не ведомого Леонида Добычина, Набокова и Борхеса. Она любила Паунда и заумь обэриутов, боевики Голливуда, поп-арт и блатные песни, сталинские небоскребы и западный постмодерн.

Потеря общей идеи высвобождает энергию, необходимую для свободного путешествия. Рожденная в диалектической игре потерь и приобретений, новая русская литература выпорхнула из

клети. Острота переживания свободы заложена в сущности ее существования.

Отправная точка путешествия — ад. Две точки отсчета: Солженицын и Шаламов. Солженицын нашел возможным воспеть в ГУЛАГе русскую душу (Иван Денисович). Шаламов («Колымские рассказы») показал предел, за которым разрушается всякая душа. Это было новым, или, во всяком случае, так это прочитывалось. Он показал, что страдания не возвышают людей (линия Достоевского), а делают их безразличными, стирается даже разница между жертвами и палачами: они готовы поменяться местами.

Рассказы Варлама Шаламова, проведшего в тюрьмах и лагерях семнадцать лет, написаны не Орфеем, спустившимся в ад, а Плутоном, поднявшимся из ада и осознавшим «иллюзорность и тяжесть надежды». Эта смена вех стала для другой литературы принципиальной.

Как и герой рассказа «Тифозный карантин», Шаламов «был представителем мертвецов. И его знания, знания мертвого человека, не могли им, еще живым, пригодиться».

Мертвец все видит по-мертвецки, что становится предпосылкой для остраненной прозы, не свойственной эмоционально горячей русской

литературе: «Думал ли он тогда о семье? Нет. О свободе? Нет. Читал ли он на память стихи? Нет. Вспоминал ли прошлое? Нет. Он жил только равнодушной злобой».

Шаламовский ГУЛАГ стал скорее метафорой бытия, нежели политической реальности. Какое-то время такое отношение к человеку оставалось маргинальным. В хрущевскую «оттепель» возобновился традиционный спор между западниками и славянофилами. Противостояние литературных партий определило проблему внутренней разорванности русской культуры. Но, несмотря на разногласия, каждая партия думала об общем благе.

Литература конца века исчерпала коллективистские возможности. Она уходит от канона к апокрифу, распадается на части. С середины 70-х годов началась эра невиданных доселе сомнений не только в новом человеке, но и в человеке вообще. Новая русская литература засомневалась во всем без исключения: в любви, детях, вере, церкви, культуре, красоте, благородстве, материнстве, народной мудрости (крушение народнических иллюзий, которые не рассеялись в интеллигенции за время существования советской власти), а позднее и в Западе. Ее скептицизм со временем

возрастал. Это двойная реакция на дикую русскую действительность и чрезмерный морализм русской культуры.

Разрушилась хорошо охранявшаяся в классической литературе стена (хотя в лучших вещах она была более условной, нежели берлинская) между агентами жизни и смерти (положительными и отрицательными героями). Каждый может неожиданно и немотивированно стать носителем разрушительного начала; обратное движение затруднено. Любое чувство, не тронутое злом, ставится под сомнение. Идет заигрывание со злом, многие ведущие писатели либо заглядываются на зло, завороженные его силой и художественностью, либо становятся его заложниками. В социалистическом реализме некоторые из них находят черты грубого очарования, в его архитектурных формах им видятся истинные онтологические модели. Красота сменяется выразительными картинами безобразия. Развивается эстетика эпатажа и шока, усиливается интерес к «грязному» слову, мату как детонатору текста. Новая литература колеблется между «черным» отчаянием и вполне циничным равнодушием.

В литературе, некогда пахнувшей полевыми

цветами и сеном, возникают новые запахи — это вонь. Все смердит: смерть, секс, старость, плохая пища, быт. Начинается особый драйв: быстро растет количество убийств, изнасилований, совращении, абортов, пыток. Отменяется вера в разум, увеличивается роль несчастных случаев, случая вообще. Писатели теряют интерес к профессиональной жизни героев, которые остаются без определенных занятий и связной биографии. Многие герои либо безумны, либо умственно неполноценны. На место психологической прозы приходит психопатологическая. Уже не ГУЛАГ, а сама распадающаяся Россия становится метафорой жизни.

То, что Россия — «большая зона», продолжение ГУЛАГа с его безжалостными законами, — видно в прозе Виктора Астафьева. Вовлеченность писателей во зло имеет различные степени. Есть попытки его локализовать, объяснить деградацию внешними причинами, списать на большевиков, евреев. Как одного из вождей деревенской прозы, Астафьева душит злоба: он люто ненавидит городскую культуру, «совращенную» Западом, символом которого становятся развратные танцы, зловеще описанные в «Людочке». Однако Астафьев предоставил злу такую свобо-

ду самовыражения, что перспективы борьбы с ним плачевны. Патриархальный мир деревни почти полностью уничтожен, надежда на его спасительную функцию минимальна. Даже священный в русской литературе образ матери, живущей в деревне и призванной быть хранительницей устоев, создан Астафьевым без сочувствия. Покорность несчастной судьбе доминирует; создается атмосфера почти восточного фатализма; насильственная смерть выглядит не менее естественной, чем на войне или в опасных кварталах Нью-Йорка. Самоубийство героини запрограммировано самой композицией рассказа. Однако деревенская литература не может не выдвинуть положительного героя, народного мстителя. Он должен расправиться с тем отвратительным хулиганом, который довел героиню до самоубийства. Сцена самовольной расправы — достаточно сомнительная победа добра — вызывает у автора предельное удовлетворение. Георгий Победоносец убил гадину. Сквозь повествование проглядывает трогательная душа самого автора, но злобные ноты бессилия, звучащие у Астафьева, свидетельствуют в целом о поражении моралистической пропаганды.

И если она еще уместна в произведениях

писателей, связанных с общим духом «шестидесятничества», то у «черной овцы» «шестидесятничества» Фридриха Горенштейна уже почти нет никакой надежды на положительного героя. Им вынужден стать сам повествователь, с трудом справляющийся с брезгливым чувством к жизни, идейный дубликат карающего Антихриста. Именно с такой точки зрения описан один день старухи Авдотьюшки, где уменьшительно-ласкательная форма имени не больше чем сарказм, не допускающий жалости. Вина в равной степени ложится как на предмет, так и на субъект изображения. Мир не лучше и не хуже героини: они достойны друг друга. Сквозной для русской литературы тип маленького человека, которого требуется защитить, превращается в корыстную и гнусную старуху, подобно насекомому ползающую по жизни в поисках пищи.

Находясь на стыке двух литературных поколений, Горенштейн, а вместе с ним Людмила Петрушевская и ряд других писателей разрываются между уверенностью «шестидесятников» в том, что пороки социально мотивированы (их тексты социально воспалены, в них есть сильный пафос разоблачительства), и безнадежностью другой литературы, параллельно которой они

начинают подозревать и самую человеческую природу, переходя в разряд беспомощных наблюдателей, удивленных «возможностями» зла: зависть, старческий маразм, отсутствие человеческой коммуникации, национальные распри.

Деградация мира уже не знает гуманистических пределов, мир по-ортеговски дегуманизируется. В самом писательстве обнаруживается род болезни, опасной для окружающих, что еще более подрывает верования в созидательные способности человека. Однако сомнения не распространяются на личность самого повествователя, он допускает насмешку надо всем, кроме себя.

Другое дело — Юрий Мамлеев. Его повествователь начинает с самоопределения, заимствованного у «подпольного» человека Достоевского: «Поганенький я все-таки человечишко». Главная героиня Мамлеева — смерть. Это всепоглощающая обсессия, восторг открытия табуированного сюжета (для марксизма проблемы смерти не существовало), черная дыра, куда всасываются любые мысли. Смерть становится единственной реальной связью между бытием и сознанием. Мамлеевский текст не отвечает на вопрос о том, что порождает эту связь: несчастное советское

(российское) бытие, провоцирующее мысль об онтологическом неблагополучии, или же несчастное автономное сознание, воспаленное смертью до такой степени, что оно допускает неблаговидную форму бытия. Скорее всего важен не вопрос, а результат: смерть разрушает гуманистические конструкции. Остается лишь дикий испуганный визг мамлеевских персонажей (глагол визжать-основной мамлеевский глагол), которые хотят спастись от навязчивой мысли о неминуемой смерти в грязной пивной, сектах, сексе, галлюцинациях, убийствах, — ничего не помогает. Может помочь только тупость. Разнообразие «патологических» ужасов в консервативном письме, близком реалистической прозе XIX века и прежде всего Достоевского, грозит, однако, вылиться в тематическое однообразие, дойти до грани самопародии.

У Саши Соколова все ужасы призваны раствориться в самом «нетленном» повествовании. Таково назначение лирического героя, автобиографического двойника. В «Тревожной куколке» чувствуется его уверенность в правильности своего выбора. В социальном же смысле он принадлежит к лишним людям, над которыми глумятся «тупые, бескрылые препараторы в алых

косоворотках». Помимо коммунистических косовороток, возникают бабочки, мотыльки, прочий красочный и весьма жеманный жизненный бал-маскарад, на котором высказываются мысли о свободе и счастье. Костюмы нужны, чтобы скрыть банальность авторских идей, но главное — метафоры и усложненный синтаксис. Важна оболочка. В лице Саши Соколова современная литература пробует возможности эстетизма как формы нравственного сопротивления. Намечается гавань, куда готова скрыться русская душа, измученная злом: набоковская альтернатива совершенного стиля, который заслоняет собой действительность все больше и больше, до предела, до манифеста, объявляющего о том, что единственный субъект, достойный веры, авторское Я, в костюме тревожной куколки или без него.

Впрочем, чаще на смену «Я знаю, что делать» приходит «ничего не поделаешь». У ленинградских писателей Сергея Довлатова и Валерия Попова (их судьбы различны, один умер в эмиграции в Нью-Йорке, другой стал влиятельной литературной фигурой родного города, — но русская литература едина, она не делится на эмигрантскую и метропольную — после 1985 г.

это уже тривиальное утверждение) такая идея освещена мягким, чуть ли не чеховским юмором. Война со злом давно закончилась его окончательной победой, но жить-то надо.

Повествователь Валерия Попова вступает со злом в неизбежный, этически вечно ущербный контакт оккупированного с оккупантом. Более того, в нем пробуждается зависть. Он бы тоже хотел так славно переступать через обязательства и законы, как его «злые» герои, ему тоже хочется быть хозяином жизни, но не хватает смелости, мешает интеллигентность. Такая позиция не до конца у Попова отрефлектирована, но обозначена. Это не столько социальный оппортунизм, сколько литературно-метафизический, подразумевающий автономную любовь к рассказыванию интересных историй (вариант идеи искусства для искусства), нейтрализацию морального пафоса и, как следствие, отмену спасения.

Тему оппортунизма развивает Сергей Довлатов, который уже окончательно превращает описываемую реальность в театр абсурда и вовсе ослабляет, до нулевой степени, морализаторскую роль повествователя, выдвигая на первый план компромисс, который сознательно выносится им в заглавие цикла. Жизнь в отечестве обладает

удивительным комизмом. Довлатов не способен ее изменить, но способен описать, и описание становится преодолением реальности, превращением гадости в чистый предмет стиля. Чем нелепей, тем смешней. В отличие от светлого, лирического двойника Саши Соколова или темного, мутного повествователя Мамлеева довлатовский повествователь не лучше и не хуже других, он как все. Он знает, что в стране, само название СССР которой лживо, все построено на обмане, но он сам в нем участвует. Он шизофренически двоится, выступая как журналист, пишущий о «человеке, обреченном на счастье», чекистах и «стройках коммунизма», и как частное лицо, недовольное режимом, любитель женщин, находчивый пьяница. От внешних и внутренних несоответствий можно получать кайф. В результате вместо спасения — спасительный цинизм. Он превращает Довлатова в ключевую для новой русской литературы фигуру, делает популярным среди широкого читателя. Цинизм приносит облегчение, смягчает психологические трудности перехода от тоталитаризма к рынку; читатель получает долгожданную индульгенцию; его больше не приглашают к подвигам.

Цинизм достигает виртуозности у Эдуарда Ли-

монова. Его герой признается: «Я — особый тип. Страх мне знаком, как всем, но я всегда рвусь нарушать запреты». Для него интересны патология или внезапная откровенность, какое-то происшествие, что-то выпадающее из нормы, которая становится общим врагом другой литературы. Все решают ситуация, инстинкты, биологическое поле, каприз. Побеждает сильнейший. Он же и развлекается. Старая идея сверхчеловека ловко упакована в сознание маленького сентименталиста, любящего пиво, женщин и колбасу. Герой Лимонова не способен ни на что и одновременно способен на все. В зависимости от положения звезд и нервного состояния. Типично хулиганская ментальность, дразнящая воображение, особенно в России. Можно спокойно отойти от отвергнувшей героя певицы из бара, можно всадить в нее нож. Все меняется в одну секунду. Вчера авангардист, сегодня националист. Непредсказуемость — суть цинизма. Неустойчивый баланс провинциальных комплексов и мегаломании нарушается в 90-е годы за счет политизации героя. Убедившись в скуке западной жизни, он выбирает поруганный коммунистический идеал как вызов, как способ идти против течения, заставить о себе говорить. Активный вынос лите-

ратурного персонажа в жизнь — явление очень русское; литературные герои порождали кучу последователей. Лимоновский герой породил своего автора. Началась игра реального Лимонова с реальным злом, игра с кровью.

Ее хочет «заговорить» группа юродствующих писателей: Венедикт Ерофеев, Вячеслав Пьецух, Евгений Попов. Каждый из них по-своему затемняет свою мировоззренческую позицию. В советские времена затемнение служило политической маскировкой, самозащитой (или трактовалось как таковое), но по сути своей оно отражало отказ от рационалистических ответов на проклятые вопросы бытия, полемически яркое бессилие объяснить мир.

Венедикт Ерофеев предложил русской прозе особый биологический ритм алкоголической исповеди. Возник эффект национальной подлинности. Алкоголик ласковая, застенчивая, трепетная душа — оказался трезвее трезвого мира. Венедикт нащупал серьезную для русской культуры тему «несерьезного», «наплевательского» отношения к жизни, уходящего корнями в религиозное прошлое юродивых и скоморохов. Он предложил и национальное решение: «природный» цикл запоя и похмелья как отказ от

навязанных народу идеологических календарей, свой тип наркотического путешествия, ставшего благой вестью о несовместимости советизма и русской души.

Рассказ «Розанов глазами эксцентрика» дает возможность понять томление послесталинской культуры по литературным и религиозным образцам. Изобразив знаменательную встречу русской независимой культуры 60-70-х годов с «серебряным веком», автор представил ее как единственную «надежду» для собравшегося травиться современного интеллигента, разочарованного в прописных истинах рационализма. Непредвиденное, но долгожданное общение с головокружительными парадоксами Розанова расставило все по своим местам. Оказавшись подпольным, стыдливым морализмом, юродство дало полугерою полуавтору (такие кентавры распространены в другой литературе) силы для продолжения жизни, для проклятия властей предержащих, помогло обрести уверенность в правоте особого сплава самоуничижения и национальной гордости, почувствовать себя сопричастным созвездиям.

Как бы ни был несчастен, грязен и неблагообразен русский человек, он убежден, что в нем есть

что-то особенное, недоступное другим народам. «В русской душе есть все», — с оттенком юродства утверждает Вячеслав Пьецух. Это тип примиряющего писателя, для него худой мир лучше доброй войны. Добродушный, не желающий вдаваться в натуралистические подробности, Пьецух предпочитает карнавализировать зло, топя насилие в поэтике народной сказки (рассказ «Центрально-Ермолаевская война»). Он играет с неувядаемыми стереотипами русской архаики, национальной склонностью к мифологическому мышлению. Это попытка чудесным образом заколдовать зло, рассказать о нем в шутовской манере, незаметно подменить добром, перековать мечи на орала. Но стоит всмотреться в «центрально-ермолаевскую войну», противостояние двух деревень, как в глаза лезут глупость, пытки, нелепости, и финал превращается в невольную пародию на счастливый конец именно из-за своей очаровательной сказочности.

Юродствующее слово Евгения Попова более скорбно, хотя внешне красочно и полно шутовства. Писатель также стремится к миролюбивому исходу, но этому выходцу из Сибири не удается прийти к согласию. Генетически близкий деревенской прозе, Попов ушел от нее, фактически

поменяв лишь одну букву: деревенские чудаки в его рассказах превратились в мудаков. Матерное понятие приобрело метафизическое измерение. Попов пытается прояснить ход описываемых событий, но запутывается, виляет, валяет дурака, неспособный справиться с потоком жизни, в котором всплывают истории о том, как «поймали детей, подвесили в лесу, изрезали ножами и собрали кровь в колбы». Зачем? «А затем, чтоб сдавать на станцию ее переливания, получая за это громадные деньги».

Отказываясь от окончательного знания о мире, Попов оставляет невнятные, недописанные места, которые дают возможность либо домыслить за него и тем самым расширить сюжет, либо упрекнуть его в трусливом агностицизме. Порой затемнение не достигает нужного эффекта, распространяясь на области банального знания (тогда по отношению к своему читателю повествователь оказывается в слабой позиции), но иногда оно совпадает с метафизическими загадками.

Как и другие писатели, склонные к юродству, Попов замечательным образом и часто совсем ненароком показывает неевропейскость русского характера, непоследовательность, неопреде-

ленность воззрений и поступков, связанных с запутанностью аксиологической структуры русского мира. Западный читатель может вздохнуть с облегчением: он не живет в России, где так низко ценится человеческая жизнь и так много дикости. Дело, впрочем, не в России. Смысл новой русской литературы не в этнографической достоверности и не в разоблачении страны, а в показе того, что под тонким культурным покровом человек оказывается неуправляемым животным. Русский пример просто порой убедительнее прочих.

О некоторых преимуществах культурного «отставания» России можно судить по творчеству Евгения Харитонова. Он основал русскую современную гей-культуру в 70-е годы, когда гомосексуализм еще активно считался уголовным преступлением. Первооткрывательство и сама запретность темы подсказали писателю пластичный, страдательный стиль, благодаря которому он стал одним из лучших писателей своего поколения. Возникло новое письмо о любви (со времен Тургенева такой чистой любви не знала русская литература): страстное, затравленное, застенчивое, задыхающееся, по внутреннему напряжению предынфарктное. Писатель так и

умер: от разрыва сердца, на московской улице, не дожив до широкой известности. Теперь крепчающая гей-пресса прославляет Харитонова, он классик, его имя превращается в пароль.

Параллельно Харитонову возникает женская проза, откровенная, но в основном далекая от феминистской идеологии, к которой, например, Татьяна Толстая не скрывает своей враждебности. В ее рассказах по-мужски мощная энергия традиционного письма насмешливо контрастирует с описанием несчастных, бессмысленных судеб. Она готова приласкать и ободрить своих неудачливых героев, но отдает себе отчет в том, что помочь, а тем более спасти их трудно, почти невозможно. Побеждают другие, хитрые, злые, недоверчивые, выигрывают хищники, но это не значит, что хищники правы, просто в жизни нет ни справедливости, ни логики, а есть какая-то пульсация, мимолетные сны, жалко, и ничего не поделаешь, и хотя нет совсем хороших, зато есть совсем плохие, есть более хорошие и менее хорошие, и это надо показать, чтобы отличать одно от другого. Зачем? Вопрос повисает в воздухе, тем более что форма письма стимулирует авторское гурманство, желание заполнить пространство листа наиболее сочными, лупоглазыми, вырази-

тельными словами. Живость слова в рассказах Толстой, впрочем, несколько подозрительна, напоминает свежий вид хорошо сделанных деревьев, выставленных в американских интерьерах. Возможно, это не так, но современный культурный контекст неумолимо превращает живую зелень в искусную стилизацию.

Идея Анатолия Гаврилова создать положительного героя, офицера-ракетчика с большими карьерными амбициями скорее похожа на задание для соцреалистического писателя. Однако стилизированное под пушкинское, нейтральное повествование писателя противостоит как бывшей официозной литературе пропагандистского жанра, так и обличительной литературе, призванной ужаснуть читателя мерзостями армейской жизни. Принимая как данность ее уставные условности, Гаврилов прослеживает человеческую страсть к самоутверждению. То, что герой не достигает высоких ступеней, проистекает не из ошибки, а по воле голого случая, чистого анекдота, сводящих на нет все созидательные усилия и стремительно направляющих героя на дно. Никто не виноват; именно это приводит писателя к национальной созерцательной позиции.

Стилизация — признак словесного неблагополучия. Другой литературе приходится иметь дело с мертвым словом. Его можно старательно разукрасить, но трудно реанимировать. Русское слово советского периода, многократно оказавшись добычей ложных идеалов, фальшивых восторгов, обещаний и лозунгов, дошло до 70-х годов уже дискредитированным словом-мумией, словом-призраком.

У Андрея Синявского возникает желание произвести ревизию, инвентаризацию слова, вернуться к азам. Синявский, казалось бы, близок Ионеско, устраивая в рассказе «Золотой шнурок» парад мертвого учебного слова, способного выразить прежде всего абсурдность жизни. Однако в его случае возвращение к учебнику скорее призвано оживить слово, при помощи простых синтаксических конструкций наладить его коммуникацию с шумом жизни. «Думаете ли вы возвратиться в Россию? — Нет, я этого не думаю», — это уже слова рождающейся исповеди, однако предпринятая реанимация не заканчивается успехом, сам автор понимает «тупиковое» состояние прозы.

Убитый язык не лечится. Но то, что Синявский осознает как литературовед, московский кон-

цептуализм преподносит как последнее слово искусства. В радикальном крыле авангардизма (Пригов, Рубинштейн, Сорокин) в последние годы коммунистического режима зародилась субкультура московского концептуализма со своими законами, публикой, семиотикой, ритуалами подпольных вернисажей, обсуждений, скандальных хепенингов, личными отношениями — это была часть жизни моего поколения, о которой нельзя не вспомнить без ностальгии.

Московский концептуализм — герметичный, бескомпромиссный, ироничный и высокомерный — совмещает в себе полное отчуждение от слова и полное отчаяние, скрытое за текстом. Начав с подражания соцарту в живописи, трансформировав эстетику соцреализма в форму социальной драмы, он на первых порах прочитывался как протест, был близок художественному диссидентству своим дидактическим заданием. Однако поле игры расширялось, превращалось в самостоятельную стихию, напрямую не связанную с политическим вызовом. Более того, постепенно эстетика соцреализма стала восприниматься как нечто национально устойчивое, определяющее, экзистенциально отталкивающее и значимое. К заявлениям самих концептуали-

стов, постоянно работающих в имидже, нужно подходить как к перманентной литературной игре, однако их претензия на подведение итогов в культуре вполне серьезна.

Отношение к слову-проститутке, способному ублажить любое сознание, от тоталитарного до либерального, призывает концептуалистов к бдительности. Под концептуалистским конвоем слово направляется на принудительные работы вполне мазохического свойства: ему предлагается заниматься саморазрушением и самобичеванием. Никакой амнистии не предвидится. Такое брутальное отношение к слову обычно с трудом воспринимается на Западе, где расхожим выражением недоверия к социализированному слову является оруэлловский новояз. Хотя концептуализм отрицает жизненное приложение собственного слова и настаивает на интертекстуальности, оно прочитывается как подозрение к жизни, с ее утомительной повторяемостью, исчерпанностью ходов, что непосредственно связывает концептуализм с литературой зла.

Утверждая себя как персонажный автор, работающий с готовыми конструкциями и способный воспроизвести любой тип письма, Дмитрий Пригов доводит до поэтического абсурда ряды

идеологических клише и понятий, в основном специфически советского типа, играясь с политическими, национальными, моральными табу. Звезда современной поэзии, он обозначает своими текстами мертвые зоны русскосоветской культуры, вызывая в аудитории освобождающий смех и тем самым способствую регенерации смысла. Быстрое увядание некоторых его текстов объясняется изменчивостью политической конъюнктуры.

Лев Рубинштейн создал самостоятельную версию фрагментарного письма, построенную на контрапункте. Фрагмент заключает односложное, часто тупое высказывание с различным смысловым и эмоциональным содержанием, с различной степенью авторской отстраненности, от нулевой информации до попытки автобиографии, приравненной на уровне текста к единице высказывания. Юмористический эффект достигается в узнаваемости фрагмента, оголенного, вырванного из стереотипного контекста. Экзистенциальный коэффициент такого текста достаточно высок, но крайне печален.

Принципиально отказываясь от звания писателя, Владимир Сорокин вместе с тем готов принять корону ведущего монстра новой русской лите-

ратуры, а также ее небожителя. Строя тексты на отбросах социалистического реализма, он взрывает их неожиданным сломом повествования, матом, предельным сгущением текста-концентрата, состоящего из сексуальной патологии, тотального насилия, вплоть до каннибализма и некрофилии. Под коркой текста обнаруживается словесный хаос и бред. Мертвое слово фосфоресцирует словесной ворожбой, шаманством, мистическими глоссолалиями, глухо намекающими на существование запредельных миров. Тексты Сорокина похожи на мясо, из которого вытекла кровь и которое кишит червями. Это блюдо, приготовленное разочарованным романтиком, мстящим миру за его онтологическое неблаголепие, вызывает у читателя рвотный рефлекс, эстетический шок. Впрочем, ограниченность меню, повторяемость приема (ср. с Мамлеевым, которого в известной степени можно назвать учителем Сорокина) постепенно ослабляет первоначальное впечатление.

В более молодом поколении писателей, настойчиво подражающих образцам литературы зла, ослабляется, однако, напряжение самого переживания зла. Возникает вторичный стиль, чернуха, жизненные ужасы и патология воспринимаются

скорее как забава, литературный прием, как уже проверенная возможность поиграть в острые ощущения. Все меньше интереса к бывшим политическим конфронтациям. Герои сопротивления и былые коммунистические вожди сливаются, воспринимаются как поп-герои из комикса. Игорь Яркевич сводит прошлые битвы к ярмарке тщеславия. Его альтернатива: Солженицын или я, бедный онанист, решается на уровне не столько буффонады, сколько десакрализации роли современного писателя, который уже не так болезненно, как концептуалисты, относится к деградации языка.

Она все-таки не отменила литературу, как доказывает собой набирающий силу Виктор Пелевин, который от постмодерна предпочел «пятиться» назад, на радость массовому читателю, к М.Булгакову.

Юлия Кисина предлагает поверить в иное, психоделическое слово, истинность которого нет смысла принимать или опровергать, как и любую наркотическую галлюцинацию: «Все было необычайно ярко. Непонятным образом накатилась синяя волна. Пробежал кто-то не узнанный мной, но до боли знакомый». Как в «Алисе в стране чудес», все позволено и ничто

не обязательно, кроме рассвобожденной пульсирующей энергии видения. Героиню «стали посещать странные миры, то есть она западала в эти миры», где мелькают Гитлер, крушение поездов, поцелуи. Любопытно, однако, что в момент прекрасных посещений она совершала в реальности кровавые преступления. В результате «она долго умоляла эксперта написать ложное заключение о том, что она совершенно психически здорова, чтобы попасть под расстрельную статью». Она добилась своего. Ее расстреляли. За психоделические удовольствия в любом случае нужно платить.

Как бы то ни было, русская литература конца XX века накопила огромное знание о зле. Мое поколение стало рупором зла, приняло его в себя, предоставило ему огромные возможности самовыражения. Это решение было подсознательным. Так получилось. Но так было нужно. В том, что никто не вынашивал стратегический план раскрытия зла, заключена сила этой литературы. Сместилась четкость оппозиций: жизнь переходит в смерть, везение в невезение, смех в слезы. Смешались мужчины и женщины. Уже не разобрать их «минимальных» различий. Возникла тяга к святотатству. Казалось бы, сатанизм захва-

тил литературу (о чем говорит «нравственная» критика). На самом деле маятник качнулся в сторону от безжизненного, абстрактного гуманизма, гиперморалистический крен был выправлен. В русскую литературу вписана яркая страница зла. В итоге русский классический роман уже никогда не будет учебником жизни, истиной в последней инстанции. Внесены зубодробительные коррективы. Чтобы выразить силу зла, в русскую литературу пришло поколение далеко не слабых писателей.

Итак, зло самовыразилось. Литература зла сделала свое дело. Онтологический рынок зла затоваривается, бокал до краев наполнился черной жидкостью.

Что дальше?

1993

Варлам Шаламов
Тифозный карантин

Человек в белом халате протянул руку, и Андреев вложил в растопыренные, розовые, вымытые пальцы с остриженными ногтями свою соленую, ломкую гимнастерку. Человек отмахнулся, затряс ладонью.

— Белья у меня нет, — сказал Андреев равнодушно.

Тогда фельдшер взял андреевскую гимнастерку обеими руками, ловким, привычным движением вывернул рукава и вгляделся…

— Есть, Лидия Ивановна. — И заорал на Андреева: — Что же ты так обовшивел, а?

Но врачиха Лидия Ивановна не дала ему продолжать.

— Разве они виноваты? — сказала Лидия Ивановна негромко и укоризненно, подчеркивая слово *они*, и взяла со стола стетоскоп.

На всю свою жизнь запомнил Андреев эту рыженькую Лидию Ивановну, тысячу раз благословлял ее, вспоминая всегда с нежностью и теплотой. За что? За то, что она подчеркнула слово

они в этой фразе, единственной, которую Андреев слышал от нее. За доброе слово, сказанное вовремя. Дошли ли до нее эти благословения?

Осмотр был недолго. Стетоскоп не нужен был для этого осмотра.

Лидия Ивановна подышала на фиолетовую печать и с силой, обеими руками прижала ее к типографскому какому-то бланку. Она вписала туда несколько слов, и Андреева увели.

Конвоир, ждавший в сенях санчасти, повел Андреева не обратно в тюрьму, а в глубь поселка, к одному из больших складов. Двор возле склада был огорожен колючей проволокой в десять законных рядов, с калиткой, около которой ходил часовой в тулупе и с винтовкой. Они вошли во двор и подошли к пакгаузу. Яркий электрический свет бил из дверной щели. Конвоир с трудом распахнул дверь, огромную, сделанную для автомашин, а не для людей, и исчез в пакгаузе. На Андреева пахнуло запахом грязного тела, лежалых вещей, кислым человеческим потом. Смутный гул человеческих голосов наполнял эту огромную коробку. Четырехэтажные сплошные нары, рубленные из цельных лиственниц, были строением вечным, рассчитанным навечно, как мосты Цезаря. На стеллажах огромного

пакгауза лежало более тысячи людей. Это был один из двух десятков бывших складов, доверху набитых новым, живым товаром, — в порту был тифозный карантин, и вывоза, или, как говорят по-тюремному, «этапа», из него не было уже более месяца. Лагерное кровообращение, где эритроциты — живые люди, было нарушено. Транспортные машины простаивали. Прииски увеличивали рабочий день заключенных. В самом городе хлебозавод не справлялся с выпечкой хлеба — ведь каждому надо было дать по пятьсот граммов ежедневно, и хлеб пытались печь на частных квартирах. Злость начальства нарастала тем более, что из тайги понемногу попадал в город арестантский шлак, который выбрасывали прииски.

В «секции», как по-модному называли тот склад, куда привели Андреева, было более тысячи человек. Но сразу это множество не было заметным. Люди лежали на верхних нарах голыми от жары, на нижних нарах и под нарами — в телогрейках, бушлатах и шапках. Большинство лежало навзничь или ничком (никто не объяснит, отчего арестанты почти не спят на боку), и их тела на массивных нарах казались наростами, горбами дерева, выгнувшейся доской.

Люди сдвигались в тесные группы возле или вокруг рассказчика-«романиста» либо вокруг случая — а случай возникал со всей необходимостью ежеминутно при такой прорве людей. Люди лежали здесь уже больше месяца, на работу они не ходили — ходили только в баню для дезинфекции вещей. Двадцать тысяч рабочих дней, ежедневно потерянных, сто шестьдесят тысяч рабочих часов, а может быть, и триста двадцать тысяч часов — рабочие дни бывают разные. Или двадцать тысяч сохраненных дней жизни.

Двадцать тысяч дней жизни. По-разному можно рассуждать о цифрах, статистика — наука коварная.

Когда раздавалась пища, все были на местах (питание выдавалось по десяткам). Людей было так много, что раздатчики пищи едва успевали раздать завтрак, как наступало время раздачи обеда. И, едва закончив раздачу обеда, принимались выдавать ужин. В секции с утра до вечера раздавали пищу. А ведь утром выдавался только хлеб на весь день и чай — теплая кипяченая вода — и через день по полселедки, в обед — только суп, в ужин — только каша.

И все-таки на выдачу этого не хватало времени.

Нарядчик подвел Андреева к нарам и показал на вторые нары:

— Вот твое место!

Вверху запротестовали, но нарядчик выругался. Андреев, уцепясь обеими руками за край нар, пытался безуспешно закинуть правую ногу на нары. Сильная рука нарядчика подкинула его, и он тяжело плюхнулся посреди голых тел. Никто не обращал на него внимания. Процедура «прописки» и «въезда» была закончена.

Андреев спал. Он просыпался только тогда, когда давали пищу, и после, аккуратно и бережно вылизав свои руки, снова спал, только некрепко — вши не давали крепко спать.

Никто его не расспрашивал, хотя во всей этой транзитке не много было людей из тайги, а всем остальным суждена была туда дорога. И они это понимали. Именно поэтому они не хотели ничего знать о неотвратимой тайге. И это было правильно, как рассудил Андреев. Все, что видел он, им не надо было знать. Избежать ничего нельзя — ничего тут не предусмотришь. Лишний страх, к чему он? Здесь были еще люди — Андреев был представителем мертвецов. И его знания, знания мертвого человека, не могли им, еще живым, пригодиться.

Дня через два настал банный день. Дезинфекции и бани всем уже надоели, и собирались неохотно, но Андрееву очень хотелось расправиться со своими вшами. Времени у него теперь было сколько угодно, и несколько раз в день он просматривал все швы своей побелевшей гимнастерки. Но окончательный успех могла дать только дезкамера. Поэтому он шел охотно, и, хоть белья ему не дали, сырую гимнастерку пришлось надеть на голое тело, но привычных укусов он не чувствовал.

В бане давали воды по норме: таз горячей и таз холодной, но Андреев обманул банщика и еще лишний таз получил.

Кусочек мыла крошечный давали, но на полу можно было собрать обмылки, и Андреев постарался вымыться как следует. За последний год это была лучшая баня. И пусть кровь и гной текли из цинготных язв на голенях Андреева. Пусть шарахаются от него в бане люди. Пусть брезгливо отодвигаются от его вшивой одежды.

Выдали из дезкамеры вещи, и сосед Андреева Огнев вместо овчинных меховых чулок получил игрушечные — так села кожа. Огнев заплакал — меховые чулки были его спасением на Севере. Но Андреев недоброжелательно смотрел на него.

Столько он видел плачущих мужчин по самым различным причинам. Были хитрецы — притворщики, были нервнобольные, были потерявшие надежду, были обозленные. Были плачущие от холода. Плачущих от голода Андреев не видал.

Обратно шли по темному молчаливому городу. Алюминиевые лужи застыли, но воздух был свежий, весенний. После этой бани Андреев спал особенно крепко, «сытно поспал», как говорил его сосед Огнев, уже забывший про свое банное приключение.

Никого никуда не выпускали. Но все же в секции была единственная должность, позволявшая выход за проволоку. Правда, здесь шла речь не о выходе из лагерного поселка за внешнюю проволоку — три забора по десять ниток колючки, да еще запретное пространство, обнесенное низко натянутой проволокой. О том никто и не мечтал. Здесь шла речь о выходе из проволочного дворика. Там была столовая, кухня, склады, больница — словом, иная, запретная для Андреева жизнь. За проволоку выходил единственный человек — ассенизатор. И когда он умер внезапно (жизнь полна благодетельных случайностей), Огнев — сосед Андреева — проявил чудеса энергии и догадливости. Он два дня не ел хлеба, затем вы-

менял на хлеб большой фибровый чемодан.

— У барона Манделя, Андреев!

Барон Мандель! Потомок Пушкина! Вон там, там. Барон — длинный, узкоплечий, с крошечным лысым черепом — был далеко виден. Но познакомиться с ним не пришлось Андрееву.

У Огнева сохранился коверкотовый пиджак еще с воли, в карантине Огнев был всего несколько месяцев.

Огнев преподнес нарядчику пиджак и фибровый чемодан и получил должность умершего ассенизатора. Недели через две блатные придушили Огнева в темноте — не до смерти, к счастью, — и отняли у него около трех тысяч рублей деньгами.

Андреев почти не встречался с Огневым в расцвет его коммерческой карьеры. Избитый и истерзанный, Огнев исповедовался Андрееву ночью, заняв старое место.

Андреев мог бы ему рассказать кое-что из того, что он видел на прииске, но Огнев ничуть не раскаивался и не жаловался.

— Сегодня они меня, завтра я их. Я их… обыграю… В штос, в терц, в буру обыграю. Все верну!

Огнев ни хлебом, ни деньгами не помог Андрееву, но это и не было принято в таких случаях

— с точки зрения лагерной этики все обстояло нормально.

В один из дней Андреев удивился, что он еще живет. Подниматься на нары было так трудно, но все же он поднимался. Самое главное — он не работал, лежал, и даже пятьсот граммов ржаного хлеба, три ложки каши и миска жидкого супа в день могли воскрешать человека. Лишь бы он не работал.

Именно здесь он понял, что не имеет страха и жизнью не дорожит. Понял и то, что он испытан великой пробой и остался в живых. Что страшный приисковый опыт суждено ему применить для своей пользы. Он понял, что, как ни мизерны возможности выбора, свободной воли арестанта, они все же есть; эти возможности — реальность, они могут спасти жизнь при случае. И Андреев был готов к этому великому сражению, когда звериную хитрость он должен противопоставить зверю. Его обманывали. И он обманет. Он не умрет, не собирается умирать.

Он будет выполнять желания своего тела, то, что ему рассказало тело на золотом прииске. На прииске он проиграл битву, но это была не последняя битва. Он — шлак, выброшенный с прииска. И он будет этим шлаком. Он видел, что

фиолетовый оттиск, который сделан на какой-то бумаге руками Лидии Ивановны, оттиск трех букв:

ЛФТ — легкий физический труд. Андреев знал, что на эти метки не обращают внимания на приисках, но здесь, в центре, он собирался извлечь из них все, что можно.

Но возможностей было мало. Можно было сказать нарядчику: «Вот я, Андреев, здесь лежу и никуда не хочу ехать. Если меня пошлют на прииск, то на первом перевале, как затормозит машина, я прыгаю вниз, пусть конвой меня застрелит — все равно на золото я больше не поеду».

Возможностей было мало. Но здесь он будет умнее, будет больше доверять телу. И тело его не обманет. Его обманула семья, обманула страна. Любовь, энергия, способности — все было растоптано, разбито. Все оправдания, которые искал мозг, были фальшивы, ложны, и Андреев это понимал. Только разбуженный прииском звериный инстинкт мог подсказать и подсказывал выход.

Именно здесь, на этих циклопических нарах, понял Андреев, что он кое-что стоит, что он может уважать себя. Вот он здесь еще живой и никого не предал и не продал ни на следствии,

ни в лагере. Ему удалось много сказать правды, ему удалось подавить в себе страх. Не то что он ничего вовсе не боялся, нет, моральные барьеры определились яснее и четче, чем раньше, все стало проще, ясней.

Ясно было, например, что нельзя выжить Андрееву. Прежнее здоровье утеряно бесследно, сломано навеки. Навеки ли? Когда Андреева привезли в этот город, он думал, что жизни его две-три недели. А для того, чтобы вернулась прежняя сила, нужен полный отдых, многомесячный, на чистом воздухе, в курортных условиях, с молоком, с шоколадом. И так как совершенно ясно, что такого курорта Андрееву не видать, ему придется умереть. Что опять-таки не страшно. Умерло много товарищей. Но что-то сильнее смерти не давало ему умереть. Любовь? Злоба? Нет. Человек живет в силу тех же самых причин, почему живет дерево, камень, собака. Вот это понял, и не только понял, а почувствовал хорошо Андреев именно здесь, на городской транзитке, во время тифозного карантина.

Расчесы на коже зажили гораздо раньше, чем другие раны Андреева. Исчезал понемногу черепаховый панцирь, в который превратилась на прииске человеческая кожа; ярко-розовые

кончики отмороженных пальцев потемнели: тончайшая кожица, покрывавшая их после того, как лопнул пузырь отморожения, чуть загрубела. И даже — самое главное — кисть левой руки разогнулась. За полтора года работы на прииске обе кисти рук согнулись по толщине черенка лопаты или кайла и закостенели, как казалось Андрееву, навсегда. Во время еды рукоятку ложки он держал, как и все его товарищи, кончиками пальцев, щепотью, и забыл, что можно держать ложку иначе. Кисть руки, живая, была похожа на протез-крючок. Она выполняла только движения протеза. Кроме этого, ею можно было креститься, если бы Андреев молился богу. Но ничего, кроме злобы, не было в его душе. Раны его души не были так легко залечены. Они никогда не были залечены.

Но руку-то Андреев все-таки разогнул. Однажды в бане пальцы левой руки разогнулись. Это удивило Андреева. Дойдет очередь и до правой, еще согнутой по-старому. И ночами Андреев тихонько трогал правую, пробовал отогнуть пальцы, и ему казалось, что вот-вот она разогнется. Он обкусал ногти самым аккуратным образом и теперь грыз грязную, толстую, чуть размягчившуюся кожу по кусочку. Эта гигиеническая операция была

одним из немногих развлечений Андреева, когда он не ел и не спал.

Кровавые трещины на подошвах ног уже не были такими болезненными, как раньше. Цинготные язвы на ногах еще не зажили и требовали повязок, но ран оставалось все меньше и меньше — их место занимали сине-черные пятна, похожие на тавро, на клеймо рабовладельца, торговца неграми. Не заживали только большие пальцы обеих ног — там отморожение захватило и костный мозг, оттуда понемногу вытекал гной. Конечно, гноя было гораздо меньше, чем раньше, на прииске, где гной и кровь так натекали в резиновую галошу-чуню, летнюю обувь заключенных, что нога хлюпала при каждом шаге, как будто в луже.

Много еще лет пройдет, пока пальцы эти заживут у Андреева. Много лет после заживления будут напоминать они о северном прииске ноющей болью при малейшем холоде. Но Андреев не думал о будущем. Он, выученный на прииске не рассчитывать жизнь дальше чем на день вперед, старался бороться за близкое, как делает всякий человек на близком расстоянии от смерти. Сейчас он хотел одного — чтобы тифозный карантин длился бесконечно. Но этого не могло быть, и

пришел день, когда карантин кончился.

Этим утром всех жителей секции выгнали на двор. Не один час заключенные молча толклись за проволочной изгородью, мерзли. Нарядчик, стоя на бочке, хриплым, отчаянным голосом выкрикивал фамилии. Вызванные выходили в калитку — безвозвратно. На шоссе гудели грузовики, гудели так громко в морозном утреннем воздухе, что мешали нарядчику.

«Только бы не вызвали, только бы не вызвали», — детским заклинанием умолял судьбу Андреев. Нет, ему не будет удачи. Если даже не вызовут сегодня, то вызовут завтра. Он поедет опять в золотые забои, на голод, побои и смерть. Заныли отмороженные пальцы рук и ног, заныли уши, щеки. Андреев переступал с ноги на ногу все чаще и чаще, согнувшись и дыша в сложенные трубочкой пальцы, но онемевшие ноги и больные руки не так просто было согреть. Все бесполезно. Он бессилен в борьбе с этой исполинской машиной, зубья которой перемалывали его тело.

— Воронов! Воронов! — надрывался нарядчик. — Воронов! Здесь ведь, сука!.. — И нарядчик злобно швырнул тоненькую желтую папку «дела» на бочку и придавил «дело» ногой.

И тогда Андреев все понял сразу. Это был гро-

зовой молнийный свет, указавший дорогу к спасению. И сейчас же, разгорячившись от волнения, он осмелел и двинулся вперед, к нарядчику. Тот называл фамилию за фамилией, люди уходили со двора один за другим. Но толпа была еще велика. Вот сейчас, сейчас…

— Андреев! — крикнул нарядчик.

Андреев молчал, разглядывая бритые щеки нарядчика. После созерцания щек взгляд его перешел на папки «дел». Их было совсем немного.

«Последняя машина», — подумал Андреев.

Нарядчик подержал андреевскую папку в руке и, не повторяя вызова, отложил в сторону, на бочку.

— Сычев! Обзывайся — имя и отчество!

— Владимир Иванович, — ответил по всем правилам какой-то пожилой арестант и растолкал толпу.

— Статья? Срок? Выходи!

Еще несколько человек откликнулись на вызов, ушли. И за ними ушел нарядчик. Заключенных вернули в секцию.

Кашель, топот, выкрики сгладились, растворились в многоголосом говоре сотен людей.

Андреев хотел жить. Две простые цели поставил он перед собой и положил добиваться их.

Было необыкновенно ясно, что здесь надо продержаться как можно дольше, до последнего дня. Постараться не делать ошибок, держать себя в руках… Золото — смерть. Никто лучше Андреева в этой транзитке не знает этого. Надо во что бы то ни стало избежать тайги, золотых забоев. Как этого может добиться он, бесправный раб Андреев? А вот как. Тайга за время карантина обезлюдела — холод, голод, тяжелая многочасовая работа и бессонница лишили тайгу людей. Значит, в первую очередь из карантина будут отправлять машины в «золотые» управления, и только тогда, когда заказ приисков на людей («Пришлите две сотни деревьев», как пишут в служебных телеграммах) будет выполнен, — только тогда будут отправлять не в тайгу, не на золото. А куда — это Андрееву все равно. Лишь бы не на золото.

Обо всем этом Андреев не сказал никому ни слова. Ни с кем он не советовался, ни с Огневым, ни с Парфентьевым, приисковым товарищем, ни с одним из этой тысячи людей, что лежали с ним вместе на нарах. Ибо он знал: каждый, кому он расскажет свой план, выдаст его начальству — за похвалу, за махорочный окурок, просто так…

Он знал, что такое тяжесть тайны, секрет, и мог его сберечь. Только в этом случае он не боялся.

Одному было легче, вдвое, втрое, вчетверо легче проскочить сквозь зубья машины. Его игра была его игрой — этому тоже он был хорошо выучен на прииске.

Много дней Андреев не отзывался. Как только карантин кончился, заключенных стали гонять на работы, и на выходе надо было словчить так, чтобы не попасть в большие партии — тех водили обычно на земляные работы с ломом, кайлом и лопатой; в маленьких же партиях по два-три человека была всегда надежда заработать лишний кусок хлеба или даже сахару — более полутора лет Андреев не видел сахару. Этот расчет был немудрен и совершенно правилен. Все эти работы были, конечно, незаконными: заключенных числили на этапе, и находилось много желающих пользоваться бесплатным трудом. Те, кто попадал на земляные работы, ходили туда из расчета где-либо выпросить табаку, хлеба. Это удавалось, даже у прохожих. Андреев ходил в овощехранилище, где вволю ел свеклу и морковь, и приносил «домой» несколько сырых картофелин, которые жарил в золе печи и полусырыми вытаскивал и съедал, — жизнь здешняя требовала, чтоб все пищевые отправления производились быстро, — слишком много было голодных вокруг.

Начались дни почти осмысленные, наполненные какой-то деятельностью. Ежедневно с утра приходилось простаивать часа два на морозе. И нарядчик кричал: «Эй, вы, обзывайся, имя и отчество». И когда ежедневная жертва молоху была закончена, все, топоча, бежали в барак — оттуда выводили на работу. Андреев побывал на хлебозаводе, носил мусор на женской пересылке, мыл полы в отряде охраны, где в полутемной столовой собирал с оставшихся тарелок липкие и вкусные мясные остатки с командирских столов. После работы на кухню выносили большие тазы, полные сладкого киселя, горы хлеба, и все садились вокруг, ели и набивали хлебом карманы.

Только один раз расчет Андреева оказался неверным. Чем меньше группа — тем лучше: вот была его заповедь. А всего лучше — одному. Но одного редко куда-либо брали. Однажды нарядчик, уже запомнивший Андреева в лицо (он знал его как Муравьева), сказал:

— Я тебе такую работу нашел, век будешь помнить. Дрова пилить к высокому начальству. Вдвоем с кем-нибудь пойдешь.

Они весело бежали впереди провожатого в кавалерийской шинели. Тот в сапогах скользил, оступался, прыгал через лужи и потом догонял

их бегом, придерживая полы шинели обеими руками. Вскоре они подошли к небольшому дому с запертой калиткой и колючей проволокой поверх забора. Провожатый постучал. Во дворе залаяла собака. Им отпер дневальный начальника, молча отвел их в сарай, закрыл их там и выпустил на двор огромную овчарку. Принес ведро воды. И пока арестанты не перепилили и не перекололи всех дров в сарае, собака держала их взаперти. Поздно вечером их увели в лагерь. На следующий день их посылали туда же, но Андреев спрятался под нары и вовсе не ходил на работу в этот день.

На другой день утром перед раздачей хлеба ему пришла в голову одна простая мысль, которую Андреев сразу же осуществил.

Он снял бурки со своих ног и положил их на край нар одна на другую подошвами наружу — так, как если бы он сам лежал в бурках на нарах. Рядом он лег на живот и голову опустил на локоть руки.

Раздатчик быстро сосчитал очередной десяток и выдал Андрееву десять порций хлеба. У Андреева осталось две порции. Но такой способ был ненадежен, случаен, и Андреев вновь стал искать работу вне барака…

Думал ли он тогда о семье? Нет. О свободе? Нет. Читал ли он на память стихи? Нет. Вспоминал ли прошлое? Нет. Он жил только равнодушной злобой. Именно в это время он встретил капитана Шнайдера.

Блатные занимали место поближе к печке. Нары были застланы грязными ватными одеялами, покрыты множеством пуховых подушек разного размера. Ватное одеяло — непременный спутник удачливого вора, единственная вещь, которую вор таскает с собой по тюрьмам и лагерям, ворует ее, отнимает, когда не имеет, а подушка — подушка не только подголовник, но и ломберный столик во время бесконечных карточных сражений. Этому столику можно придать любую форму. И все же он — подушка. Картежники раньше проигрывают брюки, чем подушку.

На одеялах и подушках располагались главари, вернее, те, кто на сей момент был вроде главарей. Еще повыше, на третьих нарах, где было темно, лежали еще одеяла и подушки: туда затаскивали каких-то женоподобных молодых воришек, да и не только воришек — педерастом был чуть не каждый вор.

Воров окружала толпа холопов и лакеев — придворные рассказчики, ибо блатные считают

хорошим тоном интересоваться «романами»; придворные парикмахеры с флакончиком духов есть даже в этих условиях, и еще толпа услужающих, готовых на что угодно, лишь бы им отломили корочку хлеба или налили супчику.

— Тише! Сенечка говорит что-то. Тише, Сенечка ложится спать…

Знакомая приисковая картина.

Вдруг среди толпы попрошаек, вечной свиты блатарей, Андреев увидел знакомое лицо, знакомые черты лица, услышал знакомый голос. Сомнения не было — это был капитан Шнайдер, товарищ Андреева по Бутырской тюрьме.

Капитан Шнайдер был немецкий коммунист, коминтерновский деятель, прекрасно владевший русским языком, знаток Гете, образованный теоретик-марксист. В памяти Андреева остались беседы с ним, беседы «высокого давления» долгими тюремными ночами. Весельчак от природы, бывший капитан дальнего плавания поддерживал боевой дух тюремной камеры.

Андреев не верил своим глазам.

— Шнайдер!

— Да? Что тебе? — обернулся капитан. Взгляд его тусклых голубых глаз не узнавал Андреева.

— Шнайдер!

— Ну, что тебе? Тише! Сенечка проснется.

Но уже край одеяла приподнялся, и бледное, нездоровое лицо высунулось на свет.

— А, капитан, — томно зазвенел тенор Сенечки. — Заснуть не могу, тебя не было.

— Сейчас, сейчас, — засуетился Шнайдер.

Он влез на нары, отогнул одеяло, сел, засунул руку под одеяло и стал чесать пятки Сенечке.

Андреев медленно шел к своему месту. Жить ему не хотелось. И хотя это было небольшое и нестрашное событие по сравнению с тем, что он видел и что ему предстояло увидеть, он запомнил капитана Шнайдера навек.

А людей становилось все меньше. Транзитка пустела. Андреев столкнулся лицом к лицу с нарядчиком.

— Как твоя фамилия?

Но Андреев уже давно подготовил себя к такому.

— Гуров, — сказал он смиренно.

— Подожди!

Нарядчик полистал папиросную бумагу списков.

— Нет, нету.

— Можно идти?

— Иди, скотина, — проревел нарядчик.

Однажды он попал на уборку и мытье посуды в столовую пересылки уезжающих освобожденных, окончивших срок наказания людей. Его партнером был изможденный фитиль, доходяга неопределенного возраста, только что выпущенный из местной тюрьмы. Это был первый выход доходяги на работу. Он все спрашивал — что они будут делать, покормят ли их и удобно ли попросить что-нибудь съестное хоть немного раньше работы. Доходяга рассказал, что он профессор-невропатолог, и фамилию его Андреев помнил.

Андреев по опыту знал, что лагерные повара, да и не только повара не любят Иван Ивановичей, как презрительно называли они интеллигенцию. Он посоветовал профессору ничего заранее не просить и грустно подумал, что главная работа по мытью и уборке достанется на его, андреевскую, долю — профессор был слишком слаб. Это было правильно, и обижаться не приходилось — сколько раз на прииске Андреев был плохим, слабым напарником для своих тогдашних товарищей, и никто никогда не говорил ни слова. Где они все? Где Шейнин, Рютин, Хвостов? Все умерли, а он, Андреев, ожил. Впрочем, он еще не ожил и вряд ли оживет. Но он будет бороться за жизнь.

Предположения Андреева оказались правиль-

ными — профессор действительно оказался слабым, хотя и суетливым помощником.

Работа была кончена, и повар посадил их на кухне и поставил перед ними огромный бачок густого рыбного супа и большую железную тарелку с кашей. Профессор всплеснул руками от радости, но Андреев, видавший на прииске, как один человек съедает по двадцать порций обеда из трех блюд с хлебом, покосился на предложенное угощение неодобрительно.

— Без хлеба, что ли? — спросил Андреев хмуро.

— Ну, как без хлеба, дам понемножку. — И повар вынул из шкафа два ломтя хлеба.

С угощением было быстро покончено. В таких «гостях» предусмотрительный Андреев всегда ел без хлеба.

И сейчас он положил хлеб в карман. Профессор же отламывал хлеб, глотал суп, жевал, и крупные капли грязного пота выступали на его стриженой седой голове.

— Вот вам еще по рублю, — сказал повар. — Хлеба у меня нынче нет.

Это была превосходная плата.

На пересылке была лавчонка, ларек, где можно было купить вольнонаемным хлеб. Андреев сказал об этом профессору.

— Да-да, вы правы, — сказал профессор. — Но я видел: там торгуют сладким квасом. Или это лимонад? Мне очень хочется лимонаду, вообще чего-нибудь сладкого.

— Дело ваше, профессор. Только я бы в вашем положении лучше хлеба купил.

— Да-да, вы правы, — повторил профессор, — но очень хочется сладкого. Выпейте и вы.

Но Андреев наотрез отказался от кваса.

В конце концов Андреев добился одиночной работы — стал мыть полы в конторе пересыльной хозчасти. Каждый вечер за ним приходил дневальный, чьей обязанностью и было поддерживать контору в чистоте. Это были две крошечные комнатки, заставленные столами, метра четыре квадратных каждая. Полы были крашеные. Это была пустая десятиминутная работа, и Андреев не сразу понял, почему дневальный нанимает рабочего для такой уборки. Ведь даже воду для мытья дневальный приносил через весь лагерь сам, чистые тряпки тоже были всегда приготовлены раньше. А плата была щедрая — махорка, суп и каша, хлеб и сахар. Дневальный обещал дать Андрееву даже легкий пиджак, но не успел.

Очевидно, дневальному казалось зазорным мыть самому полы — хотя бы и пять минут в

день, когда он в силах нанять себе работягу. Это свойство, присущее русским людям, Андреев наблюдал и на прииске. Даст начальник на уборку барака дневальному горсть махорки: половину махорки дневальный высыплет в свой кисет, а за половину наймет дневального из барака пятьдесят восьмой статьи. Тот, в свою очередь, переполовинит махорку и наймет работягу из своего барака за две папиросы махорочных. И вот работяга, отработав двенадцать — четырнадцать часов в смену, моет полы ночью за эти две папиросы. И еще считает за счастье — ведь на табак он выменяет хлеб.

Валютные вопросы — самая сложная теоретическая область экономики. И в лагере валютные вопросы сложны, эталоны удивительны: чай, табак, хлеб — вот поддающиеся курсу ценности.

Дневальный хозчасти платил Андрееву иногда талонами в кухню. Это были куски картона с печатью, вроде жетонов — десять обедов, пять вторых блюд и т. п. Так, дневальный дал Андрееву жетон на двадцать порций каши, и эти двадцать порций не покрыли дна жестяного тазика.

Андреев видел, как блатные совали вместо жетонов в окошечко сложенные жетонообразно ярко-оранжевые тридцатирублевки. Это дей-

ствовало без отказа. Тазик наполняется кашей, выскакивая из окошечка в ответ на «жетон».

Людей на транзитке становилось все меньше и меньше. Настал наконец день, когда после отправки последней машины на дворе осталось всего десятка три человек.

На этот раз их не отпустили в барак, а построили и повели через весь лагерь.

— Все же не расстреливать ведь нас ведут, — сказал шагавший рядом с Андреевым огромный большерукий одноглазый человек.

Именно это — не расстреливать же — подумал и Андреев. Всех привели к нарядчику в отдел учета.

— Будем вам пальцы печатать, — сказал нарядчик, выходя на крыльцо.

— Ну, если пальцы, то можно и без пальцев, — весело сказал одноглазый. — Моя фамилия Филипповский Георгий Адамович.

— А твоя?

— Андреев Павел Иванович.

Нарядчик отыскал личные дела.

— Давненько мы вас ищем, — сказал он беззлобно. — Идите в барак, я потом вам скажу, куда вас назначат.

Андреев знал, что он выиграл битву за жизнь.

Просто не могло быть, чтоб тайга еще не насытилась людьми. Отправки если и будут, то на ближние, на местные командировки. Или в самом городе — это еще лучше. Далеко отправить не могут — не только потому, что у Андреева «легкий физический труд». Андреев знал практику внезапных перекомиссовок. Не могут отправить далеко, потому что наряды тайги уже выполнены. И только ближние командировки, где жизнь легче, проще, сытнее, где нет золотых забоев, а значит, есть надежда на спасение, ждут своей, последней очереди. Андреев выстрадал это своей двухлетней работой на прииске. Своим звериным напряжением в эти карантинные месяцы. Слишком много было сделано. Надежды должны сбыться во что бы то ни стало.

Ждать пришлось всего одну ночь.

После завтрака нарядчик влетел в барак со списком, с маленьким списком, как сразу облегченно отметил Андреев. Приисковые списки были по двадцать пять человек на автомашину, и таких бумажек было всегда несколько.

Андреева и Филипповского вызвали по этому списку; в списке было людей больше — немного, но не две и не три фамилии.

Вызванных повели к знакомой двери учетной

части. Там стояло еще три человека — седой, важный, неторопливый старик в хорошем овчинном полушубке и в валенках и грязный вертлявый человек в ватной телогрейке, брюках и резиновых галошах с портянками на ногах. Третий был благообразный старик, глядящий себе под ноги. Поодаль стоял человек в военной бекеше, в кубанке.

— Вот все, — сказал нарядчик. — Подойдут?

Человек в бекеше поманил пальцем старика.

— Ты кто?

— Изгибин Юрий Иванович, статья пятьдесят восьмая. Срок двадцать пять лет, — бойко отрапортовал старик.

— Нет, нет, — поморщилась бекеша. — По специальности ты кто? Я ваши установочные данные найду без вас…

— Печник, гражданин начальник.

— А еще?

— По жестяному могу.

— Очень хорошо. Ты? — Начальник перевел взор на Филипповского.

Одноглазый великан рассказал, что он кочегар с паровоза из Каменец-Подольска.

— А ты?

Благообразный старик пробормотал неожидан-

но несколько слов по-немецки.

— Что это? — сказала бекеша с интересом.

— Вы не беспокойтесь, — сказал нарядчик. — Это столяр, хороший столяр Фризоргер. Он немножко не в себе. Но он опомнится.

— А по-немецки-то зачем?

— Он из-под Саратова, из автономной республики…

— А-а-а… А ты? — Это был вопрос Андрееву. «Ему нужны специалисты и вообще рабочий народ, — подумал Андреев. — Я буду кожевником».

— Дубильщик, гражданин начальник.

— Очень хорошо. А лет сколько?

— Тридцать один.

Начальник покачал головой. Но так как он был человек опытный и видывал воскрешение из мертвых, он промолчал и перевел глаза на пятого.

Пятый, вертлявый человек, оказался ни много ни мало как деятелем общества эсперантистов.

— Я, понимаете, вообще-то агроном, по образованию агроном, даже лекции читал, а дело у меня, значит, по эсперантистам.

— Шпионаж, что ли? — равнодушно сказала бекеша.

— Вот-вот, вроде этого, — подтвердил вертля-

вый человек.

— Ну как? — спросил нарядчик.

— Беру, — сказал начальник. — Все равно лучших не найдешь. Выбор нынче небогат.

Всех пятерых повели в отдельную камеру — комнату при бараке. Но в списке было еще две-три фамилии — это Андреев заметил очень хорошо. Пришел нарядчик.

— Куда мы едем?

— На местную командировку, куда же еще, — сказал нарядчик. — А это ваш начальник будет. Через час и отправим. Три месяца припухали тут, друзья, пора и честь знать.

Через час их вызвали, только не к машине, а в кладовую. «Очевидно, заменять обмундирование», — думал Андреев. Ведь весна на носу — апрель. Выдадут летнее, а это, зимнее, ненавистное, приисковое, он сдаст, бросит, забудет. Но вместо летнего обмундирования им выдали зимнее. По ошибке? Нет — на списке была метка красным карандашом: «Зимнее».

Ничего не понимая, в весенний день они оделись во второсрочные телогрейки и бушлаты, в старые, чиненые валенки. И, прыгая кое-как через лужи, в тревоге добрались до барачной комнаты, откуда они пришли на склад.

Все были встревожены чрезвычайно, и все молчали, и только Фризоргер что-то лопотал и лопотал по-немецки.

— Это он молитвы читает, мать его… — шепнул Филипповский Андрееву.

— Ну, кто тут что знает? — спросил Андреев. Седой, похожий на профессора печник перечислил все ближние командировки: порт, четвертый километр, семнадцатый километр, двадцать третий, сорок седьмой…

Дальше начинались участки дорожных управлений — места немногим лучше золотых приисков.

— Выходи! Шагай к воротам! Все вышли и пошли к воротам пересылки. За воротами стоял большой грузовик, закрытый зеленой парусиной.

— Конвой, принимай!

Конвоир сделал перекличку. Андреев чувствовал, как холодеют у него ноги, спина…

— Садись в машину!

Конвоир откинул край большого брезента, закрывавшего машину, — машина была полна людей, сидевших по всей форме.

— Полезай!

Все пятеро сели вместе. Все молчали. Конвоир

сел в машину, затарахтел мотор, и машина двинулась по шоссе, выезжая на главную трассу.

— На четвертый километр везут, — сказал печник. Верстовые столбы уплывали мимо. Все пятеро сдвинули головы около щели в брезенте, не верили глазам…

— Семнадцатый…

— Двадцать третий… — считал Филипповский.

— На местную, сволочи! — злобно прохрипел печник. Машина давно уже вертелась витой дорогой между скал. Шоссе было похоже на канат, которым тащили море к небу. Тащили горы-бурлаки, согнув спину.

— Сорок седьмой, — безнадежно пискнул вертлявый эсперантист.

Машина пролетела мимо.

— Куда мы едем? — спросил Андреев, ухватив чье-то плечо.

— На Атке, на двести восьмом будем ночевать.

— А дальше?

— Не знаю… Дай закурить.

Грузовик, тяжело пыхтя, взбирался на перевал Яблонового хребта.

1959

Андрей Синявский
Золотой шнурок

Как и некоторые другие, я ощущаю, что нужна новая русская проза. Старая проза надоела — если не читателям, то писателям, надоела самому развитию русской литературы. Соцреализм уже кончился, и сколько можно писать в виде прозы бесконечную жалобную книгу по адресу ЦК КПСС, иллюстрируя ее цитатами из «Плахи» Айтматова, «Пожара» Распутина и «Печального детектива» Астафьева? Эти цитаты, может быть, и помогут нормальному устроению российской действительности, но они не имеют отношения к развитию русской словесности. Хотя бы потому не имеют, что до всей этой деревенской прозы был написан, в качестве основополагающей вещи, четверть века назад (вы подумайте — четверть века прошло, а ничего не сдвинулось), рассказ Солженицына «Матренин двор». После «Матренина двора» повторять тот же вариант в бесчисленных образцах русской, казахской, киргизской прозы-бессмысленно.

Не вижу я выхода и в заострении политических

тем. Ни в переводе социальной энергии на сексуальную. Короче говоря, складывается ощущение — тупика.

Правда, подобное же ощущение было у русских футуристов в начале XX века. Но это ощущение тупика тогда пришло на фоне неслыханного подъема русской поэзии — символизма, в первую очередь, и акмеизма. И это давало большие преимущества по сравнению с нашим временем. На фоне общепоэтического подъема в России произошел взрыв футуризма, который повел к дальнейшему подъему русской словесности. Этого сейчас у нас нет. Мы производим взрыв на пустом месте.

Нас может утешать отчасти, что русские футуристы перед своим подъемом не ведали позитивной задачи. Если сейчас перечитать «Пощечину общественному вкусу» 12-го года, мы поразимся силе отрицания, которая содержалась в этом манифесте, при чрезвычайно слабой и неопределенной позитивной программе. В конце концов, позитивная платформа футуристов заключалась в том, чтобы «стоять на глыбе слова 'мы' посреди моря свиста и негодования» или, допустим, «тайна властной ничтожности воспета нами». Все это ровно ничего не значит. Зато появились

— Хлебников, Маяковский, Пастернак (не говорю о дальнейших последствиях). Нам не хватает подобной же силы — отталкивания.

Я нарочно провожу эти невыгодные параллели между поэзией русского футуризма и нашей современной новой прозой, которая, в принципе, хочет взять такой же высокий барьер, но пока что не может. Рассуждая исторически, следует признать, что нам этот барьер взять труднее. Во-первых, потому труднее, что мы имеем дело не с поэзией, а с прозой, которая развивается медленнее поэзии. Во-вторых (и это главное), в развитии прозы нам приходилось и приходится отталкиваться не от символизма, как это делали футуристы, а в первую очередь от куда более низкой стадии — от социалистического реализма.

Первой и широкой реакцией на соцреализм был и до сих пор остается просто реализм. То есть — отступление к старому, известному еще по 19-му веку искусству. В лице деревенской прозы мы отступаем в лучшем случае к Гл. Успенскому. Глеб Успенский честный и хороший писатель. Но прыгнуть от Гл. Успенского в новую русскую прозу очень трудно. И тем не менее какой-то голос подсказывает нам, что нужно прыгать. Нельзя сопровождать развитие нового стиля слишком

уж безнадежной интонацией.

В качестве тоже тупикового, но интересного состояния — «смерть субъекта, смерть объекта», как здесь говорили, — я хочу привести кусок прозы, над которой и об которую бьется сейчас Абрам Терц. Для меня это в какой-то степени образ новой русской прозы. Текст называется — «Золотой шнурок».

— У вас ли мой прекрасный башмак? — Да, он у меня. — У вас ли мой золотой шандал? — Нет, у меня его нет. — У вас ли мой новый платок? — Нет, у меня его нет. — Какой сахар у вас? — У меня ваш хороший сахар. — Какой сапог у вас? — У меня свой кожаный сапог. — У вас ли мой гусь? — Нет, у меня свой. — У вас ли мой старый нож? — У меня красивый нож. — Какой фонарь у вас? — У меня ваш старый фонарь. — Есть ли у вас новый стол? — У меня старый стол. — Есть ли у вас большой дом? — У меня большой, красивый дом. — Есть ли у вас маленький хорек? — Да, он у меня. — Есть ли у вас золотой нож? — У меня золотой нож. Есть ли у вас серебряный шандал? — У меня оловянный шандал.

— У вас ли мой золотой шнурок? — Он у меня. — Какой сахар у вас? — У меня дурной сахар. — Хочется ли вам спать? — Да, мне спать хочется. —

Жарко ли вам? — Нет, мне холодно. — Есть ли у вас сыр? — Нет, у меня ничего нет. — Есть ли у вас хороший кофе? — У меня нет хорошего кофею, у меня хороший чай. — Какой чай у вас? — У меня ваш чай. — Что у вас дурного? — У меня дурной башмак. Хочется ли вам пить? — Мне спать хочется. — Что у вас прекрасного? — У меня прекрасный суконный плащ. — Какой сапог у вас? — У меня старый кожаный сапог. — У вас ли серебряный шнурок? — У меня его нет. — Есть ли у вас что-нибудь? У меня ничего нет. — Есть ли у вас что-нибудь хорошее? — У меня нет ничего хорошего. — Что у вас дурного? — У меня дурной конь моего доброго приятеля. Есть ли у вас хлеб? — У меня нет хлеба. — Какой сыр у вас? — У меня нет сыру, у меня хлеб. — Какой орел у вашего брата? — У него большой орел моего соседа.

— Какой шнурок у вас? — У меня золотой шнурок. — У вас ли железный молоток кузнеца? — У меня нет его. — Есть ли у вас что-нибудь хорошее? — У меня нет ничего хорошего.

— Любите ли вы табак? — Нет, я его не люблю. — Что же вы любите? — Я люблю чай и кофе. — Что вы любите: барана или теленка? — Я не люблю ни барана, ни теленка, я люблю кофе и чай.

Но с другой стороны: — Что у меня? — У вас

большой орел. — Любите ли вы этот пирог? — Нет, я не люблю пирога, но люблю тот паштет. — Красный платок у меня или желтый? — У вас нет ни красного, ни желтого платка, но у вас мой золотой шнурок.

— Мой ли орел у охотника или свой? — У него нет ни вашего, ни своего, у него нет орла, у него хорек. — Где у вас мои маленькие ножи? — У меня их нет, я их ищу. — Ищешь ли ты ослов? — Я ищу ослов и быков.

— Что у этого офицера? — У какого офицера? — У того офицера, которого не любит полковник. — У него кожаные сапоги сапожника.

— Сколько коней у вас? — У меня пять коней. — Хотите ли вы мой нож? — Нет, я его не хочу. — Где видите вы трех больших слонов? — Я вижу их у нашего богатого соседа, у которого три больших дома. — Имеет ли дом купол? — Нет! Есть ли у солдата кивер? — Да! — Какие друзья у турка, эти или те? — У него ни эти, ни те, у него нет друзей.

— Видели ли вы жилеты моего молодого брата? — Нет, я их не видел. Сколько тетеревов видели вы в лесу? — Я видел там десять тетеревов и трех кабанов. — О каких кабанах говорите вы? — Я говорю о трех больших кабанах.

— Какие стаканы у вас? — У меня новые кра-

сивые стаканы. — Хотите ли вы этот красивый шандал? — Нет, я его не хочу. — Можете ли вы мне дать вашего коня? — Я не могу, он у моего брата. — Видите ли вы большие рога этого козла? — Я вижу трех козлов и десять быков с красивыми рогами.

А в это время: — Что у бедного кузнеца? — У него железные щипцы. — Имеют ли эти люди голубей или гусей? — У них нет ни голубей, ни гусей, у них три маленьких соловья и двадцать два воробья. — Сколько у вас носков? — У меня их сорок восемь. — Где мои башмаки? — Здесь!

— Что видите вы? — Я вижу море.

— Железный или оловянный горшок у него? — У него хороший оловянный горшок. — Видите ли вы соловьев там, в саду? — Я вижу соловьев и воробьев. — Сколько крыльев у соловья? — У него два крыла.

— Который час? — Шесть с половиною.

— За чем идет этот башмачник? — Он идет за башмаками студента. — Есть в доме вашего отца котята и мышата? — В нашем доме нет ни котят, ни мышат. Может ли тигр пожрать оленя? — Может.

— Хотите ли вы перцу, чтобы посыпать перцем ваш окорок? — Благодарю, я не люблю перца. —

Могут ли писать ваши братья-писатели? — Они могут, но не хотят. — Почему они не хотят? — Потому что они слишком ленивы.

— Какую женщину видит этот юноша? — Он видит молодую и прекрасную женщину в черном платье. — Где он ее видит? — Он видит ее в церкви. — Видите ли вы большую лошадь? — Да, я ее вижу. — Куда идет кучер с лошадью моего отца? — Он идет в новую конюшню. — Идете ли вы в церковь? — Да, я иду туда со своими сестрами.

— Для чего вам нужна соль? — Я хочу посолить жаркое.

— Сколько сестер у доброго сына нашего столяра? — У него нет ни одной сестры, но у него пять братьев. Имеет ли этот убийца братьев? — Нет, у него нет братьев, но у него две сестры. — Где матери этих любезных девиц? — Они в церкви. — Много ли икры у сельдей? — У них не много икры. — А у каких рыб ее много? — У осетров.

— Видите ли вы эти прекрасные похороны? — Да, я их вижу. — Кого видите вы там в цепях? — Я вижу в цепях убийц нашего хорошего соседа, ловкого кузнеца.

— Какие перчатки у этих господ? — У этих господ очень хорошие кожаные перчатки. — Видите ли вы этого знаменитого стихотворца? — Да, я его

вижу каждый день.

Однако: — Что я вижу там на улице? — Вы видите там хорошенькую женщину с очень хорошенькими детишками. — Приносит ли вам сапожник ваши сапоги? — Мой сапожник не приносит мне моих сапог, но зато мой портной приносит мне новые платья.

— Какие у вас карты? — У меня трефы. — Я думал, что у вас черви. — Нет, у меня трефы, пики и бубны. — Собачка ли это, которую я вижу там? — Нет, это не собака, это свинья. — На чем играет ваш сын? — Он играет на скрипке. — Но почему вы покупаете зонтик, вместо того чтобы купить трость?

— Кто варит говядину? — Повар ее варит. — Француз ли вы? — Извините, я русский. — Кто этот господин, у которого столь высокий лоб? — Он англичанин. Хотите ли вы продать мне свою шляпу? — Нет, я не хочу вам продать ее, потому что она мне самому нужна. — Могу ли я снять сапоги прежде, нежели сниму перчатки?

— Не слишком ли много вы пишете? — Нет, я пишу слишком мало. — Кто эта сумасшедшая там, на рынке? — Это жена того сумасшедшего, которого вы часто видите в концерте. — Много ли козлов у пастуха? — У пастуха мало козлов. Хоро-

шие товары у этой женщины? — Да, у ней очень хорошие товары. — Что у ней? — У ней хорошие серебряные ножи, вилки, стальные перочинные ножики, ножницы, очки и другие железные и стеклянные товары.

— Что драгоценнее красоты? — Добродетель. — Не можете ли вы одолжить мне несколько франков? — Я часто вам одалживал, но вы никогда мне ничего не отдавали.

— Сколько времени оставались вы у своего врача? — Я оставался у него два часа с половиною. — Что вы там так долго делали? — Мы играли в карты. — Что делает теперь портной? — Он чинит платье, которое я ему послал. — Зачем этот молодой солдат столько пьет? — Вероятно потому, что ему пить хочется.

— Что у вас украли? — У меня украли прекрасные часы и золотой шнурок, который я купил в Париже. — Имеете ли вы белые перчатки? — Нет, у меня желтые перчатки. — Видели ли вы уже книгу, которую я написал? — Да, ваш издатель мне ее прислал. — Читали ли вы ее? — Ясене читал, но пробежал немного. — Зачем не пишете вы как должно? — Я не могу писать лучше. — Стреляйте же, теперь ваша очередь! — Извините, я только что стрелял.

— Думаете ли вы возвратиться в Россию? — Нет, я этого не думаю.

— Что любите вы делать? — Я люблю читать и в особенности писать. — Много ли вы читаете? — Мы, литераторы, не имеем времени много читать. — Хотите вы купить этот замок? — Я хочу купить его, но у меня нет денег. — О каком человеке говорите вы? — Я говорю о том, у которого сгорел вчера дом. — Отчего плачет это дитя? — Потому что ему дали ножницы, чтобы стричь ногти, и оно себе обрезало пальцы. — Отрежьте мне кусок говядины! — С величайшим удовольствием.

— Пользовался ли уже ваш брат лошадью, которую он купил? — Да, он ею пользовался. — Сказали ли вы своему брату, чтоб он сошел с поезда? — Нет, я не смел сказать ему этого. — Почему вы не смели ему это сказать? — Потому, что я не хотел его будить. — Скоро ли вы принесете мне мой обед? — Я лучше вовсе не буду обедать, нежели обедать так поздно. — Какая у вас вилка? — У меня вилка, которую мне дал мой брат.

— Видели ли вы золотой меч храброго капитана? — Я не видел его золотого меча, но я видел его серебряный шлем. — Отчего у этого молодого человека такой надменный вид? — Он почитает

себя великим художником, он, который только весьма посредственно играет на фортепьяно.

— Купит ли ваш брат эту лошадь? — Он ее не купит, потому что у него нечем ее купить. — С которых пор носите вы эту большую шляпу? — С тех пор, как я возвратился из Германии.

— Но у кого золотые шнурки? — Никто их не имеет.

— Кто стучит в двери? — Это я! Хотите вы мне отворить? — Чего желаете вы? — Я пришел просить вас отдать мне деньги, которые я вам одолжил. — Если вы будете столь добры и придете завтра, я вам их отдам.

— Почему этот пьяница, всю жизнь свою пивший только вино, спросил в час своей смерти большой стакан воды? — «Умирая, — сказал он, — должно помириться со своими врагами».

1987

Виктор Астафьев
Людочка

Ты камнем упала.
Я умер под ним.

Вл. Соколов

Мимоходом рассказанная, мимоходом услышанная история, лет уже пятнадцать назад.

Я никогда не видел ее, ту девушку. И уже не увижу. Я даже имени ее не знаю, но почему-то втемяшилось в голову — звали ее Людочкой. «Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный...» И зачем я помню это? За пятнадцать лет произошло столько событий, столько родилось и столько умерло своей смертью людей, столько погибло от злодейских рук, спилось, отравилось, сгорело, заблудилось, утонуло...

Зачем же история эта, тихо и отдельно ото всего, живет во мне и жжет мое сердце? Может, все дело в ее удручающей обыденности, в ее обезоруживающей простоте?

Людочка родилась в небольшой угасающей деревеньке под названием Вычуган. Мать ее была

колхозницей, отец — колхозником. Отец от ранней угнетающей работы и давнего, закоренелого пьянства был хилогруд, тщедушен, суетлив и туповат. Мать боялась, чтоб дитя ее не родилось дураком, постаралась зачать его в редкий от мужних пьянок перерыв, но все же девочка была ушиблена нездоровой плотью отца и родилась слабенькой, болезной и плаксивой.

Она росла, как вялая, придорожная трава, мало играла, редко пела и улыбалась, в школе не выходила из троечниц, но была молчаливо-старательная и до сплошных двоек не опускалась.

Отец Людочки исчез из жизни давно и незаметно. Мать и дочь без него жили свободнее, лучше и бодрее. У матери бывали мужики, иногда пили, пели за столом, оставались ночевать, и один тракторист из соседнего леспромхоза, вспахав огород, крепко отобедав, задержался на всю весну, врос в хозяйство, начал его отлаживать, укреплять и умножать. На работу он ездил за семь верст на мотоцикле, сначала возил с собой ружье и часто выбрасывал из рюкзака на пол скомканных, роняющих перо птиц, иногда за желтые лапы вынимал зайца и, распялив его на гвоздях, ловко обдирал. Долго потом висела над печкой вывернутая наружу шкурка в белой

оторочке и в красных, звездно рассыпавшихся на ней пятнах, так долго, что начинала ломаться, и тогда со шкурок состригали шерсть, пряли вместе с льняной ниткой, вязали мохнатые шалюшки.

Постоялец никак не относился к Людочке, ни хорошо, ни плохо, не ругал ее, не обижал, куском не корил, но она все равно побаивалась его. Жил он, жила она в одном доме — и только. Когда Людочка домаяла десять классов в школе и сделалась девушкой, мать сказала, чтоб она ехала в город — устраиваться, так как в деревне ей делать нечего, они с самим — мать упорно не называла постояльца хозяином и отцом — налаживаются переезжать в леспромхоз. На первых порах мать пообещала помогать Людочке деньгами, картошкой и чем Бог пошлет, — на старости лет, глядишь, и она им поможет.

Людочка приехала в город на электричке и первую ночь провела на вокзале. Утром она зашла в привокзальную парикмахерскую и, просидев долго в очереди, еще дольше приводила себя в городской вид: сделала завивку, маникюр. Она хотела еще и волосы покрасить, но старая парикмахерша, сама крашенная под медный самовар, отсоветовала: мол, волосенки у тебя «мя-а-ах-канькия, пушистенькия, головенка, буд-

то одуванчик, — от химии же волосья ломаться, сыпаться станут». Людочка с облегчением согласилась — ей не столько уж и краситься хотелось, как хотелось побыть в парикмахерской, в этом теплом, одеколонными ароматами исходящем помещении.

Тихая, вроде бы по-деревенски скованная, но по-крестьянски сноровистая, она предложила подмести волосья на полу, кому-то мыло развела, кому-то салфетку подала и к вечеру вызнала все здешние порядки, подкараулила у выхода в парикмахерскую тетеньку под названием Гавриловна, которая отсоветовала ей краситься, и попросилась к ней в ученицы.

Старая женщина внимательно посмотрела на Людочку, потом изучила ее необременительные документы, порасспрашивала маленько, потом пошла с нею в горкоммунхоз, где и оформила Людочку на работу учеником парикмахера.

Гавриловна и жить ученицу взяла к себе, поставив нехитрые условия: помогать по дому, дольше одиннадцати не гулять, парней в дом не водить, вино не пить, табак не курить, слушаться во всем хозяйку и почитать ее как мать родную. Вместо платы за квартиру пусть с леспромхоза привезут машину дров.

— Покуль ты ученицей будешь — живи, но как мастером станешь, в общежитку ступай. Бог даст, и жизнь устроишь. — И, тяжело помолчав, Гавриловна добавила: — Если обрюхатеешь, с места сгоню. Я детей не имела, пискунов не люблю, кроме того, как и все старые мастера, ногами маюсь. В распогодицу ночами вою.

Надо заметить, что Гавриловна сделала исключение из правил. С некоторых пор она неохотно пускала квартирантов вообще, девицам же и вовсе отказывала.

Жили у нее, давно еще, при хрущевщине, две студентки из финансового техникума. В брючках, крашеные, курящие. Насчет курева и всего прочего Гавриловна напрямки, без обиняков строгое указание дала. Девицы покривили губы, но смирились с требованиями быта: курили на улице, домой приходили вовремя, музыку свою громко не играли, однако пол не мели и не мыли, посуду за собой не убирали, в уборной не чистили. Это бы ничего. Но они постоянно воспитывали Гавриловну, на примеры выдающихся людей ссылались, говорили, что она неправильно живет.

И это бы все ничего. Но девчонки не очень различали свое и чужое, то пирожки с тарелки подъедят, то сахар из сахарницы вычерпают, то

мыло измылят, квартплату, пока десять раз не напомнишь, платить не торопятся. И это можно было бы стерпеть. Но стали они в огороде хозяйничать, не в смысле полоть и поливать, — стали срывать чего поспело, без спросу пользоваться дарами природы. Однажды съели с солью три первых огурца с крутой навозной гряды. Огурчики те, первые, Гавриловна, как всегда, пасла, холила, опустившись на колени перед грядой, навоз на которую зимой натаскала в рюкзаке с конного двора, поставив за него чекенчик давнему разбойнику, хромоногому Слюсаренко, разговаривала с ними, с огурчиками-то: «Ну, растите, растите, набирайтесь духу, детушки! Потом мы вас в окро-о-ошечку-у, в окро-ошечку-у-у» — а сама им водички, тепленькой, под солнцем в бочке нагретой.

— Вы зачем огурцы съели? — приступила к девкам Гавриловна.

— А что тут такого? Съели и съели. Жалко, что ли? Мы вам на базаре во-о-о какой купим!

— Не надо мне во-о-о какой! Это вам надо во-о-о какой!.. Для утехи. А я берегла огурчики…

— Для себя? Эгоистка вы!

— Хто-хто?

— Эгоистка!

— Ну, а вы б...! — оскорбленная незнакомым словом, сделала последнее заключение Гавриловна и с квартиры девиц помела.

С тех пор она пускала в дом на житье только парней, чаще всего студентов, и быстро приводила их в Божий вид, обучала управляться по хозяйству, мыть полы, варить, стирать. Двоих наиболее толковых парней из политехнического института даже стряпать и с русской печью управляться научила. Гавриловна Людочку пустила к себе оттого, что угадала в ней деревенскую родню, не испорченную еще городом, да и тяготиться стала одиночеством, свалится — воды подать некому, а что строгое упреждение дала, не отходя от кассы, так как же иначе? Их, нонешнюю молодежь, только распусти, дай им слабинку, сразу охомутают и поедут на тебе, куда им захочется.

Людочка была послушной девушкой, но учение у нее шло туговато, цирюльное дело, казавшееся таким простым, давалось ей с трудом, и, когда минул назначенный срок обучения, она не смогла сдать на мастера. В парикмахерской она прирабатывала уборщицей и осталась в штате, продолжала практику — стригла машинкой наголо допризывников, карнала электронож-

ницами школьников, оставляя на оголившейся башке хвостик надо лбом. Фасонные же стрижки училась делать «на дому», подстригала под раскольников страшенных модников из поселка Вэпэвэрзэ, где стоял дом Гавриловны. Сооружала прически на головах вертлявых дискотечных девочек, как у заграничных хит-звезд, не беря за это никакой платы.

Гавриловна, почуяв слабинку в характере постоялицы, сбыла на девочку все домашние дела, весь хозяйственный обиход. Ноги у старой женщины болели все сильнее, выступали жилы па икрах, комковатые, черные. У Людочки щипало глаза, когда она втирала мазь в искореженные ноги хозяйки, дорабатывающей последний год до пенсии. Мази те Гавриловна именовала «бонбенгом», еще «мамзином». Запах от них был такой лютый, крики Гавриловны такие душераздирающие, что тараканы разбежались по соседям, мухи померли все до единой.

— Во-о-от она, наша работушка, а, во-от она, красотуля-то человечья, как достаетца! — поуспокоившись, высказывалась в темноте Гавриловна. — Гляди, радуйся, хоть и бестолкова, но все одно каким-никаким мастером сделаешься… Чё тебя из деревни-то погнало?

Людочка терпела все: и насмешки подружек, уже выбившихся в мастера, и городскую бесприютность, и одиночество свое, и нравность Гавриловны, которая, впрочем, зла не держала, с квартиры не прогоняла, хотя отчим и не привез обещанную машину дров. Более того, за терпение, старание, за помощь по дому, за пользование в болести Гавриловна обещала сделать Людочке постоянную прописку, записать на нее дом, коли она и дальше будет так же скромно себя вести, обихаживать избу, двор, гнуть спину в огороде и доглядит ее, старуху, когда она обезножеет совсем.

С работы от вокзала до конечной остановки Людочка ездила на трамвае, далее шла через погибающий парк Вэпэвэрзэ, по-человечески — парк вагонно-паровозного депо, насаженный в тридцатых годах и погубленный в пятидесятых. Кому-то вздумалось выкопать канаву и проложить по ней трубу через весь парк. И выкопали. И проложили, но, как у нас водится, закопать трубу забыли.

Черная, с кривыми коленами, будто растоптанный скотом уж, лежала труба в распаренной глине, шипела, парила, бурлила горячей бурдой. Со временем трубу затянуло мыльной слизью,

тиной и по верху потекла горячая речка, кружа радужно-ядовитые кольца мазута и разные предметы бытового пользования. Деревья над канавой заболели, сникли, облупились. Лишь тополя, корявые, с лопнувшей корой, с рогатыми сухими сучьями на вершине, опершись лапами корней о земную твердь, росли, сорили пух и осенями роняли вокруг осыпанные древесной чесоткой ломкие листья. Через канаву был переброшен мостик из четырех плах. К нему каждый год деповские умельцы приделывали борта от старых платформ вместо перил, чтоб пьяный и хромой люд не валился в горячую воду. Дети и внуки деповских умельцев аккуратно каждый год те перила ломали.

Когда перестали ходить паровозы и здание депо заняли новые машины — тепловозы, труба совсем засорилась и перестала действовать, но по канаве все равно текло какое-то горячее месиво из грязи, мазута, мыльной воды. Перила к мостику больше не возводились. С годами к канаве приползло и разрослось, как ему хотелось, всякое дурнолесье и дурнотравье: бузина, малинник, тальник, волчатник, одичалый смородинник, не рожавший ягод, и всюду — развесистая полынь, жизнерадостные лопух и колючки. Кое-где

дурнину эту непролазную пробивало кривостволь-ными черемухами, две-три вербы, одна почерневшая от плесени упрямая береза росла, и, отпрянув сажен на десять, вежливо пошумливая листьями, цвели в середине лета кособокие липы. Пробовали тут прижиться вновь посаженные елки и сосны, но дальше младенческого возраста дело у них не шло — елки срубались к Новому году догадливыми жителями поселка Вэпэвэрзэ, сосенки ощипывались козами и всяким разным блудливым скотом, просто так, от скуки, обламывались мимо гулявшими рукосуями до такой степени, что оставались у них одна-две лапы, до которых не дотянуться. Парк с упрямо стоявшей коробкой ворот и столбами баскетбольной площадки и просто столбами, вкопанными там и сям, сплошь захлестнутый всходами сорных тополей, выглядел словно бы после бомбежки или нашествия неустрашимой вражеской конницы. Всегда тут, в парке, стояла вонь, потому что в канаву бросали щенят, котят, дохлых поросят, все и всякое, что было лишнее, обременяло дом и жизнь человеческую. Потому в парке всегда, но в особенности зимою, было черно от ворон и галок, ор вороний оглашал окрестности, скоблил слух людей, будто паровозный острый шлак.

Но человеку без природы существовать невозможно, животные возле человека обретающиеся, тоже без природы не могут, и коли ближней природой был парк Вэпэвэрзэ, им и любовались, на нем и в нем отдыхали. Вдоль канавы, вламываясь в сорные заросли, стояли скамейки, отлитые из бетона, потому что деревянные скамейки, как и все деревянное, дети и внуки славных тружеников депо сокрушали, демонстрируя силу и готовность к делам более серьезным. Все заросли над канавой и по канаве были в собачьей, кошачьей, козьей и еще чьей-то шерсти. Из грязной канавы и пены торчали и гудели горлами бутылки разных мастей и форм: пузатые, плоские, длинные, короткие, зеленые, белые, черные; прели в канаве колесные шины, комья бумаги и оберток; горела на солнце и под луной фольга, трепыхалось рванье целлофана; иногда проносило аж до самой реки, в которую резво втекал зловонный поток канавы, какую-нибудь диковину: испустившего резиновый дух крокодила Гену; красный круг из больницы; жалко слипшийся презерватив; остатки древней деревянной кровати и много-много всякого добра.

Как водится в настоящем уважающем себя городе, и в парке Вэпэвэрзэ и вокруг него по

праздникам вывешивались лозунги, транспаранты и портреты на специально для этой цели сваренные и изогнутые трубы. Прежде было хорошо и привычно: портреты одни и те же, лозунги одни и те же; потом преобразования начались. Было: «Дело Ленина — Сталина живет и побеждает!» — стало: «Ленинизм живет и побеждает!» Было: «Партия — наш рулевой!» — стало: «Слава советскому народу, народу-победителю!» Результат местной идейной мысли тоже был: «Трудящиеся Советского Союза! Ваше будущее в ваших руках» «И в ногах!» — дописал кто-то из местных остряков. Железнодорожное депо всегда отличала повышенная бдительность, классовое чутье и гражданская принципиальность. Больше ни одной дописки на эстакаде — так важно тут именовалась железная конструкция — не появлялось.

Но когда с эстакады, с самого центра ее, было вынуто сразу пять портретов и сзади них обнажился, явственней проступил лозунг: «Партия — ум, честь и совесть эпохи!» — примолкли даже железнодорожники.

В местной школе с давними, твердо стоящими на передовых позициях кадрами произошло шатание. Приехавшая по распределению из ре-

волюционного города Ленинграда молоденькая учительница литературы кричала на собрании: «Какой очистительной морали можно ждать от города, когда в центре его, на воротах артиллерийского завода с сорок второго года горят трехметровые буквы: „Наша цель — коммунизм!“?»

Ну, такая учителка долго в поселке Вэпэвэрзэ не продержится, домой ее воротят или еще куда отвезут.

В таком поселке, в таком роскошном месте, как парк Вэпэвэрзэ, само собой, и «нечистые» велись, да все здешнего рода и производства, пили они тут, играли в карты, дрались они тут и резались, иногда насмерть, особенно с городской шпаной, которую не могло не тянуть в фартовое место. Имали они тут девок и однажды чуть было не поймали ту вольнодумную ленинградскую учительницу — убегла, физкультурница.

Среди вэпэвэрзэшников верховодом был Артемка-мыло, со вспененной белой головой, с узким рыльцем и кривыми, ходкими ногами. Людочка сколь ни пыталась усмирить лохмотья на буйной голове Артемки, названного отцом-паровозником в честь героического Артема из кинофильма «Мы из Кронштадта», ничего у нее не получалось.

Артемкины кудри, издали напоминающие мыльную пену, изблизя оказались что липкие рожки из вокзальной столовой — сварили их, бросили скользким комком в пустую тарелку, так они, слипшиеся, неразъемно и лежали. Да и не затем приходил Артемка-мыло в дом Гавриловны, чтоб усмирить свою шевелюру. Он, как только Людочкины руки становились занятыми ножницами и расческой, начинал хватать ее за разные места. Людочка сначала дергалась, уклонялась от Артемкиных пальцев с огрызенными ногтями, потом стала бить по хватким рукам. Но клиент не унимался. И тогда Людочка стукнула вэпэвэрзэшного атамана стригущей машинкой, да так неловко, что из Артемкиной патлатой головы, будто из куриных перьев, выступила красная жидкость. Пришлось лить йод из флакона на удалую башку ухажористого человека, он заулюлюкал, словно в штанах припекло, со свистом половил воздух пухлыми губами и с тех пор домогания свои хулиганские прекратил. Более того, атаман-мыло всей вэпэвэрзэшной шпане повелел Людочку не лапать и никому лапать не давать.

Людочка ничего и никого с тех пор в поселке не боялась, ходила от трамвайной остановки до дома Гавриловны через парк Вэпэвэрзэ в любой

час, в любое время года, свойской улыбкой отвечая на приветствия, шуточки и свист шпаны да слегка осуждающим, но и всепрощающим потряхиванием головы.

Один раз атаман-мыло зачалил Людочку в центральный городской парк. Там был загороженный крашеной решеткой загон, высокий, с крепкой рамой, с дверью из стального прута. В нише одной стены сделана полумесяцем выемка, вроде входа в пещеру, и в той нише двигались, дрыгались, подскакивали на скамейках, болтали давно не стриженными волосьями как попало одетые парни. Одна особа, отдаленно похожая на женщину, совсем почти раздетая, кричала в фигуристый микрофон, держа его в руке с каким-то срамным вывертом. Людочке сперва казалось, что кричит та несуразная особа что-то на иностранном языке, но, прислушавшись, разобрала: «Приходи. Любофь. А то…»

В загоне-зверинце и люди вели себя по-звериному. Какая-то чернявая и красная от косметики девка, схватившись вплотную с парнем в разрисованной майке, орала средь площадки: «Ой, нахал! Ой, живоглот! Чё делат! Темноты не дождется! Терпеж у тебя есть?!» «Нету у него терпежу! — прохрипел с круга мужик не мужик, парень не

парень. — Спали ее, детушко! Принародно лиши невинности!»

Со всех сторон потешался и ржал клокочущий, воющий, пылящий, перегарную вонь изрыгающий загон. Бесилось, неистовствовало стадо, творя из танцев телесный срам и бред. Взмокшие, горячие от разнузданности, от распоясавшейся плоти, издевающиеся надо всем, что было человеческого вокруг них, что было до них, что будет после них, душили в паре себя и партнера, бросались на огорожу, как на амбразуру в военное время, человекоподобные пленные, которым некуда было бежать. Музыка, помогая стаду в бесовстве и дикости, билась в судорогах, трещала, гудела, грохотала барабанами, стонала, выла.

Людочка сперва затравленно озиралась, потом зажалась в уголок загона и искала глазами атамана-мыло — если нападут, чтоб заступился. Но Мыло измылился в этой бурлящей серой пене, да и молоденький милиционер в нарядном картузе, ходивший вокруг танцплощадки со связкой ключей, подействовал на Людочку успокаивающе. Ключами милиционер поигрывал, позванивал так, чтоб наглядно было: сила есть против всяких страстей и бурь. Время от времени эта сила вступала в действие. Милиционер приостанав-

ливался, кивал картузом, и на его кивок туг же из кустов бузины являлось четверо парней с красными повязками дружинников. Милиционер повелительно тыкал пальцем в загон и бросал парням звенящие ключи. Парни врывались в загон, начинали гонять и ловить безластой курицей летающую, бьющуюся в решетки особь, может, девку, может, парня — ввечеру тут никого и ни от чего отличить уже было невозможно. Хватаясь за решетки, за встречно выкинутые солидарные руки, жалкая, заголенная жертва, кровя сорванной кожей, красно намазанным ртом вопила, материлась: «Х-х-ха-ады-ы! Фашисты-ы! Сиксо-о-оты-ы! Педера-асты-ы!..»

«Сейчас они в собачнике покажут тебе и фашистов и педерастов… Се-э-эча-ас…» — торжествуя или сострадая, со злорадной тоской бросало вослед жертве чуть присмиревшее стадо.

Людочка боялась выходить из угла решетчатого загона, все не теряла надежды, что атаман-мыло выскользнет из тьмы и она за ним и за его шайкой, хоть в отдалении, дотащится до дома. Но какой-то плюгавый парень в телесно налипших брючках, может, и в колготках, углядел ее и выхватил из угла. Малый поди еще и школу не закончил, но толк в сексе знал. Он жадно притис-

нул девушку к воробьиной груди, начал тыкать в лад с музыкой чем-то тверденьким. Людочка — не гимназистка, не мулечка-крохотулечка из накрахмаленной постельки, она все же деревенская по происхождению, видела жизнь животных, да и про людей кое-что знала. Она сильно толкнула хлыща-танцора, но он тренированный, видать, не отпускался, зуб кривой скалил. Один почему-то зуб у него и виделся. «Ну, чё ты? Чё ты? Давай дружить, кроха!»

Людочка все-таки вырвалась из объятий кавалера и наддала ходу из загона. Дома, едва отдышавшись и зажав лицо руками, она все повторяла:

— Ужас! Ужас!..

— Во-от, будешь знать, как шляться где попало! — запела Гавриловна, когда Людочка по давно укоренившейся уже привычке рассказала ей про все свои молодые развлечения.

Убирая связанную Людочкой кофту, юбку в складочку, Гавриловна назидала, говоря дитяте, что ежели постоялка сдаст на мастера, определится с профессией, она безо всяких танцев найдет ей подходящего рабочего парня — не одна же шпана живет на свете, или путного вдовца — есть у нее один на примете, пусть и старше

ее, пусть и детный, зато человек надежный, а года — не кирпичи, чтоб их рядом складывать да стену городить. У солидного мужчины года-то к рассуждению, опыту и разумению, женская же молодость и ладность — к жизнеутешению и радости мужицкой. Раньше завсегда мужик старше невесты был, так и хозяином считался, содержал дом и худобу в полном порядке, жену доглядывал, заботником ей и детям был. Она, ежели мужчина самостоятельный сгодится, и поселит их у себя — на кого ей, бобылке, дом спокидать? А они, глядишь, на старости лет ее доглядят. Ноги-то, вон они, совсем ходить перестают.

— А танцы эти, золотко мое, только изгальство над душой, телу искушение; пошоркаются мушшына об женшыну, женшына об мушшыну, разгорячатся и об каком устройстве жизни может тут идти мысль? Я этих танцев отродясь не знала, вот и сраму лишнего не нахваталась, все мои танцы — в парикмахерской вокруг кресла с клиентом были…

Людочка, как всегда, была согласна с Гавриловной целиком и полностью, с человеком умным, опыт жизни имеющим, считала, что ей очень повезло, — иметь такого наставника и старшего друга не всем доводится, не всем выпадает

такая удача. В общежитии-то, сказывают, вон чего делается — содом, разврат и условия плохие: воды часто не бывает, на газовую плиту и на стиральную машину очереди; захожие парни пробки вывертывают, свет вырубают, в потемках на девчонок охотничают…

Людочка варила, мыла, скребла, белила, красила, стирала, гладила и не в тягость ей было содержать в полной чистоте дом, а в удовольствие, — зато, если замуж, Бог даст, выйдет, все она умеет, во всем самостоятельной хозяйкой может быть, и муж ее за это любить и ценить станет.

Недосыпала, правда, Людочка, голову иногда кружило, и кровь носом шла, по она ваткой нос заткнет, полежит на спине — и все в порядке, не цаца какая, чтоб по больницам шляться, да и носик у нее маленький, аккуратненький, из него и крови-то вытекает всего ничего.

Той порой вернулся в железнодорожный поселок из мест совсем не отдаленных, с того же леспромхоза, где работал отчим Людочки, всем в местной округе знакомый человек по прозванию Стрекач. Более о нем сообщить нечего, Стрекач и Стрекач. Ликом он и в самом деле смахивал на черного узкоглазого жука, летающего по древес-

ной рухляди и что-то там и кого-то там длинными и хрусткими усами терзающего. Все отличие от всамделишного стрекача в вэпэвэрзэшном поселке урожденного Стрекача заключалось в том, что вместо стригущих щупалец-усов у этого под носом была какая-то грязная нашлепка, при улыбке, точнее при оскале, обнажающая порченые зубы, словно бы из цементных крошек изготовленные.

Порочный, с раннего детства задроченный, он в раннем же детстве занялся разбоем: в школе отбирал у малышей серебрушки, пряники, конфетки, разный шанцевый инструмент вроде резинок, шариковых ручек, значков, особенно настойчиво добывал жвачку, любую, но в блескучей обертке ценил больше всего. В седьмом классе, до которого его дотащили сердобольные учителя железнодорожной школы. Стрекач уже таскался с ножом, и отбирать ему ни у кого ничего не надо было — малое население поселка приносило ему, как хану, дань, все, что он велел и хотел. В седьмом же классе Стрекач совершил и первое преступление: в драке на трамвайной остановке подколол кого-то из городской шпаны и был поставлен на учет в милиции как трудновоспитуемый подросток. В том же году он был судим за попытку изнасилования почтальонки и получил

первый срок — три года с отсрочкой приговора. Но отважный боец плевать хотел на ту отсрочку и после суда продолжал жить, как душа просила. Стрекач приспособился безнаказанно пиратничать на пригородных дачах. Если владельцы дач не оставляли выпивку, закуску и запирали двери на замок, он ломом крушил окна, веранду, бил посуду, растаптывал скарб, рвал постели, мочился в банки с крупой и мукой, если была охота — оправлялся средь избы, рисовал череп и скрещенные кости на печке, вывешивал на двери унесенный из города плакат «Бойся пожара!» и прятался неподалеку, дожидаясь хозяев, которые быстренько выставляли выпивку, консервы, даже истоплю сухих дров, как в прежние годы в охотничьей избушке, излаживали и записочку ласковую: «Миленький гость! Пей, ешь, отдыхай — только, ради Бога, ничего не поджигай».

В благословенных, добычливых местах Стрекач прожировал почти всю зиму, но в конце концов его все же взяли — и три условных года обратились на сей раз в три года тюремных.

С тех пор и обретался герой поселка Вэпэвэрзэ в исправительно-трудовых лагерях, время от времени прибывая в родной поселок, будто в заслуженный отпуск.

Здешняя шпана гужом тогда ходила за Стрекачом, набиралась ума-разума, почтительно клоня голову перед паханом и вором в законе, который, несмотря на свой авторитет, по-мелкому ощипывал свою команду, то в картишки, то в петельку, то в наперсток с нею играя.

Тревожно жилось тогда и без того всегда в тревоге пребывающему населению поселка Вэпэвэрзэ.

В тот летний вечер Стрекач, свободный от дел, сидел в парке на бетонной скамейке, вольно раскинув руки по бетонной же спине-плахе. Рукава красной, со ржавчиной рубахи на нем были до локтей закатаны, на руках, загорелых до запястий, изборожденных наколками, поигрывали браслеты, кольца, печатки, модерновые электронные часы светились многими цифрами на обоих запястьях; в треугольнике вольно расстегнутого ворота рубахи на темном раскрылье орла поигрывал крестик, прицепленный к мелкозернистой цепочке, излаженной под золото; нежно-васильковый пиджак со сверкающими пуговицами, с бордовыми клиньями в талии — одеяние жокея, швейцара или таможенника не нашей страны, — где-то недавно «занятый», то и дело сваливался с плеч. Парни бросались

за скамью, извлекали «фрак» из бурьяна и, ощипав с него комочки глины, репей, почтительно набрасывали на плечи дорогого гостя. Они, эти парни, во главе с атаманом-мыло ведали, что под цепочкой, ниже вольнокрылого орла, терзающего жертву с женскими грудями, есть могучее, внушающее трепет, изречение: «Верю в Иисуса Христа, Ленина и в опера Наливайко».

Стрекач лениво протягивал руку к стоящей на скамье бутылке с дорогим коньяком, отпивал глоток-другой и передавал ее услужливым корешкам.

— Ба-бу-бы-ы-ы-ы! Бабу хочу! — тоскливо баловался словами Стрекач и время от времени скорготал зубами так, будто не порченые зубы у него из-под усов торчали, а был полон рот камешника, и, сжигаемый неуемной страстью, он крошил каменья — «аж дым из рота!»

Парни таращились на такого редкостного человека и успокаивали его:

— Будет тебе баба, будет! Не психуй. Вот массы с танцев повалят, мы тебе цыпушек наимам. Сколько захочешь… Только вино все не выпивай…

— Ш-шыто вино-о? Ш-шыто гроши? Ш-шыто жизнь? — Стрекач отпил из горла, плюнул под ноги, зажмурившись, покатал голову по ребру

плахи. Худо было человеку, совсем худо. Изнемогал он, и понимая, что такой кураж заслужен, выстрадан всей жизнью и невыносимыми лишениями в местах с жестокими правилами, с ограничением всяких свобод, парни стыдливо прятали глаза, вздыхали и мысленно торопили время.

— А-а, вот и хорошим девочкам идет, он чего-то нам несет, — встряхнулся Стрекач.

— Это Людка. Ее трогать не надо, — потупился Артемка-мыло.

— А шту, он балной или селка?

— Больной, больной…

— А нам су равна, а нам су равна… хоть балной, хоть какой, нам хоть ишачку… — Стрекач дернулся со скамьи, поймал за поясок плаща Людочку. — Куда спэшишь, дарагая? Подожди, нэ спэши, познакомиться разреши…

Стрекач собирал в горсть плащик, комкал вместе с платьем, подтягивал к себе девушку, пытался усадить на колени. Людочка дергалась все сильнее, все настойчивее.

— Харр-раш-шо-о-о, что сопротивляешься, дарагая! Это дядя любит… От этого дядя звереет. Не вертись! Сядь, фря!

Людочка не садилась.

— Какая я вам фря? Я Люда. Да отпустите вы меня!

— Это правда Люда. Здешняя. Мы ее знаем.

— Ах, Люда, Люда, Людочка, с каемкой сине блю-удечко, — будто не слыша корешей, пропел Стрекач и в хищной усмешке обнажил под усами серые зубы. — Ты понимаешь, дя-адя хочет? Дя-адя! Хочет! И чему тебя в школе учили?

— Ничего я… ничего…

— Ты скажи! — хохотнул Стрекач. — Она брезговат!.. Ты почему грубишь? Кто тебя, паскуда, спрашиват? Кто? — Стрекач кинул Людочку через скамейку и сам туда перекинулся, рыча, ловил в бурьяне на четвереньках уползающую девчонку. — Пах-хади! Пах-хади! Нэ спэши, дарагая!.. Н-нэ спэши!.. — Стрекач поймал Людочку за плащ, подтянул ее к себе, макнул лицом в землю. — Н-не кудахтай, курица! — С треском рванул на ней платье.

Людочка все время пыталась крикнуть, но изо рта ее вырывалось только: «Усу… усу… усу…». И вдруг прорвалось, она придавленно запищала, но ей казалось — взвизгнула на весь белый свет.

— Во, любовь! — качнул Артемка-мыло кудлатой головой за скамью. — С песнопением…

Кореша его, их было трое, ознобленно подхи-

хикнули:

— Мы поглядим?

— Глядите. Мне что? — пожал плечами Артемка и с трудом переборол себя, чтоб тоже не поглядеть.

— Да не вертись ты, паскуда! — раздалось из бурьяна. — Ну, куда ты? Куда? Там же ж горячая вода… Ты уймешься? — Стрекач бил куда-то кулаком, рассек руку о стекла, которыми сплошь был забит бурьян.

Людочка все пыталась кричать. Из удушливой тьмы, из прошлогоднего бурьяна, смешавшегося с нынешним, в ее разверстый рот упала, или ей помстилось, что упала, грязная шерсть, захлестнуло дыхание, тошнота, давившая грудь, вдруг разрешилась судорогой. Горло, схваченное спазмом, дернулось.

Стрекача подбросило. Выскочив из кустов, продираясь по бурьяну, он щелчками сбивал с «фрака», с нарядной рубашки что-то и исступленно лаялся:

— А-а, кур-р-рва! Облевала, весь фрак вокзальным винегретом завесила. — Сделав коромыслом руки, глянул вниз и застонал: — И шшш-ка-ар-ры! Шкары! — Попробовал огладить штаны, заметил красное на руках, принялся отсасывать кровь из

пальцев и отплевывать. Жадно отпив коньяку, он повелительно качнул головой за скамью.

— Не-е, мы наших ждем. С танцев… мы… — залепетали парни.

Стрекач бросился на парней, кровеня рубахи, скрутил на груди корешков тряпье вместе с лагерными сувенирами, с цепочками под золото, щедро им даренные.

— Ы-ышшшь-те, фраера! Запачкаться боитесь? — свистел он в дыроватые зубы. — Меня под лафет, сами под буфет! Не выйдет! Не выйдет, дорогуши! Кто меня на девку навел? Кто эту выдру прикормил в саде? — Стрекач затолкал парней за скамейку, в бурьян, сунув руку в карман, где у него хранилась на подвесе изящная, умельцами локомотивного депо изготовленная финка, пригрозил: — И не киксовать!

Людочка слепо шаря по земле, по себе, ползала в бурьяне, натыкалась на кусты, между приступами рвоты чихала и все чего-то искала, искала, собирала рванье на груди.

Вдруг пронзительно взвизгнула, лупцуя, царапая Артемку-атамана, возникшего перед нею. По правде сказать, увидев ее, скомканную, изорванную, Артемка-мыло оробел и попытался натянуть на нее плащ, оторванный рукав на плечо. А она:

— М-мыло! Мыло! Мыло!.. — Вырвавшись из грязных, цепких зарослей, Людочка помчалась напролом, через объеденный топольник, поскользнулась на мостике, упала и все продолжала вопить: — Мыло! Мыло!..

Добежав до знакомого, такого уже родного дома Гавриловны, Людочка ударилась о калитку, сорвала ее со слабой деревянной вертушки, ввалилась в ограду, поползла по мытому недавним дождем тротуару, упала на ступеньку недавно ею выскобленного крыльца, уткнулась лицом в половичок и потеряла сознание.

Очнулась девушка на старом диване, на своей постели и сразу почувствовала под собой что-то холодное, скользкое, сунула под себя руку — клеенка. Гавриловна — бережливая хозяйка.

— Очнулась? Вот и хорошо. Вот и славно. Попей вот водички с брусницей, вкуси кисленькое, смой с души горькое… Попей, попей и не дрожи, не дрожи-ы, — миролюбиво успокаивала, гудела над Людочкой Гавриловна.

Людочка сперва жадно, с захлебом пила, но питье словно бы уперлось в какую-то створку, за которой вскипала тошнота, и она отстранила руку с кружкой.

— Бабе сердце беречь надо, остальное все у нее

износу не знает… И родится баба не под нож, а под совсем другое… Ну сорвали плонбу, подумашь, экая беда. Нонче это не изъян, нонче замуж какую попало берут, тьфу нонче на эти дела… А тем мошенникам, тем фулюганам я чубы накручу! Ох, накручу!.. И ты тоже хороша! Скоко я те говорила: не ходи вечерами парком, не ходи, там одни лахудры да шпанята табунятся! Так нет, не слушаешься старших-то…

— Я к маме хочу.

— К маме? Дак и поезжай, золотко мое. Утром и поезжай, хоть на день, хоть на два. Я заведующей доложу и уберусь за тебя в парикмахерской-то, ты ж убираешься… Во-он у нас, что в твоей светлице!.. Уберу-усь, хоть нараскоряку, да ползаю ишшо.

В родной деревне Вычуган осталось два целых дома. В одном упрямо доживала и дожила свой век старуха Вычуганиха, в другом — мать Людочки с отчимом. Когда-то, давно еще, пелось тут: «В Вычугане мы живем, день работам, ночь поем». Отец пел уже по-другому: «В Вычугане мы живем, не работаем, но пьем».

Вся деревня, задохнувшаяся в дикорасте, с едва натоптанной тропой, была в закрещенных окнах, с пошатнувшимися скворечниками, с развален-

ными оградами дворов и огородных плетней, с угасающими садовыми деревьями и вольно, дико разросшимися меж молчаливых изб тополями, черемухами, осинами, занесенными ветром из лесов. А старые, те еще, деревенские березы чахли. И липы чахли. И смородинник в бурьяне чах, и малина по огородам одичала, густо стеснилась, пустив в середку расторопную жалицу. Яблонька на всполье что кость сделалась. Там когда-то стояла изба Тюгановых, но Тюгановы куда-то делись, изба завалилась, ее растащили на дрова. Засохли усадебные деревца, кустарники приели овцы и козы. Яблоня эта, казалось, сама собой ободралась, облезла, как нищенка, одна только ветвь была у нее в коре и цвела каждую весну, из чего и сил набиралась?

В то лето, как Людочке закончить школу, каждый цветок на одинокой ветви взялся завязью, и такие ли вдруг яблоки крупные да румяные налились на нагом-то дереве. «Ребятишки, не ешьте эти яблоки. Не к добру это!» — наказывала старуха Вычуганиха. «Да сейчас все не к добру…» — поддакивали ей.

А яблоки перли. Листву собою совсем задушили, кору на ветке сморщили, все последние соки из дерева высосали. И однажды ночью живая

ветка яблони, не выдержав тяжести плодов, обломилась. Голый, плоский ствол остался за расступившимися домами, словно крест с обломанной поперечиной на погосте. Памятник умирающей русской деревеньке. Еще одной. «Эдак вот, — пророчила Вычуганиха, — одинова середь России кол вобьют, и помянуть ее, нечистой силой изведенную, некому будет…»

Жутко было слушать Вычуганиху. Бабы трусливо, неумело, забыв, с какого плеча начинать, крестились. Вычуганиха срамила их, заново учила класть крестный знак. И в одиночестве состарившиеся, охотно и покорно, бабы возвращались к вере в Бога. Больше-то им не к чему и не к кому было пристать, не в кого верить.

«Недостойны, поди-ко, — лепетали они, — материмся, выпиваем, омужичились без убитых на войне да по тюрьмам загинувших мужиков…». «Все мы — грязные твари, веры в Него недостойны. Но надо стремитца», — наставляла строгая Вычуганиха.

Бабы городили божницы из подобранных по чердакам и сараям икон, жгли огни, приспособив вместо лампад банки из-под мелкой рыбешки, называющейся по-нездешнему — «шпроты», на голых высохших ляжках катали свечки из воска

и сала, доставали из сундуков тлелые вышитые полотенца. Мать Людочки, бывшая комсомолка, — туда же за бабьем, в суеверность впавшим. Хихикнула как-то Людочка над украдкой крестящейся матерью и затрещину схлопотала.

Людочка пошла за деревню и оказалась на зеленом холме, захлестнутом отгоревшими мохнатками мать-и-мачехи и следом солнечно зацветшей купавой, куреслепом, одуванчиком. В купаве, почти задевая головки вольных цветов провисшим выменем, Олена — корова на привязи. Привыкшая к коллективу, она ходила в соседние пустые села, жутко там ухала, звала подруг и дозваться не могла. Потому и привязывали ее, каждый день вбивая кол на новом месте. Пастуха нет, потому как скота не стало. Олена, старая добрая корова, имя которой когда-то придумала Людочка, плохо ела на привязи, вымя у нее смялось. Она узнала крестную, двинулась навстречу, но веревка не пустила ее далеко, и она обиженно замычала. Людочка обняла Олену за шею, прижалась к ней и заплакала. Корова слизывала ее соленые слезы большим, позеленевшим языком и шумно, сочувственно дышала.

Примерли бабы в деревне Вычуган, овдовевшие по причине войны и всенародных побед на всех

фронтах сражения за социализм. Ранней весной закончились земные сроки укрепы и оплота деревеньки Вычуган — самой Вычуганихи. Родственники ее утерялись в миру, на селе мужиков не было. Отчим Людочки кликнул друзей из леспромхоза, свезли на тракторных санях старуху на погост, а помянуть не на что и нечем. Мать Людочки собрала кое-что на стол, посидели, выпили, поговорили, — поди-ко Вычуганиха была последней из рода вычуган, основателей села.

Мать стирала на кухне, увидев Людочку, начала поочередно вытирать руки о фартук, потом, схватившись за поясницу, медленно выпрямилась, потом приложила ладони к большому животу.

— О, Господи! Вон кто у нам пожаловал! Вон кого кот навораживал… — Косо, бочком прилепившись на пристенную древнюю скамью, мать стащила с раскосмаченной головы платок и, собирая гребенкой густые волосы, неторопливо наслаждаясь нечаянной минутой отдыха, продолжала: — Я еще утресь обратила внимание — валятся и валятся на шесток головни — гостям быть. Откуда, думаю, у нас им быть? А тут эвон что! Чё притолоку-то подпираешь? Проходи. Чай не в чужой дом явилась.

Мать говорила, действовала руками и в то же

время пристально вглядывалась в Людочку, охватывала ее беглым, но проницательным взглядом. Очень много пережившая, перестрадавшая и переработавшая за свои сорок пять лет, мать с ходу уяснила — с Людочкой стряслась беда: бледная, лицо в ссадинах, на ногах порезы, осунулась девчонка, руки висят, во взгляде безразличие. По тому, как Люда стремительно сжала коленки, когда мать подозрительно на живот ее посмотрела, как она шибко тужится выглядеть бодрее, — ума большого не надо, чтобы смекнуть, какая беда с нею случилась. Но через ту беду не беду, скорее неизбежность, все бабы поздно или рано должны пройти. И каждая баба проходит ее одна и сама же с бедой совладать обязана, потому как от первого ветру береза клонится, да не ломается. Сколько их еще, бед-то, напастей, впереди, ох-хо-хо-хо-нюшки…

Поскольку со всеми своими бедами-напастями и с жизнью своей мать Людочки привыкла справляться одна, так и думать привыкла: на роду бабьем даже как бы записано — терпи. Мать не от суровости характера, а от стародавней привычки быть самостоятельной во всем, не поспешила навстречу дочери, не стала облегчать ее ношу, — пусть сама со своей ношей, со своей

долей управляется, пусть горем и бедами испытывается, закаляется, а с нее, с бабы русской, и своего добра достаточно, донести бы и не растрясти себя до тех пределов, которые судьбой иль Богом определены. Она в голодные, холодные годы, с мужиком-пьяницей, худо-бедно подняла, вырастила дитя, надо и на другого где-то и как-то сил набраться. Или последние силы, что в ней, да и не в ней уже, в корнях ее рода бывших, сохранить.

— Ты на выходной или как?

— Что? Да-да…

— Вот и хорошо. А я как знала, сметаны подкопила, яиц… Яйца наши не то что ваши, городские, желток у них будто солнушко… А сам меду накачал. — Мать качнула головой, рассмеялась: — Приучается ко всему мирскому. Пчелы перестали его жалить. Может, отделит меду. На продажу флягу подготовили… Мы ведь переезжаем в леспромхоз. Как рожу… — Она убрала улыбку с губ, сморщила отекшее, синюшное лицо, отвела взгляд в сторону и вздохнула глубоко, виновато: — Надумала вот на исходе четвертого-то десятка… тяжело, говорят, в этой поре рожать. Да что сделаешь? Сам ребенка хочет. Дом в поселке строит… а этот продадим. Но сам не возражает, если

на тебя его перепишем…

Мать по-прежнему не называла нового мужа мужем и хозяином, может, дочери стеснялась, но скорее всего в ней укоренилось недоверие к устройству своей жизни. Она не хотела до конца верить в свою удачу, чтоб потом, если ничего не сложится, не так надсадно было бы одолевать, по-городскому говоря, разлуку, а по-деревенски — если бросит мужик, так меньше плакать.

— Не надо мне никакого дома. Зачем он мне? Я так…

— Ну так дак так, на так и спросу нет. А нам деньги нужны. Может, хоть сот пять дадут на шифер, на стекла. Да кто даст? Кому он, этот дом, нужен? Деревня эта Богова кому нужна? — По лицу матери вдруг зачастили слезы, и она какое-то время сидела, глядя в окно, за огород, в заречную сторону, темнеющую дальней щетинкой леса и одиноким, забытым черным стогом средь зеленой пустыни, в которой вроде бы не выкошен, а вырублен был из пестрой мраморной плоти малый клинышек — накосил для коня и уплавил копешку зелени лесничий с центральной усадьбы.

— Ох-хо-хо, что-то с нами будет? Кому от этого разора польза? — вопросила мать пространство

и, не дождавшись отклика, промокнула лицо сырым чиненым фартуком. — Ну, я достираю, а ты Олену подои, дров принеси. Сам-то после смены на доме колотится, поздно приедет, голодехонький работник. — В голосе матери проскользнуло что-то даже похожее на ласку. — Похлебку ему сварим, капусты прошлогодней из погреба достань, огурчишек. Я в погреб уже не ходок, а ты слазь, там самим в сусеке, под опрокинутой бочкой, лагуха с брагой припрятана — от помочи осталось маленько, может, и выпьете с устатку…

— Я не научилась еще, мама, ни пить, ни стричь.

— Вот и хорошо. Вот и хорошо… — напевно начала мать, думая о чем-то своем. — Чё же ты стричь-то? — спохватилась она. — Да ладно. Научишься когда-нито. Не боги, как говорится, горшки обжигают, — все продолжала мать думать о своем, вслушиваясь в себя. — А что пить не научилась — ни к чему эта наука. Пагуба от нее одна и развращенье. Это она нашу деревню надсаженную доконала, пагуба эта. — И опять погружаясь в себя, словно бы из сна уже, добавила: — Так, видно, Богу было угодно…

— Все теперь о Боге вспомнили! Все с упованьем, с жалобами к нему, как в сельсовет… — начала

Людочка, но почувствовала, что слова ее, даже звуки слов повисли в пустоте, пылью осели на стены — мать не слушала и не слышала ее.

И когда Людочка доила корову на цветущем травяном бугре, все смотрела, смотрела в заречные дали, все вспоминала и вспоминала. Ей казалось, что память ее, душа ли продолжаются там, в нарядном заречье, и слышат ее там, да отозваться некому.

Хватило ее воспоминаний аж на всю дойку.

Поднявшись к огородам, Людочка остановилась с подойником на руке и отчего-то стала думать об отчиме — как он трудно, однако азартно врастал в хозяйство. Он не умел почти ничего ни по дому, ни по двору, зато хорошо управлялся с машинами, с мотоциклом, с ружьем, с пилой, с топором, с лопатой. Долго не мог в огороде отличить растущую овощ друг от друга, беспомощен был в пасеке, пчелы ели его поедом и гнали от ульев. Коровы и кони к себе не подпускали. На сенокосе он был дурак дураком — воспринимал сенокос не как работу, а как баловство и праздник, барахтался в сене, любил спать в шалаше, бегал босиком по лугу, бросал кепку в небо, имал ее. Надев мужицкие кальсоны, Людочка и мать метали стог, управлялись наверху, отчим по-

давал навильники, горсть подденет и рассорит весь навильник сена, пока до места донесет, или ахнет копну на женщин, завалит их. Однажды сшиб навильником сверху Людочку, она полетела кубарем вниз, могла изувечиться, а он тычет в нее пальцем, слова от хохота сказать не может. Первый раз она тогда и увидела, как он хохочет, оскалив желтые зубы. И от жути, ее охватившей, подхихикнула ему.

Дометывали они последний стог на берегу реки вдвоем — мать убежала управляться по дому, варить еду. Когда закончили метать стог и, как умели, обвязали его верх сплетенными прутьями — от ветра, — отчим махнул рукой на обмысок: «Ступай туда, а я очешу стог».

Людочка купалась в родной реке, смывала с себя сенную пыль и труху с тем удовольствием, с той расслабляющей радостью, которая ведома лишь людям, хорошо, всласть поработавшим в знойную пору на сенокосе, без прорух и неполадок в погоде, наметавшим добротного, едового сена. Корм корове — это уверенность в завтрашнем дне, житье без забот всю зиму.

Прыгая по луговой тропинке на одной ноге, вытряхивая из уха воду, Людочка вдруг услышала за обмыском звериный рокот, вой, шлепанье,

взбежала на пригорок и увидела картину: отчим, будто детсадовец, булькался на отмели, молотил узластыми бледными ногами по воде, хлопал черными по локоть руками, брызгался и веселой пастью, сверкающей вставными зубами, ловил брызги.

Мужик с бритой, седеющей со всех сторон головой, с глубокими бороздами на лице, весь в наколках, присадистый, длиннорукий, хлопая себя по животу, вдруг забегал вприпрыжку по отмели, и хриплый рев радости исторгался из сгоревшего или перержавленного нутра мало ей знакомого человека, — Людочка догадываться начала, что у этого человека не было детства, оно, детство, настигло иль настигало его, вернулось к нему лишь теперь, и что каждому человеку положено поздно или рано прожить свое, отыграть, отбегать, отгрешить, отплакать. И тот, кто изымает какую-то часть жизни человека, совершает преступление против него и всякой жизни, сам он, этот изыматель, и есть насильственный преступник, пытающийся взять то, что ему не принадлежит.

Людочка даже испугалась этих никогда в ней не возникавших взрослых мыслей, таких отчетливых и простых. И вообще она не была дурой,

она в уединенности своей ого-го-го как умела сама с собой разговаривать, но выступит на свет, на люди — и робеет, становится той глупенькой, бледненькой девочкой, за которую ее принимали в школе, едва шелестящую губами, тихо роняющую зазубренные даты царствования римского императора Августа. Особенно же не давался ей почему-то год открытия Америки Христофором Колумбом. Про Америку она читала и кое-что видела по телевизору, с удовольствием бы рассказала, но нужна-то не Америка, а дата — и двойка тебе, да еще и назидание вослед: «Когда ветер в голове гулять перестанет, выучишь, исправишь. Мне двоечники в отчете не надобны!..»

Людочка упятилась в кусты, руслом ручья поднялась до верхней дороги. Переоделась дома в сухое, легкое платье, со смехом рассказала матери о том, как отчим купается.

— Да где же ему было купанью-то обучиться? С малолетства в ссылках да лагерях, под конвоем да охранским доглядом в казенной бане. У него жизнь-то ох-хо-хо… — Спохватившись, мать построжела и, словно кому-то доказывая, продолжала: — Но человек он порядочный, может, и добрый.

С тех самых пор, с купанья отчима, Людочка

перестала его бояться, но ближе они все же не сделались. Отчим близко к себе никого не допускал. Сейчас вот, на лугу, за покинутой родной деревней, она вдруг ощутила такую острую тоску, такую неодолимую тягу к кому-нибудь живому, что подумалось: побежать бы в леспромхоз, за семь верст, найти отчима, прислониться к нему и выплакаться на его грубой груди. Может, он ее погладит по голове, а то и пожалеет…

— Я уеду с утренней электричкой. Ты не возражаешь?

Мать вскинулась, что-то вылавливая в своей голове, сосредоточенно думала, прикинула и выдохнула, подавив в себе тревогу:

— Ну что ж… коли надо, дак…

— Х-ха, быстро-то как! — удивилась Гавриловна. — Что у родителей-то, тесно?

— Они к переезду готовятся.

— К переезду? Тогда конечно. Чем там под ногами путаться, лучше здесь… Чем родители порадовали?

— Да вот. — Людочка пнула стоящий на полу мешок и заплакала, узнав веревочку, приделанную вместо лямки. Из четырех неизносчивых ниток эта веревочка: две коричневые, из овечьей шерсти, почерневшие от времени, и две шелко-

висто-белые. Конец каната когда-то выменяли вычугане на туристском катере, расплели и веревок на всю деревню понаделали. Крепкущих. Вот она, плотно скрученная веревочка! Мать сказывала, что привязывала ее к люльке, совала ногу в петлю и чистила картошку, готовила пойло корове, пряла, починяла и зыбала ногой люльку с ребенком. «А ты ревливая была. Качаю, качаю, пою, пою: баю-баюшки, баю, не ложися на краю… А ты все ревешь… Плюну я, да чтоб тебя разорвало, заору. Ты с испугу зальешься пуще того…»

— Чего плачешь-то?

— Маму жалко.

— А-а, маму? Меня вот и пожалеть некому… — Гавриловна помолчала и другим уже голосом повела: — Ты вот чё, девонька… хым… хым… стало быть. Артемку — банное мыло-то забрали… Исцарапала ты его шибко… примета. Ему велено помалкивать, иначе смерть. И это самое… от Стрекача были, упредили: если ты пикнешь где, тебя к столбу гвоздями прибьют, мою избу спалят…

Долго и тягостно молчали в дому Гавриловны. Наконец Гавриловна пошевелилась, нащупала голову Людочки в пространстве, прижала к вислой груди, под которой далеко-далеко где-то, пьяно шатаясь, ходило вприсядку, поплясывало

изношенное сердце.

— У меня ведь и всех благ — свой угол. Я за него всю жизнь положила, работала как конь, огородиной торговала, от еды отрывала, отпуска единого не пользовала. Люди добрые и в санаторьи морски либо в профилакторьи трудовые, а я покидаю инструменты в чемодан под названием саквояж и по деревням родимым — вшей обирать… Сколько я чесоткой маялась, лишаев да волосяных стригунов навидалась, чтоб копейкой этой разжиться, на избу накопить. Стыдно признаться и грех утаить — одеколон разбавляла… Я ведь и по тюрьмам стригла. На легкую-то работу, в дамский зал, меня уж перед пенсией перевели…

— Хорошо, хорошо. Я в общежитие пойду, — тряхнула головой Людочка, но головы от пригревшей ее груди не отнимала и все слышала, слышала, как мучается человеческое сердце, торопится куда-то.

— Временно. Временно, хорошая моя. Бандюга этот долго не нагуляет… утомлятца он на воле быстро… Он засядет, а я тебя и созову обратно… — Гавриловна ласкала ее голову руками, причесывала гребенкой и в сумерках уже всхлипывала: — Господи! Да отчего же это добрым

людям покоя-счастья нету? Зачем оне вечно в тревоге да в переживанье? Будет ли им хоть какое послабление?..

Когда Людочка подросла и смогла самостоятельно передвигаться, каждый день уезжать и приезжать с центральной усадьбы колхоза, где была школа-десятилетка, ведение дома почти полностью перешло на нее. Однажды по весне, к Пасхе, что ли, словом, к какому-то большому весеннему празднику она белила печь, мыла окна, скоблила, вытирала и, когда полоскала половики на реке, соскользнула в неглубокую, но холодную полынью. Солнце уже пригревало хорошо, ока не убежала домой, решив довести работу до конца. И простудилась. У нее поднялся большой жар, дело кончилось районной больницей. Мест, как и в каждой нашей общенародной, тем паче в районной, больнице не было, и, как водится в наших больницах, и не только в районных, временно определили Людочку лежать в коридоре, на всех ветрах-сквозняках с воспалением-то легких.

Ночью длинной, бесконечной, она обнаружила в конце коридора, за печкой, умирающего парня со ссохшимися бинтами на голове и от ночной няньки узнала нехитрую и оттого совсем жуткую его историю.

Вербованный из каких-то приволжских мест, одинокий парень поостыл в лесосеке, у него на виске набух фурункул. Он сперва на него и внимания-то не обращал, продолжал ездить в лес на работу. Но голова болела все нестерпимей, и парень обратился к леспромхозовскому фельдшеру.

Молодая, искучерявленная, как барашек, с легоньким пока еще золотом в ушах и на перстах девица, за два года с трудом научившаяся в районном училище измерять температуру, кровяное давление, больно делать уколы и клизму, с фонендоскопом вместо амулета на тонкой шейке, в накрахмаленном белом колпачке, с кулачками, опущенными в карманчики халата, этакое утомленно-капризное медицинское светило, вяло поинтересовалась: «Ну, что там у вас?» — и брезгливыми пальчиками помяла взбухший на виске парня нарыв. «Чирей и чирей. Лезут со всякими пустяками!» — последовало заключение.

Через день эта же фельдшерица вынуждена была лично сопровождать молодого лесоруба, впавшего в беспамятство, в районную больницу. А там в неприспособленном для сложных операций месте вынуждены были срочно делать парню трепанацию черепа и увидели, что ни-

чем больному помочь невозможно — от гноя, прорвавшегося под черепную коробку, началась разрушительная работа. Не очень извилистый мужицкий мозг был крепок, разлагался медленно. Совсем еще недавно здоровый человек ни за что ни про что принимал мучительную неотмолимую смерть.

Он уже агонизировал, когда его из переполненной палаты, по просьбе больных, переместили в коридор, за печку.

Сердце парня работало учащенными, мощными толчками, легкие со свистом выбрасывали перекаленный воздух, испорченное горло, сожженный язык издавали один и тот же звук «псых, псых, псых…», будто накачивали за печкой резиновое колесо неисправным насосом.

Поднявшись с кровати, переждав головокружение, Людочка заглянула за печь и, прижав кулаки к груди, долго смотрела на мучающегося человека. Движимая инстинктом сострадания, не совсем еще отмершего в роде человеческом, она приложила ладошку к лицу парня — голова его в бинтах пугала ее. Парень постепенно стих, насос перестал в нем качать воздух, разлепил ресницы, открыл плавающие в жидкой слизи глаза и, возвращаясь из небытия, сделал еще одно

усилие — различил слабый свет и человека в нем. Поняв, что он еще здесь, на этом свете, парень попытался что-то сказать, но доносилось лишь «усу… усу… усу…».

Издревле ей доставшимся женским чутьем она угадала, что он пытается сказать ей спасибо. В своей недолгой жизни был этот человек бесконечно одинок и беден, иначе что бы его погнало в далекий край, на гибельные эти лесозаготовки. Он из тех, наверное, думала Людочка, про кого по радио читали: мол, недолюбив, недоработав и недочитав последнюю строку, иль недокурив последнюю папироску, или что-то в этом роде — уходили парни в бой, а тут вот — на тяжелую работу. И хотя у нее всегда были трудности в школе, в том числе и с литературой, и с русским языком, особенно с запоминанием причастных и. деепричастных оборотов, она все же прониклась жалостью к тем, про кого говорилось в стихах, то есть к «рано ушедшим на кровавый бой».

Но вот погибает человек без войны, без боев, такой молодой, чернобровый, может, еще и полюбить никого ни разу не успев, может, и родных-то у него нету…

Людочка принесла что-то похожее на табуретку, с гнутыми алюминиевыми подставками

вместо ножек, села возле молодого лесоруба, взяла его руку и долго не могла согреть под собой скользкое сиденье. Парень с невыразимой надеждой глядел на нее, губы его, истрескавшиеся от жара, шевелились, пытаясь что-то сказать. Она подумала, что он читает молитву, и стала ему помогать, пожалев, кажется, первый раз в жизни, что не потрудилась выучить ни одной молитвы, так, с пятого на десятое что-то похватала от деревенских старух, тоже до конца ни одной молитвы не знающих: «Боже праведный! Боже преславный… Раба твоего прости и согрешенья вольные и невольные… огневицу угаси, врачебную Твою силу с небеси пошли…»

Парень слабо шевельнул пальцами — он слышал ее, но едва ли понимал слова, лишь звук и древний лад доходили до него. И тогда она натужилась, припоминая складные стихи, точнее строчки из стихов, случайно прочитанных в девчоночьих альбомах, в учебниках, но главным образом в районной газете «Маяк земледельца»: «Отговорила роща золотая… любовь — это бурное море, любовь — это злой океан, любовь — это счастье и горе… И долго буду славен тем народу, что стройки коммунизма возводил… а еще скажи слово прощальное: передай кольцо обручаль-

ное… чтобы жить да жить и на тучных нивах колхозных труд счастливый осуществить…»

Чего Людочка только ни говорила, напрягая свою не очень-то перегруженную память, чтоб только отвлечь человека от боли и предчувствия близкой смерти.

Но вот и она выдохлась, ее начало покачивать на шаткой, скользкой табуретке. Людочка умолкла и, кажется, задремала.

Встряхнулась она от слабого стона, похожего на щенячье поскуливание. В окно, прорубленное в другом конце коридора, сочился рассвет. Видны сделались слезы, оплавившие жарко пылающее лицо парня. Людочка пожатием руки дала понять, что слезы — это хорошо, облегчают они сердце и подумала: может, и в самом деле хорошо, может, парень никогда и не плакал во взрослой жизни. Но умирающий не ответил пожатием на ее пожатие, и она обмерла в себе — не для того он плачет, чтоб было облегчение, плачет он по причине совсем другой, по вечной, глубоко спрятанной причине. Цену, точнее смысл всякого сострадания, в том числе и ее, он постиг здесь, сейчас вот, умирая на больничной койке, за облупившейся, грязной печкой, — совершилось еще одно привычное предательство по отношению к

умирающему.

Отчего так суетно милостивы, льстиво сочувствующи люди возле покидающего мир человека? Да оттого, что они-то, живые, остаются жить. Они будут, а его не станет. Но он ведь тоже любит жизнь, он достоин жизни. Так почему же они остаются, а он уходит и все отдаляется, отдаляется от живых и от всего живого, точнее они от него трусливо отстраняются. Никакими слезами, никаким отчаяньем, выражающим горе, не скрыться им от самого проницательного взора — взора умирающего, в котором сейчас вот, на кромке пути, в гаснущем свете сосредоточилось все зрение, все ощущение жизни, его жизни, самой ему дорогой и нужной.

Предают его живые! И не его боль, не его жизнь, им свое сострадание дорого, и они хотят, чтоб скорее кончились его муки, для того, чтоб самим не мучиться. Когда отнесет от него последнее дыханье, они, живые, осторожно ступая, не его, себя оберегая, убредут, унося в себе тайную радость напополам с торжеством. К ним она, смерть, покудова никакого отношения не имеет, может, и потом, за многими делами, не заметит она их, забудет о них и продлит их дни за чуткость, за смиренность, за сострадание к ближнему сво-

ему.

Парень последним, непримиримым усилием выпростал свои пальцы из рук Людочки и отвернулся — он ждал от нее не слабого утешения, он жертвы от нее ждал, согласия быть с ним до конца, может, и умереть вместе с ним. Вот тогда свершилось бы чудо: вдвоем они сделались бы сильнее смерти, восстали бы к жизни, в нем, почти умершем, появился бы такой могучий порыв, что он смел бы все на своем пути к воскресению.

Но никто, ни один человек на свете не оказался способен на неслыханный подвиг, на отчаянную, беззаветную жертву ради него, этого парня. Да-а, не декабристка она, да и где они ныне, декабристки-то? В очередях за вином…

Рука парня свесилась с кровати, рот, жарко открытый, так и остался открытым, но никаких более звуков не издавал, и глаза не сразу, а как-то неохотно, несогласно, медленно-медленно прикрылись ресницами, укрыв почти яростное свечение, ничем не напоминающее туман смертного забытья.

Людочка, ровно бы уличенная в нехорошем, тайном поступке, постояла, одернула халатик и крадучись пробралась к своей койке, накрылась с головой одеялом. Но она слышала, как санитарка

обнаружила мертвого парня за печкой, как тихо молвила: «Отмучился, горюн»; как выносили мертвого на носилках, как складывали и убирали матрац и койку…

С тех пор не умолкало в ней чувство глубокой вины перед тем покойным парнем-лесорубом. Теперь вот, в горе, в заброшенности, она особенно остро, совсем осязаемо ощутила всю отверженность умирающего человека, теперь и самой ей предстояло до конца испить чашу одиночества, отверженности, лукавого людского сочувствия — пространство вокруг все сужалось и сужалось, как возле той койки за больничной облупленной печью. Зачем она притворялась тогда, зачем?

Ведь если бы и вправду была в ней готовность до конца остаться с умершим, принять за него муку, как в старину, может, и в самом деле появились бы в нем неведомые силы. Ну даже и не свершись чуда, не воскресни умирающий, все равно сознание того, что она способна на самопожертвование во имя ближнего своего, способна отдать ему всю себя, до последнего вздоха, сделало бы, прежде всего, ее сильной, уверенной в себе, готовой на отпор злым силам.

О-о, она теперь понимала совсем вживе, совсем натурально то, о чем когда-то читала и равно-

душно зубрила по учебникам, как выживали в тюрьмах-одиночках в цепи закованные герои. Конечно же, они были сами творцами своего могущественного духа, но сотворялся этот дух с помощью таких же сильных духом, способных разделить сострадание…

Да хотя бы те же барыньки-декабристки.

Но по делу если сказать, девочки из сегодняшней школы не верили в жертву людей, тем более таких вот в неге выросших барынек. Тут вон свои бабы, не пряниками вскормленные, за кусок хлеба, за мелкую подачку иль обиду глаза друг дружке выцарапывают, мужика, пусть хоть и бригадира, да даже и председателя таким матом обложат, что…

Людочка неожиданно подумала об отчиме: вот он небось из таких, из сильных? Да как, с какого места к нему подступиться-то? Было время, их, деревенских школьниц-шмакодявок, подвыпившие парни молодецки-весело спихивали в клубе со скамеек на грязный пол, а сами сидели просторно, одни, и не поднимали с пола девчонок до тех пор, пока они не обзаводились телом, которое уже можно мять и тискать.

А те, городские, на танцплощадке?

Разве они не столкнуты со скамейки под ноги,

на грязный пол? И зачем она вместе с Гавриловной осуждала их? Чем она-то их лучше? Чем они хуже ее? В беде, в одиночестве люди все одинаковы. И нечего…

Места в городском общежитии пока не было, и Людочка продолжала квартировать у Гавриловны. Чтоб «саранопалы» не заметили, велела хозяйка Людочке возвращаться в потемках, да не по парку, округой. Однако Людочка не слушалась хозяйки, ходила парком, не озиралась, ходила и ходила будто во сне. Здесь, в парке, ее снова подловили парни, начали стращать Стрекачом, незаметно подталкивали за скамейку.

— Вы чего?

— Да ничего! Насчет картошки дров поджарить соображаем.

— Ишь какие! Разохотились!

— А чё? Теперь все равно, плонба сорвана, как Гавриловна бает, мышеловка наготове, знай имай мыша… — выпившие молодцы вэпэвэрзэшники все теснили и теснили Людочку в заросли. Стрекача среди них не было. Жаль. Людочка в кармане плаща таскала старую, из обихода вышедшую опасную бритву Гавриловны, решив отрезать достоинство Стрекача под самый корень! «Чем тебя породил я, тем тебя и убью», — вспомнила

она хохму из чьего-то школьного сочинения.

О страшной такой мести сама Людочка не додумалась бы, но она слышала на работе о подобном поступке одной отчаянной женщины. И чего только не наслушалась она в привокзальной парикмахерской. Там стригут ножницами и языками с утра до вечера. Совсем уж было собралась Людочка тайком сходить в церковь, но там такая, говорят, давка была, когда освящали куличи на Пасху, такое столпотворение, что она и не пошла, хватит и того, что видит и слышит вокруг. По заведенной привычке попробовала заикнуться насчет того, чтобы вместе с Гавриловной сходить во храм, но та ей напрямки бухнула: мол, достойным веры в Бога надо быть, мол, не комсомольский тебе это стройотряд, не бардак под названием «десант на колесах», пусть, мол, «мохом грех ейный хоть маленько обрастет, в памяти поистлеет, тогда уж, может, и допущены к стопам Его страдальческим будут они, богохулки».

— Жаль, нету вашего вождя — такой видный кавалер!.. Жаль! — повторила она вслух и погромче сказала в темноту: — А ну отвалите, мальчики! Хватит! Одно платье порвали! Плащик спортили! Пойду в ношеное переоденусь. Не из богачек я, уборщицей тружусь.

— Дуй! Да смотри: любовь и измена — вещи несовместимые, как гений и злодейство.

— Ишь ты, грамотный какой! Отличник небось?

— Все и всегда делаю на пять! Не хуже Стрекача, испытаешь мои способности, похвалишь.

— А ты мои.

Людочка и переоделась в старое ношеное платье, еще деревенское, еще с отметиной на груди от комсомольского значка и с кармашками ниже пояса. Она отвязала веревочку от деревенской торбы, приделанную вместо лямки, сняла туфли и аккуратно их соединила на коврике возле дивана, придвинула было листик бумаги, долго искала в шкатулке среди пуговиц, иголок и прочего бабьего барахла шариковую ручку, нашла, но ею давно не писали, мастика высохла. Поцарапав на бумаге, Людочка с сердцем бросила ручку на пол и, крикнув Гавриловне, владычествующей на кухне: «Пока!» — вышла на улицу. У крыльца надернула старые калошики, постояла за калиткой, словно бы с непривычки долго закрывала вертушку. На пути к парку прочитала новое объявление, прибитое к столбу, о наборе в лесную промышленность рабочих обоего пола. «Может, уехать?» — мелькнула мысль да тут же и другая

мысль перебила первую: там, в лесу-то, стрекач на стрекаче, и все с усами.

В парке она отыскала давно уж ею заприме-ченный тополь с корявым суком над тропинкой, захлестнула на него веревочку, сноровисто увя-зав петельку, продернула в нее конец — все-таки деревенская, пусть и тихоня, она умела многое: варить, стирать, мыть, корову доить, косить, дрова колоть, баню истопить и скутать, веревку для просушки белья натянуть и увязать. Коня, правда, запрячь не могла — в ее деревне лет уж десять лошади не велись. И еще не могла она, боялась щупать куриц, отрубать петухам головы, не научилась, хотя и пробовала, пить, не научи-лась материться…

Ну да пожила бы на этом милом свете, глядишь, и сподобилась бы.

Людочка взобралась на клыком торчащий из ствола тополя окостенелый обломыш, ощупа-ла его чуткой ступней, утвердилась, потянула петельку к себе, продела в нее голову, сказала ше-потом: «Боже милостивый, Боже милосердный… Ну не достойна же… — и перескочила на тех, кто ближе: — Гавриловна! Мама! Отчим! Как тебя и зовут-то, не спросила. Люди добрые, простите! И ты Господи, прости меня, хоть я и недостойна, я

даже не знаю, есть ли Ты?.. Если есть, прости, все равно я значок комсомольский потеряла, никто и не спрашивал про значок. Никто и ни про что не спрашивал — никому до меня нет дела…»

Она была, как и все замкнутые люди, решительна в себе, способна на отчаянный поступок. В детстве всегда первая бросалась в реку греть воду. И тут, с петлей на шее, она тоже, как в детстве, зажала лицо ладонями и, оттолкнувшись ступнями, будто с высокого берега бросилась в омут. Безбрежный и бездонный.

Людочка никогда не интересовалась удавленниками и не знала, что у них некрасиво выпяливается язык, непременно происходит мочеиспускание. Она успела лишь почувствовать, как стало горячо и больно в ее недре, она догадалась, где болит, попробовала схватиться за петлю, чтоб освободиться, цапнула по веревочке судорожными пальцами, но только поцарапала шею и успела еще услышать кожей струйку, начавшую течь и тут же иссякшую. Сердце начало увеличиваться, разбухать, ему сделалось тесно в сужающейся груди. Оно должно было проломить ребра, разорвать грудь — такое в нем напряжение получилось, такая рубка началась. Но сердце быстро устало, ослабло, давай свертываться,

стихать, уменьшаться и, когда сделалось всего с орешек величиной, покатилось, покатилось вниз, выпало, унеслось без звука и следа куда-то в пустоту.

И тут же всякая боль и муки всякие оставили Людочку, отлетели от ее тела. А душа? Да кому она нужна, та простенькая, в простенькой, в обыкновенной плоти ютившаяся душа?

— Ну, чё она, сучка, туфтит, динаму крутит, что ли? Я ей за эти штучки…

Один из парней, томившийся в парке Вэпэвэрзэ, сорвался с места, прошлепал по шаткому дырявому мостику и решительно двинулся краем парка к чуть высвеченному отдаленными фонарями и окнами рядку тополей.

— Когти рвем! Ко-огти! Она… — разведчик мчался прыжками от тополей, от света.

Через час, может, и через два, сидя в привокзальном заплеванном ресторане, разведчик с нервным хохотком рассказывал, как увидел еле дрожащую всем телом Людочку, качающуюся в петле туда-сюда, то задом, то передом поворачивающуюся, язык во-о-о какой вывалился, и с ног что-то капало.

— Ну дает! — ахали кореши. — Ну сделала козла… О-ох, падла! Была бы живая, я бы ей показал,

как вешаться… я бы показал…

— Это ж надо! В петлю! Из-за чего!

— Надо Стрекача предупредить. Грозился же…

— Ага, обязательно. Когтистый зверь, задерет. По последней, братва, по последней. Вы-ы-ыпьем, бра-ат-цы-ы, удалую за поми-и-ин ее души-ы-ы.

— Последняя у нашего участкового жена. Поехали, поехали, пока нас не забарабали…

— Э-эх, идиотина! Жить так замечательно в на-ашей юной, чудесной стране-э…

Хоронить в родной деревне Вычуган Людочку не решились, там, как избудется последнее жилье, сотрется с земли пристанище людей, объединенный колхоз перепашет все под одно поле и кладбище запашет — чего ж ему среди вольного колхозного раздолья укором маячить, уныние на живых людей наводить.

На городском стандартном кладбище, среди стандартных могильных знаков Людочкина мать в накинутой на нее светло-коричневой шали с крапчатой каймой все закрывала бугор живота концами шали, грела его ладонями — шел дождь, она береглась, но забывшись, подымала шаль ко рту, зажевывала шерстяную материю и сквозь толстый мокрый комок, как из глухого вычуганского болота, доносило вой ночного зверя или

потайной, лешачьей птицы выпь: «Уу-у-у-удочка-а-а-а...»

Бабы из привокзальной парикмахерской испуганно озирались, и, тихо радуясь тому, что похороны не затянулись, поспешили на поминки.

После похорон совсем раскисшая, шатающаяся на подсекающихся ногах Гавриловна упала на старый кожаный диван, где спала Людочка и завопила: «У-у-удоч-ка!» — муслила карточку квартирантки, увеличенную со школьной фотографии. Беленькая, еще не в смятой форме, Людочка вышла как живая, даже улыбку было заметно. Гавриловна как-то разглядела ту припрятанную застенчивую улыбку.

— За дочку, за дочку держала, — высказалась она, сморкаясь в старое кухонное полотенце. — Все пополам, кажну крошечку пополам. Замуж собиралась выдать, дом переписать... Да голубонька ты моя сизокрылая... Да ласточка ты моя, касаточка! Что же ты натворила? Что же ты с собой сделала?..

Мать уже в голос не плакала, видно, чужих людей, чужого дома стеснялась. Только слезы, неприкаянные слезы, переполнившие никем еще не измеренную русскую бабью душу, кати-

лись сами собой со всего лица, выступали из всех ранних и не ранних морщин, даже из-под платка, из ушей, проколотых еще в молодости для сережек, но так и не изведавших тяжести украшения, проступало мокро. Впрочем, слезы не мешали ей править бабьи дела, потчевать гостей, поскольку Гавриловна совсем сдала, отрешилась от мирских дел. Прикрыв глаза черными круглыми веками, сложив руки на животе, она лежала в горнице совсем выговорившаяся, наплакавшаяся и вроде бы неживая.

Когда слезы матери со звуком бились о тарелки с мясом и с картошкой, об вазу с кутьей, мать Людочки роняла: «Извините!» — и торопливо тыкала скомканной серой тряпкой по столу. «Наливайте сами, угощайтесь, Христа ради, поминайте», — просила она.

Отчим Людочки, одетый в новый черный пиджак, в белую рубаху, единственный в компании мужчина, выпил один стакан водки, выпил второй, буркнул: «Я пойду покурю», — и, накинув на себя болоньевую куртку с вязаным воротником, прожженную брызгами электросварки, вышел на крыльцо, закурил, сплюнул, посмотрел на улицу, на дымящую трубу кочегарки Вэпэвэрзэ и двинулся по направлению к парку.

Там он и нашел компанию, роящуюся вокруг удалого человека — Стрекача. Компания разрослась, сплотилась и окрепла за последнее время. Милиция следила за ней и накапливала для задержания факты преступной деятельности, чтоб уж сразу и без затей взять и повязать мятежную группу.

Утомленные бездельем парни все так же задирали прохожих, все так же сидел, развалясь на скамье, парень не парень, мужик не мужик в малиновой рубахе, с браслетами, часами и кольцами на руках, крестиком на шее. Отчим Людочки в куртке с вязаным воротником, словно пробитой по груди картечью, твердо впечатался подошвами рубчатых чешских ботинок перед несокрушимой бетонной скамьей.

— Чё те, мужик?

— Поглядеть вот на тебя пришел.

— Поглядел и отвали! Я за погляд плату не беру.

— Так, значит, ты и есть пахан Стрекач?

— Допустим! Штаны спустим…

— Ишь ты! Еще и поэт! Прибауточник! — Отчим Людочки внезапно выбросил руку, рванул с шеи Стрекача крестик, бросил его в заросли. — Эт-то хоть не погань, обсосок! Бога-то хоть не лапайте,

людям оставьте!

— Ты… ты… Фраер!.. Да я те… Я те обрезанье сделаю. По-арапски! — Стрекач сунул руку в карман.

Вся компания вэпэвэрзэшников замерла, ожидая со страхом и вожделением, какое сейчас захватывающее дух кровавое начнется дело.

— Э-э, да ты еще и ножиком балуешься! — скривил губы отчим Людочки. Неуловимо-молниеносно перехватив руку Стрекача, сжав ее в кармане, он с треском вырвал вместе с материей нож. Отменная финка с перламутровой отделкой из клавиш еще трофейного аккордеона шлепнулась в грязь канавы.

Тут же, не дав опомниться Стрекачу, отчим Людочки собрал в горстищу ворот фрака вместе с малиновой рубахой и поволок удушенно хрипящего кавалера через совсем одуревший непролазный бурьян. Стрекач пытался вывернуться, пинал мужика, но только скинул ботинок с ноги, рассорил драгоценности по кустам. Отчим Людочки поднял кавалера и как персидскую царевну швырнул в поганые воды сточной канавы. Только мелькнул Стрекач оголившимся животом, исчирканным красными полосами — не раз симулировал в лагерях отчаянность, чиркал себя

лезвием по брюху. Поразило парней, бросившихся подбирать ботинок шефа, отыскивать часы и кольца в бурьяне, как стреляли пуговицы аглицкого фрака. Они не выдергивались с мясом, не ломались по дыркам, как наши отечественные. Оловянные, никелевые ли, может и серебряные, заморские пуговицы отстреливались от фрака, оставляя на борту крепкие серебристые крючки. Пулею сверкнув, разлетелись те пуговицы по сторонам, одна аж на другую сторону канавы улетела, птаху малую выпугнула из кустов.

Из зелено-черных, соплями обвешанных зарослей раздался такой вопль, что если б в это время заревел давно умолкший, ржавчиной захлебнувшийся гудок паровозного депо, так его было бы не расслышать.

Вороны взлетели, собачонки бродячие из парка Вэпэвэрзэ прянули, сорвалась с привязи старая одноглазая коза.

Отчим Людочки вытер руки о штаны и пошел прочь.

Вэпэвэрзэшное кодло — шестерки Стрекача заступили дорогу мужику, он уперся в них взглядом. Парни-вэпэвэрзэшники почувствовали себя под этим взглядом мелкой приканавной зарослью, которую, не расступись, мужик этот

запросто стопчет! Настоящего, непридуманного пахана почувствовали парни. Этот не пачкал штаны грязью, этот давно уже ни перед кем, даже перед самым грозным конвоем на колени не становился. Он шел на полусогнутых ногах, чуть пружинистой, как бы даже поигрывающей, по-звериному упругой походкой, готовый к прыжку, к действию. Раздавшийся в груди оттого, что плечи его отвалило назад, весь он как бы разворотился навстречу опасности. Беспощадным временем сотворенное двуногое существо с вываренными до белизны глазами, со дна которых торчало остро заточенное зернышко. Вспыхивали искры на гранях. Возникали те искры, тот металлический огонь из темной глубины, клубящейся не в сознании, а за пределами его в том месте, где, от пещерных людей доставшееся, сквозь дремучие века прошедшее, клокотало всесокрушающее, жалости но знающее бешенство.

У-у-уы-ы-ых! У-у-у-уы-ы-ых! — доносилось из утробы, из-под набрякших неандертальских бугров лба, из-под сдавленных бровей, а из глаз все сверкали и не гасли, сверкали и не гасли те искры, тот пламень, что расплавил и сделал глаза пустыми, ничего и никого не видящими.

Пакостные, мелкие урки, играющие в воль-

ность, колупающие от жизненного древа липучую жвачку, проходящие в знакомых окрестностях подготовительный период для настоящих дел, для всамделишного ухода в преступный мир или для того, чтобы, перебесившись, отыграв затянувшееся детство, махнуть рукой на рисковые предприятия, вернуться в обыденный мир отцов и дедов, к повседневному труду, к унылому размножению, сейчас вот уловили они хилыми извилинками в голове, что существование среди таких деятелей, как это страшилище, — житуха ох какая нефартовая, ох какая суровая и, пожалуй что, пусть она идет своим порядком. Вот уж когда размоет все границы меж тем и этим миром, а к тому дело движется, когда совсем деваться некуда будет, что ж, тогда «здрасьте!», тогда под крыло такого вот пахана…

Парни занялись спешным делом: трое или четверо волокли из канавы почти уже сварившегося, едва слышно попискивающего Стрекача. Кто-то к трамвайной остановке ринулся — вызвать «скорую», кто-то — в старые бараки с двумя-тремя еще не забитыми окнами, где обретались отверженные обществом, спившиеся существа и брошенные детьми старики, отыскивать мать пострадавшего, обрадовать привычным извести-

ем совсем разрушенную старуху об еще одном «художестве» сыночка родимого, кажется, насовсем отгостившего под крышей родного барака. Славный, бурный путь от детской исправительно-трудовой колонии до лагеря строгого режима завершился. Угнетенные, ограбленные, царапанные, резанные, битые, в страхе ожидания напасти живущие обитатели железнодорожного поселка вздохнут теперь освобожденно и будут жить более или менее ладно до пришествия нового Стрекача, ими же порожденного и взращенного.

Дойдя до окраины парка, отчим Людочки споткнулся вдруг и по закоренелой привычке жить настороже, все видеть, все слышать, заметил на сучке, нависшем над тропою, обрезок пестренькой веревочки, почему-то не отвязанной милиционерами. Какая-то прежняя, до конца им самим не познанная злая сила высоко его подбросила, он поймался за сук, тот скрипнул и отвалился от ствола, обнажив под собой на глаз коня похожее йодистого цвета пятно. Подержав сук в руках, почему-то понюхав его, отчим Людочки тихо, для себя молвил:

— Что же ты не обломился, когда надо? — и с внезапным неистовством, со все еще неостывшим бешенством искрошил сук в щепки. Отбро-

сив обломки, стоял какое-то время, исподлобья наблюдая, как по исковерканному кочковатому парку, ковыляясь, ощупью пробиралась к канаве машина «скорой помощи». Он закурил. В белую машину закатывали комком что-то замытое, мятое — текла по белому грязная жижа. Отчим Людочки плюнул окурок, пошел было, но тут же вернулся, раздергал туго затянувшуюся пеструю веревочку, снял ее с тополиного обломка, сунул в боковой карман куртки, притронулся к груди и, не оглядываясь, поспешил к дому Гавриловны, где уже заканчивались поминки. На столе еще оставалось много всякого добра. Городские бабы не могли одолеть всю выпивку, мало их было. Отчим Людочки выпил стакан водки, вслушался в себя и выпил еще один. Постоял над столом, глядя на оробевшую жену, на настороженно примолкших баб, уже начавших мыть и разбирать собранную по соседям посуду, с сожалением оторвал взгляд от бутылки, переборол себя — заметно это было — и, махнув рукой жене, поспешил к вечерней электричке.

В почтительном отдалении поспешала за ним, но не поспевала жена, — шибко уж размашисто, шибко уж сердито шагал мужик, громко топая по асфальту. Остановился вдруг, подождал ее, взял

сумку, чемодан с пожитками Людочки, помог тяжелой женщине взняться на высокую железную ступеньку, место ей в вагоне нашел, узел наверх забросил, чемодан под сиденье пяткой задвинул, и все это молча. Потом, навалившись ухом на окно, сделал вид или в самом деле успокоился, уснул. Устает-то ведь шибко на работе, на стройке, по хозяйству. Она какая ему помощница?

Мать Людочки всегда чуяла в «самом» затаенную, ей неведомую страхотищу, какую-то чудовищную мощь, которую он ни разу, слава Богу, не оказал при ней, да, может, и не окажет. Отходя от жути, почему-то ее охватившей, думала про себя, о себе, творила что-то похожее на молитву: «Господи, помоги хоть эту дитю полноценную родить и сохранить. Дитя не в тягость нам будет, хоть мы и старые, дитя нам будет уж как сын и как дочка, и как внук, и как внучка, оно скрепит нас, на плаву жизни удержит… А за тую доченьку, кровиночку алую, жертву жизни невинную, прости меня, Господи, если можешь… Я зла никому не делала и ее погубила не со зла… Прости, прости, прости…»

Мать Людочки и не заметила, что давно уже громко шепчет, выговаривая пляшущими губами слова, что все лицо ее снова залито слезами, но

«сам» вроде бы и не слышал ее, даже курить в тамбур не выходил. И она несмело положила голову на его плечо, слабо прислонилась к нему, и показалось ей, или на самом деле так было, он приспустил плечо, чтоб ловчее и покойней ей было, и даже вроде бы локтем ее к боку прижал, пригрел.

У местного отделения УВД так и недостало сил и возможностей расколоть Артемку-мыло. Еще с одним строгим предупреждением он был отпущен домой. Выполняя наказ властей взяться за ум, но скорее с перепугу поступил Артемка-мыло в училище связи, не в то, где пэтэушники работают с мудреными приборами, компьютерами и аппаратами, а в филиал его, где учат лазить по столбам, ввинчивать стаканы и натягивать провода. С испугу же, не иначе, Артемка-мыло скоро женился, и у него по-стахановски, быстрее всех в поселке через четыре всего месяца после свадьбы народилось кучерявое дите, улыбчивое и веселое. На крестинах отец Артемки-мыло, заслуженный пенсионер, смеялся, говорил, что этот малый с плоской головой, потому что на свет белый его вынимали щипцами, уже и с папино мозговать не сумеет, с какого конца на столб влазить — не сообразит.

На четвертой полосе местной газеты в конце квартала появлялась заметка о состоянии морали в городе и было сообщено, что за отчетный период в городе совершилось три убийства, сто пять квартирных краж, пятнадцать налетов на прохожих с целью снимания одежд, была попытка ограбить районную кассу, но тут же ее пресекли бдительные силы милиции, крупных краж и преступлений с особо тяжкими последствиями не наблюдалось, насилий было всего восемь, угонов транспорта — тридцать два, налетов на дачи одиннадцать. Конечно, о полном покое граждан и моральном благополучии в городе говорить еще рано, однако, благодаря профилактической работе и усилению внимания местных властей к оздоровлению общества посредством спортивной деятельности, в частности, за счет открытия плавательного бассейна на базе локомотивного депо, где подогретая вода давно уже течет попусту, преступность по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась на один и семь сотых процента.

Людочка и Стрекач в этот отчет не угодили. Начальнику областного управления УВД оставалось два года до пенсии, и он не хотел портить положительный процент сомнительными дан-

ными. Людочка и Стрекач, не оставившие после себя никаких записок, имущества, ценностей и свидетелей, прошли в регистрационном журнале УВД по линии самоубийц, беспричинно, попросту говоря — сдуру, наложивших на себя руки.

1989

Юрий Мамлеев
Тетрадь индивидуалиста

Эту старую драную тетрадь нашел около помойки Иван Ильич Пузанков, сторож. Он хотел было обернуть в нее селедку, но по пьяному делу начал ее читать. Прочитав несколько страниц, он ахнул, решив, что у него белая горячка. Его напугало больше всего то, что ему — значит — нельзя дальше пить, а до литра водки он не добрал еще 200 грамм. Но, гневно рассудив, что мы, пьющие, еще никогда не отступали, Иван Ильич пополз все-таки в ближайшую пивную. Там он продал эту невероятную тетрадь за полкружки пива и кильку одному озирающемуся, болезненному интеллигенту, который и сохранил ее в паутинах и недоступности.

Поганенький я все-таки человечишко. И еще более поганенький, что пишу об этом — любя; кляну себя — негодяюшко, маразматик, ушки надрать мало — а все-таки люблю! И как люблю! По-небесному.

Но все же это подло, так любить себя… Особенно после того, что было… А что было, что было! И началось ведь все с того, что любил я не себя, а — ее… Как это удивительно — любить другого человека. На душонке, не обремененной тяжестью и страхами эгоизма, так легко-легко и чувствуешь себя как-то по-благородному. Я бы всем влюбленным давал звание дворянина. Была она девица на вполне высоком уровне: в меру инфернальна, поэтична и страдала лунатизмом. Любил я ее страстно, но больше все как-то по-грустному. Бывало, прижму ее к себе, смотрю в ее глазенки таким сумасшедше-проникновенным взглядом, а она плачет. Плачет оттого, что уж очень выражение глаз моих было не от мира сего. А все, что не от мира сего, вызывало ручьи ее слез. И плакала она тоже не как все, а по-нездешнему, плакала не слезами, а мыслями; задумается, унесется куда-нибудь, и слезы падают просто в такт ее отчаянным мыслям.

Очень нервна была. Впрочем, мне только этого и надо было. По ночам я целовал ее одинокие, холодные ноги и нашептывал кошмары. Гладил ее прозрачную, тоже не от мира сего в своей нежности, кожу, впивался в ее плоть… и бормотал, бормотал… о страхах, о великом отчаянии жить

среди людей, о смерти. Весь медовый месяц я рассказывал ей о смерти. Метафизично рассказывал, с бездночками, с жутковатыми паузами, когда все замирало, и, визгливо валяясь в ее прекрасных, обнаженных, неприступно-мистичных ногах, выл, умоляя ее защитить меня от страхов, от жизни, от гибели… Бедненькая, как это все она выносила!

Весь гной, все параноидные язвы душонки моей перед ее глазами разворачивал, с упоением, с визгом, с надрывом. Это и называл истинной любовью. Так и любили мы друг друга, целыми днями скитаясь по нашим запертым комнатам наедине с кошмаром и темным молчаливым небом, глядевшим на нас в окна.

Зина чаще молчала и все больше в себя впитывала. Я же подвизгивал, смотрел на нее и строил миры. Миров моих она боялась и, кажется, плакала от них. Впрочем, по-своему шизоидна она была необыкновенно и могла простую, пустейшую фразу так обыграть, что построить из нее «мир», уйти в него и спрятаться. Но до меня ей было далеко, не хватало полета-с! Так и глядели мы, одинокие, растрепанные, из своих миров друг на друга и пели потайные сказки… На нервах все было, на нервах!

Вы думаете мы не расписались в загсе, не оформились, не зачлись?... Если я мистик, так уж, значит, ничего этого и не было?.. Было, было, все было. И загс, и идиотическая свадьба с идиотическими родственниками, и салат с картошкой, и даже «горько»... Впрочем, у меня было такое ощущение, что женят не меня, а кого-то другого... Какое я имел отношение ко всем ним... И моя невеста казалась мне сказочным существом, спустившимся с небесной обители, а вокруг нас одни свиньи, кабаны и ублюдки... Так что от свадьбы у меня осталось впечатление одного хрюканья. Я сразу же возненавидел ее родителей, возненавидел лютой ненавистью, именно за то, что эти твари через мою Зину осмелились стать со мною наравне.

Должен сказать, что больше всего на свете я не терплю обыкновенных людей, каких 90 процентов на земле. Я готов биться об заклад, что любой убийца, дегенерат, алкоголик — лучше и возвышенней среднего человека... У преступника в душонке может быть и покаяние, и страх, и на лбу потик от чувствительности выступает, а вот у обычного человека даже этого ничего нет — он, говорящая машина, антидуховен, патологически туп и считается, что обладает здравым смыслом.

Но по сравнению с ним любой олигофрен с субъективинкой — мыслитель. Посмотрите в глаза среднему человеку: что в нем увидишь? — навсегда замкнутый в своей звериной тупости цикл мыслей и полное отсутствие высших эмоций. Что является первым в иерархии ценностей для среднего человека: вещь, материя, деньги, а не мысль, и не чувство, и даже не гаденькое покаяньице…

А почему так? Да потому, что обыкновенный человек слишком туп, чтобы воспринимать духовное и чтобы утвердить себя, вынужден хвататься за внешнее и видеть высшую ценность в чем-либо вещественном или, что еще хуже, — в какой-нибудь умственной глупости, если обычный человек вдруг взялся за идеи.

Семейка ее как раз была в этом обычном плане. Братец ее был даже личностью в своем роде патологической. Очень замкнутый, скаредный молодой человек, он отказывал себе во всем, лишь бы скопить деньги. Я помню, как вечером, откушав корочку черного хлеба с луковицей, он полез в чемодан, вытащил оттуда огромную пачку денег и, истерично поглаживая ее, обслюнявив, прижал к сердцу и пробормотал: «Только с ними я чувствую себя интеллигентом».

Деньги ему нужны были не для того, чтобы их

тратить, а чтобы чувствовать себя человеком, самоценной личностью, и выше их он ничего в жизни не ставил. Однажды он всерьез, по-нервному заболел, когда где-то услышал, что Черчилль читал Шекспира.

«Как может великий человек заниматься такой ерундой», — заявил он, побледнев. Для него это была психологическая катастрофа.

В стихи, в живопись, в религию он просто не верил, а считал, что все это выдумано. Он был искренне убежден, что люди не только не верят, но и никогда не верили в Бога, и что такого человека, который верил бы в Бога, в идеализм, в стихи, вообще не было, а то, что об этом написано в книжках, — одна пропаганда.

— Как можно видимое предпочесть невидимому, — говорил он.

Родители ее — солидные инженеры — были так же глупы, но не столь патологичны.

Первоначалу, еще в период ухаживаний за Зиной, держался я с ними тихо и потайно, так что они принимали меня просто за чересчур скромного и молчаливого, а в общем достаточно приятного молодого человека. Поэтому и не возражали против брака. Но уже через два дня после свадьбы я развернулся. Жили мы сначала у

нее, так что все было на виду. Принцип мой был таков: делать все по-своему, но на словах ничего не возражать, а, наоборот, со всем соглашаться и показывать внешне, что веду себя по-ихнему. Это была необходимость: я органически не мог с ними не только спорить, но и разговаривать. Я чувствовал себя униженным, смятым, приравненным к чему-то идиотскому, ненужному и вещественному уже оттого, что сижу с ними за одним столом и вынужден их выслушивать. Все мои нервы болели.

«Саша (так зовут меня), Саша говорит, что он страсть как любит домовитость и будет помогать нам ухаживать за дачей», — кричала на всю кухню мамаша Зиночки.

А я каждую субботу увиливал от общения с ними и предпочитал уйти в свой мир. А мирочки свои ведь я обожал, упивался ими, и они были для меня такими же близкими и родными, как и мое тело… И я варился в их соку, как в собственной крови, и не любил, чтобы их касались…

Но родители меня быстро раскусили. Помню одинокие вечерние чаи, когда все семейство было в сборе. Застывшая лампа с синим абажуром казалась мудрой и индивидуальной по сравнению с этими обычными, ничуть не хуже других

людьми, сидящими за столом.

Пока я с ними ни о чем не говорил, я чувствовал в душе непередаваемую тонкость и нежность. Мои мысли казались мне потусторонне сентиментальными и воскресающими мертвых…

— Саша, почему ты не поедешь на дачу, не купишь котлет, не выучишь стихи, — осторожно спрашивает меня Зиночкина мамаша.

— Я обязательно сделаю все это в субботу, — невозмутимо и покойненько отвечаю я.

А внутри начинаю заболевать оттого, что они смотрят на меня, как на равного человека.

«Почему они не чувствуют моей необычайности, — думаю я. — Может быть, я обычен?! Действительно, когда я им отвечаю, я становлюсь обычным. Это ужасно».

— Но ты каждый раз обещаешь нам все делать в субботу, — равномерно говорит мамаша Зиночки. — И так уже четыре месяца. И ничего не делаешь.

Ее глаза влажнеют от злости. У отца такой вид, как будто ему снится, что он на официальном приеме. Я молчу. Их поражает моя потусторонность. Они не могут определить ее словом, теряются в догадках, но что-то смутное чувствуют. Это им кажется таким страшным, что брат Зины роняет

на пол ломоть хлеба.

— Может, ты думаешь, что ты умнее нас? — холодно спрашивает меня мать.

Я опять отвечаю какой-нибудь вздор, и от этого вся ситуация становится еще загробней.

— Может быть, ты что-нибудь скажешь ему? — спрашивают мою Зину.

Но на ее глазах появляются защитные слезы…

И таких вечерочков было немало.

Бедная Зиночка, она, как зверек, любила своих родителей — металась между мной и ними. Днем мне было трудно ею управлять (они запутывали ее здравым смыслом), но по ночам и когда мы оставались tete-a-tete, я был царь над ней. Тут уж действовали мои миры. В конце концов, чтобы отгородиться от родителей, я решил отвечать им на все вопросы своими выдуманными словами, чтоб они ничего не поняли и ужаснулись. «Кольцом инакоречия самоогорожусь от внешних болванов», — хихикнуло тогда у меня в уме.

Если теперь они допытывались у меня, люблю ли я Зиночку, я отвечал: «дав-тяв-гав-сяв». Если они, например, спрашивали, почему я не почитаю модного актера, я отвечал: «брэк-тэк-халек». Если они сердились и психовали, вспоминая мое мнение, что луна внутри пустая, я отвечал одно-

сложно: «му». На каждый вопрос я реагировал по-разному.

Самое забавное: они решили, что я хулиганю. Дальше так продолжаться не могло, и я навизжал по ночам Зиночке, что мы переедем ко мне. Она отлично понимала мою политику и считала, что я еще милостиво обошелся с ее родными. Ей было страшно переезжать в мои грязные, одинокие, заставленные доисторической мебелью, какие-то оторванные от этой жизни комнаты. Но она знала, что найдет там нежность. Нежность, от которой мутнеет ум и которая, может быть, даже превращается в мучительство, в истязание; нежность, которая повисла над бездной страха… Мы переехали в мою квартиру…

Там мне уж совсем стало хорошо, покойненько так, оторвано… И развернулся я перед своей женушкой уже по-настоящему, взаправдашне, до конца… «Отъединенности, отъединенности», — визжал я в ее ушко по ночам. А ей тут же снились кошмары. Я очень любил наблюдать, как ей они снятся. Чутьишко у меня в этом отношении было необычайное: как только кошмарик ей во сне представится, я тут как тут — проснусь сладенько, поскачу на кроватке, но ее не бужу, а свечечку (специально у меня была в тумбочке

припасена) зажгу и тихохонько на ее личико наслаждаюсь. Выразительное было очень личико: белое, нежное, оно легко содрогалось, как будто змеи там под кожей ползали. Страшно ей, видно, было… Потом, когда все кончалось, я будил Зину и, нашептывая переходы, тайные мечты, разжигая в ней патологическую жалость к самой себе, неистово брал ее.

В агонии, в драме полового акта искал я выход и убежище от Властных Сил, создавших нас не по нашей воле. За все эти минуты мысли мои и слова, обращенные к Зине, были творениями Духа в самой потайности его и подло-оголенной интимности.

«Сплетенности, сплетенности», — визжал я теперь в ее ушко. В нарастающем визге полового акта заставлял я видеть ее и всю человеческую жизнь, обреченную и хрупкую, как сперма, гаденькую, маразматическую, с ее взлетом, сладострастным цеплянием за наслажденьице и падением в ничто. Я заставлял ее представлять, что пот сладострастия — предсмертный пот, и что истомленный конец полового акта — это и есть символический конец нашей человеческой жизни, жизни, такой же гаденько-родной и обреченной на быструю гибель, как извержение

семени.

В конце концов она доходила до того, что болезненно-нежно целовала остатки разбрызганной моей спермы, бормоча, что это слезы расколотой жизни. «Упьюсь, упьюсь», — надрывно стонала она.

И все эти актики я заставлял ее совершать в глубоком подполье, при свечах, под одеялом, как что-то глубоко-подленькое, родное и неотказное…

Вы думаете, когда мы не дрожали в физической дрожи, а были в покойненько-удовлетворенном, духовном состояньице, мы меньше маразмировали?! Ничуть. Только по-своему. Ведь состояньице было тихое, умственное, как будто у нас не было тел.

Тел-то не было, зато глазенки были… Плакала она много, конечно. Металась по моим одиноким, шизофренным комнатам, где каждое пятно пугало ее и казалось миром. Морил я ее также голодом. Голод ведь вообще усиливает потусторонность и хрупкость тела, вызывает потоки причудливых сублимаций, чудесных желаний. Ведь интеллигентный человек никогда не признается себе, что хочет есть, а подумает: чего-то мне не хватает, непонятного и таинственного. Та-

ким образом я и возбуждал ее высшие качества. Духовности, духовности — я хотел как можно больше духовности.

Другой мой способ заключался в том, что я разжигал у нее страх перед смертью, я сам до патологичности, до судорог боюсь смерти и считаю, что Творец должен еще передо мной ответ на коленях держать за то, что я так гнойно смертен и каждую минуту — хотя бы теоретически — могу умереть.

Ну-с, а тут были пустяковые болезни, у меня и у нее, так что почва для страхов была прямо-таки благодатная.

Нежно подольстившись к ней в смятенном полумраке нашей комнаты, я целовал ее левую, пухленькую-родненькую грудку с умилительной родинкой — место, которое она сама очень любила в себе и на которое не могла без слез смотреть в зеркале, — и говорил: «Это умрет»; прильнув губами к ее блаженному горлу, пришептывал: «И это умрет»; а заглянув — надрывно заглянув, мистически — в ее чистые, бездонные глаза, произносил: «И то что там, за этими глазками, тоже умрет»... И она понимала, что душонка умрет, бедная, нежная и затерянная, как маленькая лодка в глухом лесном пруду. Постоянным под-

черкиванием реальности и в то же время ужаса, абсурдности смерти, как окончательного конца «я», при одновременном аккуратном разжигании безудержной любви к этому своему обреченному «я» — доводил я ее до дикого состояния, подобно тому, когда снится, что тебя держат за руку, а ты не можешь проснуться и никогда не проснешься. Под конец, при мысли о смерти, точно подстегиваемая страхом, она начинала бросаться посудой, стонать и лезть на стены, особенно когда я, томимый ужасом перед гибелью, одиноко, не требуя ни на что ответа, забивался в темный, паутинный угол и плача целовал свои руки и ноги.

Маленькая, как это она все мне прощала. От нежности, конечно, прощала, я уже говорил, от нежности. Вы ведь понимаете, что среди всего этого мрака, патологического ужаса и шараханья мыслей была неземная, болезненная нить нежности. Нежности, которая соединяет двух людей в смертной камере. Нежности во взгляде человека, которого ведут по улицам на гильотину и который видит среди толпы Ее — которая могла бы быть его Единственной и которая не знает и никогда не узнает об этом. И наконец, нежности, с которой мать дает яд своему сыну, чтобы спасти его душу от смертоносного греха и дать ему Цар-

ствие Небесное.

Так протекали наши дни, но ведь не все измеряют свою жизнь днями — для меня это был единый духовный порыв, бесконечный ветер, устремленный в Неизвестность.

Понимала ли она меня? Что было в ее глазах, ослабленных легким безумием? Она была для меня то, что я о ней думал, но что думала она обо мне?

Но я всем потом своим, всеми неврастенично-гнойными ранками душонки своей, перепачканными идеальностью, любил и жалел ее, видя в ней живехонький, маленький клочочек своего «я», обиженный, задерганный и одетый в эстетически-женскую форму. Поглаживая ее властительно-белую кожу на бедре (и тихо маразмируя при этом), я точно гладил собственное сердце. Мне было так приятно видеть себя вовне себя и в то же время хотелось пожрать этот комочек моего «я», вобрать его в себя.

Но — и здесь открывался последний акт драмы наших отношений — чем больше я желал вобрать ее в себя, сделать своей, как обнаруживал, что натыкаюсь на что-то твердое, непроницаемое для меня, какое-то чужое духовное ядрышко. Это было нечто враждебное, упругое, какое-то «не-я»,

от которого я отталкивался и уходил в себя.

Постепенно, сначала только в некоторые дни, я, точно очнувшись от творческого вихря любви, с ужасом стал смотреть на нее другими глазами.

В ее странной склонности к домашнему уюту и в стремлении к обеспеченности я вдруг усмотрел материализм. Я и сам не отказывался от этого, но мне показалось, что она придает внешнему не последнее значение. Выявилось так же, что очень многое я не мог ей высказать и многие, многие потаенно-безумные мыслишки мои звучали гораздо космичнее в чистом Одиночестве моей души.

Зина тонко уловила мое остывание и сначала почувствовала облегчение: я уже не так мучил ее. Она стала по-детски радостней, как бабочка, выпорхнувшая из мрака. И еще больше привязалась ко мне в благодарность за покой. Было что-то странное и дико фантастическое в том, как среди загробности наших комнат, среди заброшенности наших шкафов и кресел, хранящих слезы моих снов и падений, щебетал ее оживленный, идиотически-радостный голосок, словно она только что спаслась от бездны в самой себе и в любимом.

Да, первое время мое молчание — страшный

призрак конца любви — точно воскресило ее… Бедненькая… Как ей хотелось элементарной человеческой радости, теплоты и животности… Зачем же тогда она полюбила меня?..

Все чаще атрибутом наших отношений стало не холодеющее заглядывание друг в друга, в пузатенький чаечек и, хотя весело-уютный чайник в нашей обстановке выглядел слегка с сумасшедшинкой, Зиночка и этим была довольна. Увы — ее счастьице продолжалось недолго. Она с ужасом начала чувствовать, что вместе с уходом кошмаров и видений ухожу от нее и я — я, которого она так любила, — и что расплатой за здравый смысл становится конец любви. Тогда она страшно, по-истерически заволновалась. Помню одинокие, непонятно-оторванные от окружающего мира дни, когда мы сидели вдвоем в наших комнатах в чистом, дневном свете, который разъединял нас теперь больше, чем самый глубокий мрак; она металась по комнатам и выла: «Саша, Саша, где ты?» А я, одиноко приютившись рядом с ней в кресле, у окна, отвечал: «Я ушел в свой мир».

На ее глаза навертывались больные, точно разорванные слезы, но я холодно и жутко молчал: в отрешенно-живительном круге моего Одиночества мой мирок становился и глубже, и роднее,

и потаеннее, и слаще, чем когда я выносил его на свет.

С каждым днем я уходил все дальше и дальше от нее и от поверхности жизни, это можно было сравнить с невидимым полетом, ездой куда-то вглубь: сначала еще видны легкие и дымные очертания действительности, потом, по мере ускорения движения, они мелькают все чаще и чаще, пока наконец не сливаются в одну далекую, безразличную черту тумана… Где мир, где Зина?! Она стала казаться мне совсем обычной, простой и понятной, я ловил себя на том, что не видел различия между ней и деревом, глядящим на нас в окно.

Вместе с потерей к ней духовного интереса, я терял интерес и к ее плоти, ее тело стало казаться мне страшным: оно было — по воспоминаниям — и родное, и близкое, и в то же время становилось далеким. Вечерами в спутанном мирочке наших комнат, в разгар моих бдений, продолжающихся по инерции, я, похлопывая по ее оголенной, прозрачно-белой спине, часто вдруг недоумевал: не по стенке ли я хлопаю. Ее тело уходило от меня в призрачную даль не моего мира.

Стараясь физически возбудиться, я визжал: «Таинственности, таинственности, побольше

таинственности», — и клал ее тело, перед тем как брать, в различные дикие, нелепые положения, тайны — вот еще чего мне не хватало.

Видя, что со мной уже невозможно наладить духовный контакт, Зиночка впала в какую-то слабоумную решительность: иногда в отчаянном, лживом бреду поцелуев она вдруг начинала кусать меня, полоумно и настойчиво, как будто желала прокусить мою внешнюю оболочку и заглянуть в душу. Кусается, а глазенки заволокутся быстрыми, бегающими слезами. Ведь все понимает.

Или вдруг начнет бормотать про себя стихи, перемешанные со своими нелепыми мыслями, да так загаллюцинирует себя, как будто вся пропасть стоит перед ослабевшими глазами.

Такая жалкая, обреченно-оторванная, вся обращенная в себя, в свои мучения, она опять сладостно-тревожно возбуждала меня; мне казалось, что снова в ней проснулась духовность, и я радостно впивался в ее исчезающее, нежное плечо.

Но это были только истеричные взвизги, лишь оттенявшие ужас истины.

Я уже чувствовал, что отношусь к ней как к вещи, как к чашке, которую можно разбить и не пошевельнется в сердце.

Тупой холод был у меня в душе.

В конце концов я стал невыносимо груб с ней, наши связи жестоко и примитивно рвались, я уже просто орал на нее и только что разве не бил, она совсем отупела от страданий и плыла по течению. Не порывая полностью, но и не сближаясь с ней, я прямо закоснел в своем эгоизме и ничего для нее не делал.

Но чем более я был груб по отношению к ней, тем более нежен по отношению к себе… Нежность эта доходила до такой степени, что я стремился порвать со всем, что меня окружало, и непередаваемо жалел себя.

Часто, судорожно уединившись в своей комнате, я сидел у плотной занавеси окна и, чуть закрыв глаза, сочинял рассказы. Но в моей руке — в моей белоснежной, тонкой рученьке — не было пера: эти чудесные, таинственные, полусозданные творения я сочинял про себя, в замираниях, в запретном храме моей души, в полусне, не задерживая свои мысли для черновой работы, потому что понимал себя с полуслова. Я ненавидел бумагу, читателей, перо, буквы, моих друзей и моих врагов — и поэтому ничего не записывал, уединенно храня все в изгибах моего чистого «я»… Я сладострастно наслаждался тем, что никто, кроме

меня, не услышит моих рассказов.

Разыгрывались изломанно-шизофренные сцены. Зиночка визжала и плакала, что значит она — дура, если я не хочу с ней разговаривать. Родители стучали стульями и ходили в милицию. А я строил миры. Качался легкий свет в наших комнатах, приходили и уходили чьи-то тупые рыла, мое бедное сердечко сочиняло небывалые чувства. Мне было так лучше, так непонятно странно лучше. Мой мир рос по мере того, как я оставался один.

Зиночка уже частенько уходила от меня к себе домой, но зато по ночам ко мне стал приходить новый, непонятный, ошеломивший меня гость. Называл я его почему-то Юрий Аркадьевич. Тихонько так приходил, по-нездешнему.

Бывало, ночью под потным, пропитанным мыслями одеялом лежу я и чувствую только сладкое бытие — одиночество моего тела. А в коридоре, ровно во втором часу ночи, уже шаги — тихие такие, мистичные, как движение маятника. В душонке моей — в ответ — щемящее-щемящее чувство, как будто идет издалека ко мне любимая. Очень боялся его спугнуть. Тих уж он очень, и не отсюда. Отряхнет пыль со стула, подушечку для мягкости положит и сядет. Я молчу. И такое в мо-

ем мозгу просветление, как будто не существует ни Англии, ни луны, ни Зиночки, а существуем только мы с Юрием Аркадьевичем. Полное отсутствие всякой внешности. Кругом одно только внутреннее, настоящее. Как на том свете.

Юрий Аркадьевич помолчит, помолчит сначала, отрешенно себе и метафизически. Личико далекое-далекое, как у сейджей[1], и на ручки свои — нежненькие, беленькие — так мистически, молча смотрит и поглаживает их блаженно, легко и недоступно для смертных. Очень, наверное, в себя влюблены были. Потом мы беседовали. Больше он говорил, а я с замиранием слушал.

— Плохо, плохо работаете, Сашенька, — укорял он меня. — Маниакальности мало. И отрешенности. На путях вы еще только к Богу-с.

— К какому Богу, Юрий Аркадьевич? — робко спрашивал я.

— К внутреннему. Солипсическому. Который только в нашем «я» кроется, и больше нигде. Потому что ничего, кроме высшего «я», нет, — блаженно улыбался Юрий Аркадьевич. — И должны мы, Сашенька, этого Бога открыть и постепенно им становиться.

---

[1] notes: 1

Сейдж — восточный мудрец. (*Примеч. Ю.М.*)

— А вы подтолкните меня, Юрий Аркадьевич, — сгорал я. — Подтолкните, к этому Богу-с.

— Яйности, яйности побольше, — строго отвечал он. — Вы еще не открыли в себе бессмертное начало, вы не Творец и не хозяин своего мира, а просто прячетесь в него… Поэтому он у вас такой ранимый и неустойчивый. Это еще не мир, а только начало-с, капля-с… И плюньте, пожалуйста, в рожу всему человечеству. Плюньте по-серьезному, добросовестно.

Очень быстро Юрий Аркадьевич исчезал. Подавлял он прямо меня своей излученностью и солипсизмом. Чувствовалось, что они уже все грани перешли.

А я и в самом деле понимал, что многого и качественного я еще не достиг, и Юрий Аркадьевич недаром меня к новым горизонтам подхлестывал. Слаб я еще был, юн, нервен и слишком зависел от внешней среды.

Иногда, чтобы отвлечься от солипсоидно-ослепительной истины Юрия Аркадьевича, я задавал себе глупейший вопрос: «Кто он?» Не по сущности, конечно, — я это прекрасно знал, — а по видимости? В «галлюцинативно-бредовом» он плане или в так называемом «реальном»? Если в «галлюцинативно-бредовом», то я бы его совсем

уважал и, появись он снова, в ножки ему поклонился, упал-с. Потому что значит — они оттуда явились.

Но он мог быть и в «реальном» плане, так как в наркотично-эйфорическом состоянии я часто, забывая обо всем, говорю с прохожими на улицах и иногда дарю им свои ключи. Потом ничего не помню. Среди них мог оказаться и Он.

Кроме того, однажды видел я Юрия Аркадьевича в магазине, в очереди за галошами. Терпеливо так стоял, тихо, как все, точно скрывался. И солипсического сияния вокруг головки никому не показывал, хитрец.

Но это тоже могла быть «галлюцинация». В конце концов я решил, что «галлюцинативно-бредовый» план и так называемый «реальный» — почти одно и то же и глупо их отличать.

Зиночка от меня, кажется, совсем ушла. Потому что Юрий Аркадьевич ее сильно напугали. Во время одного из его визитов, она ночевала в смежной комнате, все слышала и раза два-три дико закричала.

У меня же от посещений Юрия Аркадьевича оставалась некоторая грусть: тоскливо мне было, что еще только на путях я к внутреннему Богу, что слаб я еще, визглив и слишком верю в реаль-

ность окружающего; чувствовал, что настоящее, кондовое — у меня еще впереди, а покамест одни цветочки.

Юрий Аркадьевич тоже прекрасно это видели и, не торопя события, стали очень и очень редко меня посещать.

Жизнь между тем по-прежнему терзала меня, я уже почти не мог появляться на улице, редко выходил на кухню, в коридор, я чувствовал больное унижение, оттого что вынужден общаться с людьми, быть с ними в метро, просто стоять около них. Вид города, автобусов, светлых фонарей унижал меня. «Вес мир должен припасть к моим галошам, а не существовать сам по себе», — выл я истерическими мыслями, лаская свою душу.

«Почему все не замечают, как я велик», — злобно взвизгнул я один раз в подушку. Юрий Аркадьевич, — хорошо помню, — сразу тут как тут появились.

— Вымаливаете вы у мира признания, молодой человек, — сердито сказал он. — Ну как можно вымаливать признание у того, что само нуждается в вашем признании. Не вы у мира, а мир у вас должен вымаливать право на реальность.

Умом я его уже тогда понимал, но до шкуры моей — нежной, изрубцованной окружающими

меня людьми, — эти великолепные идеи еще не доходили.

И бегал я, и скулил, и в небесах парил, и грозился, но тяжело мне все-таки было.

Однако вскоре появилась у меня отрада. Как я раньше об этом не вспомнил — ума не приложу. Речь идет о гробиках и покойничках. Начну с того, что смерть вошла в мою душу вместе с первым поцелуем матери. Причем смерть жестокая, «атеистическая» — обрыв в ничто.

В детских снах своих, в ужасах, в исковерканных очертаниях предметов в темноте — видел я это немыслимое, все отрицающее ничто.

Потненьким, дрожащим своим тельцем и бьющейся жалкой, родной жилочкой — самосознанием своим — ощущал я разлитое во всем мире, от исчезающих звезд до придавленных мух, холодное, неотразимое, знающее свой черед, подкарауливающее ничто.

Казалось, что если после смерти, хоть раз в миллион лет, хоть на одну минуточку, выглянуть опять на каком-нибудь свете, ощутить свое «я» — то уже этим уничтожится этот безграничный ужас холодной вечности полного отрицания. Ведь никогда, никогда меня уже не будет.

Много было потом теорий, книг, диссертаций,

как будто бы победоносно и навсегда освобождающих от этого тупого кошмара, но — не забудьте! — такое представление о смерти впустили в наши души вместе с первым поцелуем матери, вместе с первым утренним светом, — с детства. И поэтому в глубине души оно жило во мне как жуткое притаившееся чудовище.

Однако это только одна сторона. Ведь смерть-то была хоть и атеистическая, но все-таки тайна. Тайну они не смогли убить. И поэтому с детства в душонке моей жило молитвенное благоговение и трепет перед застывшим лицом мертвеца.

Никаких сказок, никаких песен мне не нужно было, только бы смотреть на покойничков.

И тот глубокий ужас перед ничто уходил куда-то в сторону, и наоборот, сознание гибели лишь возбуждало ощущение тайны. Облегчалось это тем, что видел ведь я не себя мертвым, а чужих, в то время как тот ужас перед ничто возникал всегда впотьмах, в одиночестве.

Вот эта-то сторона смерти и захватила меня сейчас по-серьезному, до кишок.

Жизнь была настолько мрачна своей безысходностью и материализмом, своей животной тупостью и ясностью, что Смерть — единственная, видимая и ощущаемая всеми, Великая Тайна,

причем тайна, бьющая по зубам, — являлась настоящим оазисом среди этого потока декретов, овсяной крупы, телевизоров и непробиваемой «логики».

В наблюдении за смертью было что-то глубоко интимное, мистичное, что я мог сделать своим, принадлежащим только мне… Одним словом, сплелось тут воедино много комплексов: отрешенных и сладострастных, диких и затаенных…

Время шло уже к осени. Облюбовал я себе грязненькое, забрызганное кладбище на краю Москвы. Рядом стояла берущая за душу своей мистической обыденностью полустоловая, полупивная. Приходил я туда еще поутру — всегда с томлением: будут ли сейчас покойнички? Чтобы уточнить, перед тем как зайти в пивнушку, я звонил по телефону кладбищенскому начальству. Начальство — хмурый, полупьяненький старичок — неизменно узнавал мой голос и отвечал мне долго и назойливо, кто будет захоронен, в каком возрасте, отчего помер и где нашли точку для ямы. Он был убежден, что я интересуюсь этим из-за какого-нибудь важного, недоступного для его глупого ума дела. Поэтому он очень меня побаивался.

Получив благополучный ответ, я поначалу

забивался в грязный, темнеющий угол столовой у низенького окошка, из которого видны были покосившиеся, готовые рухнуть ворота погоста. Заказывал себе кружечку пива и 2–3 килечки. Закрывал глазки и отключался.

Миры входили в меня потихонечку, вместе с острыми каплями алкоголя, теплыми своими спонтанными мыслями и тихими далекими шагами приближающейся похоронной процессии. Первая фаза моего духовного откровения проходила еще целиком в пивнушечке, в грязной теплоте, в ожидании, среди мух, жующих рож и полупомешанных от сытости кошек.

Стук надвигающегося мертвеца я предчувствовал всей дрожью своей, и в душонку мою входила непонятная, замкнутая в себе, обреченная радость. Я вдруг начинал тупо хихикать, что я — вот-де живой, а он — мертвый.

Эта мысль необычайно, до нестерпимых высот поднимала самоценность, близость и блаженство моего бытия. Я тихохонько гладил свои колени, упивался своим существованием, и все вокруг: потолок, кошки, стулья, жирные бабы — казались мне мертвыми и неподвижными, окружавшими своей бессмысленной, враждебной стеной сладостное, одинокое трепыхание моего «я» и

плоти.

На вершине экстаза я так погружался в чистоту этой мысли, что чувствовал себя — и это было самое приятное — совсем слабоумным.

Я хихикал, обливал себя пивом, дергал кошек за хвост.

Потом начиналась следующая фаза. Умиленный, слегка пошатываясь от мыслей, я выходил навстречу похоронной процессии. Прежняя радость улетучивалась, и я теперь целиком отдавался порыву потусторонней тайны. Слегка подпрыгивая, я трусил за гробом, и мне всегда казалось, что хоронят какую-нибудь мою частицу: полноги, каплю моей душонки или просто палец.

Поэтому неподражаемо таинственный гробовой путь до ямы я ощущал как собственный болезненно-родной путь где-то в пространстве между нашим и загробным миром, когда душа уже отходит, но еще не отошла. Душонка еще не может расстаться со снами, взвизгами, плачами и видениями этого мира, который принял сейчас, в момент расставания, какой-то иной, ирреальный смысл, и я совсем по-новому смотрел на высокие деревья по кладбищенским аллеям, шум ветра в которых превращался для меня в прощальные,

неслыханные песни земного мира, открывающего свой скрытый лик только перед смертью, но издалека в эту же душонку уже входил черный, непонятный ритм — ритм загробной бездны.

Эта фаза кончалась у самой гробовой точки. Когда мертвеца ставили около ямы, я перво-наперво старался заглянуть в его лицо. Иногда в противовес великому и драматическому во мне просыпались хохотливые, идиотические силы. Мне вдруг хотелось плюнуть в лицо покойничка, иногда поднималось нелепое ожидание, что покойник вот-вот проснется и вскочит, я зажмуривал глаза и открывал: а вдруг скачет?

Но основным содержанием этой фазы была сама смерть и созерцание лица покойника.

Я упивался холодно-застывшими чертами мертвеца; мне казалось, что если я буду долго, долго до безумия вглядываться в его лицо, то сорву эту неподвижно-кошмарную, мертвую маску и увижу за ней разгадку жизни, разгадку самого себя. Сердце мое екало, природа вокруг принимала утонченную, болезненно-фантастическую форму, каждый кустик становился чертиком или Фаустом. Даже толстые, нелепые родственники около гроба казались многозначительными. Безгранично возносился я к Престолу Великой Тайны

и в извивах дорог к ней еще с большей душераздирательностью любил себя, обреченного. После захоронения, бредя по молчаливым тропинкам кладбища, визгливо припадал я с мольбой о жалости к зеленым деревцам, собачкам и ядреным нищим, попадающимся мне по пути.

Жалеют кого-нибудь оттого, что у него чего-нибудь нет: денег, ума или женщины. Но я выл не о такой жалости; теплой, безумной, сексуально-маразматической жалости к своему чистому, обреченному «я», к своему дрожащему, погибельному бытию такому родному и такому заброшенному перед лицом непонятного мира — такой неистовой, патологической жалости просил я, но деревца одиноко молчали в ответ, собаки лаяли и разбегались, а нищие крестились и шарахались в сторону… И я понял, что эту жалость я могу получить только от самого себя и что из этой жалости должно возникнуть что-то великое…

Так и живу я сейчас, пустынно и одиноко. Почти через день хожу на свое милое кладбище. Обедаю тут же, около тайны. Меня уже все здесь знают. Родственников очередных покойников предупреждают обо мне. Некоторые очень дружелюбны и после похорон угощают меня водкой,

некоторые шарахаются, другие думают, что я шпик, и отказываются хоронить.

Несколько раз бывали экстазы, когда я в слабоумненьком отупении, в вихре, уже за гранью миров, лез, расталкивая всех, целоваться с покойниками. Один старичок запустил тогда в меня галошей…

Зиночка раза два ко мне в кладбищенскую пивнушечку прибегала. Посмотрит, посмотрит, раскроет глаза, ахнет и убежит… Я с ней уже ни о чем не разговариваю…

…Зато Юрий Аркадьевич — слава богам! — опять стали меня посещать, теперь уже, правда, по утрам.

Подмигнул мне последний раз и, пристально так глядя, сказал: «А не кончается ли у вас, Сашенька, юность, и не пора ли вам отправляться в решающее, мистическое путешествие»…

…На этом обрывается тетрадь индивидуалиста.

Горенштейн Фридрих
С кошелочкой

1

Авдотьюшка проснулась спозаранку и сразу вспомнила про кошелочку.

— Ух ты, ух ты, — начала сокрушаться Авдотьюшка, — уф, уф… Вчерась бидон молока несла, ручка подалась, прохудилась… Успеть бы зашить к открытию…

И глянула на старенький будильник. Когда-то будильник этот будил-поднимал и Авдотьюшку, и остальных… Кого? Да что там… Есть ли у Авдотьюшки ныне биография?

Советский человек помнит свою биографию в подробностях и ответвлениях благодаря многочисленным анкетам, которые ему приходится весьма часто заполнять. Но Авдотьюшка давно уже не заполняла анкет, а из всех государственных учреждений главный интерес ее был сосредоточен на продовольственных магазинах. Ибо Авдотьюшка была типично продовольственной старухой, тип, не учитываемый социалистиче-

ской статистикой, но принимающий деятельное участие в потреблении социалистического продукта.

Пока усталый трудовой народ вывалит к вечеру из своих заводов, фабрик, учреждений, пока, измученный общественным транспортом в часы пик, втиснется он в жаркие душегубки-магазины, Авдотьюшка уже всюду пошнырять успеет, как мышка… Там болгарских яичек добудет, там польской ветчинки, там голландскую курочку, там финского маслица. Можно сказать, продовольственная география. Вкус родимого владимирского яблочка или сладкой темно-красной вишни она уже и вспоминать забыла, да и подмосковную ягодку собирает, как помощь к пенсии, а не для потребления.

В еще живые лесочки с кошелочкой пойдет, как в продовольственный магазин, малинки-землянички подкупит у матушки-природы, опередит алкоголиков, которые тоже по-мичурински от природы милостей не ждут, малинку на выпивку собирают. Так лесочки оберут, что птице клюнуть нечего, белке нечего пожевать. Оберут братьев меньших, а потом на братьев-сестер из трудящейся публики насядут.

Продаст кошелочку подмосковной малинки —

пятидесятиграммовую стопочку по рублю, купит килограмм бананов из Перу по рупь десять кило. Продаст чернички по рупь пятьдесят стопочку, купит марокканских апельсин по рупь сорок кило. Чем не жизнь при социализме? Правильно говорят западные борцы за мир. Жаль только, что в наглядной своей агитации не используют они Авдотьюшкин баланс, Авдотьюшкину прибавочную стоимость.

Авдотьюшка, продовольственная старуха, в торговом разбое участвовала давно, опыт имела, а орудием труда у нее была кошелочка. Любила кошелочку Авдотьюшка и, готовясь к трудовому дню, приговаривала:

— Ах ты моя кормилица, ах ты моя Буренушка.

И план у нее был заранее составлен. Сперва в «наш» — это магазин, который рядом с домом. После в булочную. После в большой, универсальный. После в мясной. После в молочный. После в «килинарию». После в магазин возле горки. После в другую «килинарию». После в магазин, где татары торгуют. После в овощной ларек. После в булочную против ларька. После в магазин возле почты…

В большом магазине покою никогда нет. Чело-

век туда нырнул, волны подхватили, понесли… Из бакалеи в гастрономию, из гастрономии в мясной… И всюду локти — плечи, локти — плечи… Одно хорошо — пихнуть здесь не могут, падать некуда. Но локтем в обличье — морду, это запросто.

Вот вывезли на тележке горой плоские коробки селедки. Для Авдотьюшки такая ситуация мед-печенье… Очереди — порядка нет, разбой в чистом виде. Кто схватит. Тут не лисья хитрость Авдотьюшке нужна, а мышиная. Как в цирке — раз, два — тележка уже пустая. Оглядывается народ, смотрит, что у кого в руках. Мужчины схватили одну-две… Некоторые схватили воздух, стоят злятся. Лидируют крепкие, умелые домохозяйки — по три-четыре коробки. Есть и одинокие старушки среди лидеров. У Авдотьюшки три коробки в кошелочке…

Вообще, если продовольственные старухи объединяются — это грозная сила. Однажды семь старух, в том числе Авдотьюшка, перли к прилавку, друг на друга опираясь цепочкой. А передняя, Матвеевна, которая ныне с переломом в больнице, опиралась на палку-клюку. Всех раскидали, добыли польской ветчинки. Правда, предварительно ситуацию оценивать надо. Например, в

такую ситуацию, которая у мясного отдела, лезть нельзя… Что-то вывезли, а что — неясно. Полутолкучка, полупотасовка. Некоторые натянуто улыбаются. Это те, кто пытается свое озверение превратить в шутку. Однако большинство лиц серьезные и злые. Работают…

Ой, уходи, Авдотьюшка. Схватила селедочку, уходи. Селедочка не бульончик, по кишкам плывет щекотно, и отрыжка у ней болезненная… Но ведь хочется. Не докторам же все угождать, и себе угодить надо. Картошечка соль возьмет, а сладкий чаек вовсе успокоит. Схватила жирной селедочки, уходи, Авдотьюшка, пока цела. Уходи, Авдотьюшка…

Да день неудачный, все не так… Поздно спохватилась Авдотьюшка. Было не повернешься, стало не вздохнешь… И новым запахло — махрой-самосадом, дегтем, дегтем посадским… Приехали… Вот и автобусы их экскурсионные возле универсама. В каждом автобусе передвижной штаб продотряда. Сюда купленное-награбленное сносят. Весь автобус в кулях, мешках, авоськах. В разных направлениях движутся бойцы — крепкорукие мужчины и женщины. А в разведке верткая молодежь. Бежит деваха конопатая.

— Дядя Паршин, тетя Васильчук велела пере-

дать, растительное сало дают.

— Какое еще сало, лопоухая?

— Желтое, — радостно кивает конопатая, — я влезла, смотрю — дают… А тетю Васильчук какой-то как поддал плечом…

Но дядя Паршин уже не слушает.

— Ванюхин, Сахненко! С бидоном!

Побежал боевой расчет с бидоном на сорок литров… Ой, много посадских, ой, моченьки нет… И еще бидон вперли.

— Ой, помо… помосите. Помо… сите!

Лихо работает посад. Колбасу, сыр, крупу по воздуху транспортирует. Жатва идет. Не пожнешь, не пожуешь. А не пожуешь, возьмешь партийную газетину — раздражаешься. Худо, если в посаде идеологические шатания начнутся. Посад, это ведь кто? Это лучшие драчуны России… «Мы если хоть как-то сыты будем, кому угодно накостыляем… Ты только свистни, ЦК, ты только крикни: „Товарищи, полундра!“ Но вовсе без еды никак нельзя, ЦК. Посад твоя опора, батька ЦК, а ты шлюху Московию кормишь… Хотя у тебя и в Московии не всегда водка в наличии для заправки организма».

Спаслась Авдотьюшка. И кошелочку спасла… Авдотьюшка вдоволь на свете пожила, умная.

Она не правду ищет, а продукты питания. Да день такой, что уж не по плану. Зашла в одну «килинарию». Тихо, спокойно, воздух чистый, и прилавки чисто прибраны. Хоть бы что туда положили для виду. Хоть бы кость собачью. Продавщица сидит, рукой щеку подперла. Народ входит, ругается-плюется. А Авдотыошка вошла, постояла, передохнула и спрашивает:

— Лангетика посвежее не найдется, милая? Или антрекотика помягче?

— Ты, видать, бабка, адресом ошиблась, — отвечает ей продавщица, — тебе не в кулинарию надо, а к главному врачу… Не видишь разве, что на прилавке?

Авдотьюшка не обиделась.

— Спасибо, — говорит, — за совет.

И в другую «килинарию». Заходит — есть! У какой-то шляпы почки отбила.

Почки эти, как в анатомичке, одиноко мокли на блюде, и шляпа их изучал-нюхал. То снимет очки, то наденет. Авдотьюшка быстро к кассе и отбила.

— Как же, — кричит интеллигент, — я первый.

— Вы нюхали, а мамаша отбила, — говорит торговый работник.

— А другие?

— А других нет… Вот купите деликатес, редко бывает.

Глянул интеллигент — что-то непонятное. Прочитал этикетку: «Икра на яйце». Пригляделся, действительно, не свежее, но яйцо вкрутую, пополам разрезанное. А на сероводородном желтке черный воробьиный навоз.

— Где же икра?

— Сколько положено, столько есть. Тридцать грамм. А сколько вы хотели за такую цену?

Цена такая, что еще при волюнтаристе Хрущеве, еще накануне исторического октябрьского Пленума 1964 года, внесшего перелом в развитие сельского хозяйства, за такую цену двести грамм хорошей икры купить можно было в любом гастрономическом магазине. Быстро же движется Россия, словно за ней собаки гонятся… А куда спешим? Сесть бы передохнуть, подумать, отереть пот со лба. Но попробуй скажи. Политические обозреватели засмеют.

Вот так живет Авдотьюшка, продовольственная старуха без биографии. Приспособилась. Заглянет в ее маленький телевизор политический обозреватель — а она почками лакомится. Исказится, перекосится лицо политического обозревателя, заорет он не своим голосом, поскольку телевизор

давно неисправный. Да что поделаешь. Икорку или колбаску сырокопченую уже употреблять запретили, а почки еще жевать разрешено. И иные продукты все ж еще окончательно не реквизированы. Обильна, обильна Россия. В одном месте очередь за индийским чаем, в другом за болгарскими яичками, а в третьем за румынскими помидорами. Стой и бери.

Вошла в молочную Авдотьюшка. Мирный и покойный продукт молоко, безалкогольный напиток. Его младенцы и диетчики употребляют. Случаются здесь и спокойные очереди. Да только не сегодня, когда финское масло в пачках дают…

Вошла Авдотьюшка, послушала: очередь звенит, как циркульная пила, когда на предельных оборотах она на камень натыкается… Лицо у очереди гипертоническое, бело-красное. Вот уж поистине кровь с молоком… Авдотьюшка задком, задком и к татарам в магазин, где татарин заведующий, а его жена сок продает…

А на татар украинский степной набег… Махновцы… Форма у всех одна: платки, плюшевые тужурки-кацавейки. Руки тяжелые, багровые, лица малиновые и чесноком дышат…

Хотя и русский человек, особенно почему-то милиционер, в последнее время чесноком ды-

шит… От колбасы, что ли, некачественный состав которой хотят чесноком заглушить?

Перекликиваются махновцы.

— Текля, де Тернь?

— З Горпыной за шампаньским пишов.

Если посадские-пригородные грабят предметы первой необходимости, то махновцы грабят предметы роскоши. Привезут на рынок мешки тыквенных семечек или груш-скороспелок, набьют мешки деньгами, а потом в те мешки дорогие деликатесы.

Вот Горпына помогает взвалить Текле на плечо мешок шампанского. Вот у Терня в обеих руках раздутые рюкзаки с плитками шоколада, с коробками шоколадных конфет.

Вспоминаются смазанные дегтем партизанские тачанки с награбленным дворянским имуществом. Но теперь грабеж особый. Не по Бакунину, а по Марксу. Товар-деньги-товар…

Советский магазин — это и история, и экономика государства, и политика, и нравственность, и общественные отношения…

— Сколько дают?

— Все равно всем не достанется…

— По два кило…

— Вы стоите?

— Нет, я лежу…
— Что?
— Пошел…

Перманентная холодная война горячего копчения не затихает. Вот где раздолье борцам за мир. Вот где бы иностранным дипломатам изучать проблемы. Взять авоську, набить пустыми кефирными и винно-водочными бутылками, надеть грязную рубашку, постоять перед калорифером, вспотеть и идти в магазин. Надо уметь толкаться локтями, зло пялить глаза и знать по-русски одну фразу: «Пошел ты…»

А конец фразы можно произносить на своем языке. Все понимают, куда посылают. Но иностранец в России личность привилегированная. Она или в «Березку», или на Центральный рынок.

На Центральном рынке изобилие высококачественных продуктов и иностранные марки автомашин. Страна умеет выращивать крепкие солнечные помидоры и прохладные пахучие огурцы, десертные груши с маслянистой мякотью и ароматные персики, которые так красивы, что могут не хуже цветов украсить праздничный стол. Страна может выложить на прилавки нежные желтовато-белые тушки гусей, уток, кур, индеек. Груды свежего мяса. Куски малосольного,

тающего во рту сала, пряной рыбы, жирного бело-кремового творога, густой сметаны… Здесь, на Центральном рынке, время нэпа, здесь нет поступательного движения вперед к коммунизму, нет перевыполнений плана, грандиозных полетов в космос, борьбы за мир…

Хорошо на Центральном рынке…

2

А где же она, наша Авдотьюшка? Совсем ее потеряли… Да вот же она в передвижной очереди… Имеются и такие… Подсобник в синем халате тележку везет, на тележке импортные картонные ящики. Что в ящиках, непонятно, но очередь сама собой построилась и следом бежит. А к очереди все новые примыкают. Авдотьюшка где-то в первой трети очереди-марафона… Должно хватить… Взмокли у Авдотьюшки седые волосы, чешутся под платком, сердце к горлу подступило, желудок к мочевому пузырю прижало, а печень уже где-то за спиной ноет-царапает. Но отстать нельзя. Отстанешь — очередь потеряешь. Подсобник с похмелья проветриться хочет, везет, не останавливается. Кто-то из очереди, умаявшись:

— Остановись уже, погоди, устали мы, торговлю начинай…

А толстозадая из торговой сети, которая в коротком нечистом халате сзади за тележкой ступает:

— Будете шуметь, вовсе торговать не стану.

Тут из очереди на робкого бунтаря так накинулись, затюкали:

— Не нравится, домой иди прохлаждаться… Барин какой, пройтись по свежему воздуху не может. Они лучше нас знают, где им торговать. Им, может, начальство указание дало.

Бежит дальше Авдотьюшка вслед за остальными. А пьяный подсобник нарочно крутит-вертит. То к трамвайной остановке, то к автобусной… И толстозадая смеется… Тоже под градусом… Измываются, опричники…

В нынешней государственной структуре имеют они непосредственную власть над народом наряду с участковыми, управдомами и прочим служилым людом… Авдотьюшка как-то в Мосэнерго приходила, куда ей добрые люди дорогу указали, плачет. Девчонки молодые там работали, еще не испорченные, спрашивают:

— Что вы плачете, бабушка?

— Бумажки нету, что за электричество плотят. Выключат, говорят, электричество. А как же я без электричества буду? В темноте ни сварить, ни постирать. — И протягивает старую книжечку,

исписанную, которую добрая соседка заполняла.

— Ах, у вас расчетная книжка кончилась? Так возьмите другую.

И дали новенькую, копейки не взяли. Как же их Авдотьюшка благодарила, как же им здоровья желала. И сколько же это надо было над ней в жизни поизмываться в разных конторах, чтоб такой страх у нее был перед служилым народом! А здесь не просто служилые, здесь кормильцы.

Бежит Авдотьюшка, хоть в глазах уже мухи черные. А подсобник вертит, подсобник крутит. Куда он, туда и очередь, как хвост. На крутом повороте из очереди выпал инженер Фишелевич, звякнул кефирными бутылками, хрустнул костьми. Не выдержал темпа. Но остальные с дистанции не сходят, хоть силы уже кончаются. Спасибо, подсобник перестарался, слишком сильно крутанул, и картонные ящики прямо посредине мостовой повалились… Несколько лопнуло, и потек оттуда яичный белок-желток. Обрадовалась очередь — яйца давать будут. Легче уже. И товар нужный, и бежать за ним более не надо. Стоит очередь, дышит тяжело, отдыхает, пока подсобник с толстозадой совещаются-матерятся. Выискались и добровольцы перенести ящики с середины мостовой под стенку дома. Началась торговля…

Отходчив душой русский и русифицированный человек… Быстро трудности-обиды забывает, слишком быстро забывает.

В связи с катастрофой приняли подсобник с толстозадой на совещании решение: по просьбе трудящихся отпускать десяток целых, десяток треснутых яиц в одни руки. И вместо «яйца столовые» присвоить звание и впредь именовать их «яйца диетические» с повышением цены на этикетке. Но при этом будут выдаваться полиэтиленовые мешочки бесплатно. Хорошо. Авдотьюшка целые яички в один полиэтиленовый пакетик, треснутые, уже готовые для яичницы, — в другой пакетик, расплатилась по новой цене, все в кошелочку сложила и пошла довольная. Зашла в булочную, хлебца прикупила. Половину черного и батон. За хлебцем в Москве пока очередей нет. Если еще за хлебцем очередь, значит, уж новый этап развитого социализма начался. В целях борьбы с космополитизмом запретят американское, канадское, аргентинское и прочее зерно потреблять. Но пока еще в этом вопросе мирное сосуществование. Хорошо выпечен хлебец из международной мучицы. Мясца бы к нему. Курятины-цыплятины не досталось, так хоть бы мясца… Мясной магазин вот он, перед

Авдотьюшкой. Шумит мясной, гудит мясной. Значит — дают. Заходит Авдотьюшка.

Очередь немалая, но без буйства. Обычно мясные очереди одни из самых буйных. Может, запах во времена пращура переносит, когда представители разных пещер вокруг туши мамонта за вырезку дрались? Человеку одичать легче, чем кружку пива выпить…

Вот такие мысли приходят в московской мясной очереди, когда ноздри щекочет запах растерзанной плоти. Принюхалась и Авдотьюшка, хищница наша беззубая. Пригляделась… Вона кусочек какой лежит… Не велик и не мал… Эх, достался бы… Авдотьюшка б уж за ним, как за ребеночком, поухаживала, в двух водах обмыла, студеной и тепловатой, от пленочек-сухожилий отчистила, сахарну косточку вырезала — и в супец. А из мякоти котлетушек-ребятушек бы понаделала… Выпросить бы мясца у очереди Христом-Богом. Не злая вроде очередь.

Только так подумала, внимательней глянула — обмерла… Кудряшова в очереди стоит, старая вражина Авдотьюшкина… Кудряшова — матерая добытчица, становой хребет большой многодетной прожорливой семьи, которую Авдотьюшка неоднократно обирала… У Кудряшовой плечи

покатые, руки-крюки. Две сумки, которые Авдотьюшка и с места не сдвинет, Кудряшова может на далекие расстояния нести, лишь бы был груз — продовольствие. Кудряшова и роженица хорошая. Старший уже в армии, а самый маленький еще ползает. Сильная женщина Кудряшова, для очередей приспособленная. Кулачный бой с мужчиной обычной комплекции она на равных вести может. Но если схватить надо, а такие ситуации, как мы знаем, в торговле бывают, тут Авдотьюшка расторопней Кудряшовой, как воробей расторопней вороны. То кочанчик капусты из-под руки у Кудряшовой выхватит, то тамбовский окорок в упаковке.

— Ну погоди, ведьма, — ругается-грозит Кудряшова, — погоди, я тебя пихну.

— А я мильционера позову, — отвечает Авдотьюшка, — ишь, пихало какое.

А сама боится: «Ой пихнет, ой пихнет».

Теперь самое время сообщить, что ж это такое — «пихнуть». Есть старое славянское слово — пхати, близкое к нынешнему украинскому — пхаты. По-русски оно переводится — толкнуть. Но это не одно и то же. Иное звучание меняет смысл, если не в грамматике, то в обиходе оба слова существуют одновременно.

Толкнуть — это значит отодвинуть, отстранить человека. Бывает, толкнули и извините, говорят, пардон. А если уж пихнули, так пардону не просят. Потому как пихают для того, чтобы человек разбился вдребезги.

«Ой, пихнет, — думает Авдотьюшка, — ой, пихнет».

Но очередь тихая, невоинственная, и Кудряшова тихая. Исподлобья на Авдотьюшку косится, но молчит. В чем тут причина? Не в мясе причина, а в мяснике.

Необычный мясник появился в данной торговой точке. Мясник-интеллектуал, похожий скорее на ширококостного, из народа профессора-хирурга в белой шапочке на седеющей голове, с крепким, налитым, упитанным лицом, в очках. Мясник веселый и циничный, как хирург, а не мрачный и грязный, как мясник. Очередь для него объект веселой насмешки, а не нервного препирательства. Он выше очереди. Огромными, но чистыми ручищами берет он куски мяса и кладет их на витрину, на мясной поднос. И в ответ на ропот очереди, требующей быстрей обслуживать, без запинки читает «Евгения Онегина»…

— Чего там, — ропщет некая с усталым лицом, видать, не в первой сегодня очереди стоит, —

чего там… Вы для обслуживания покупателя поставлены.

— Глава вторая, — отвечает ей мясник. —

Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок;
Там друг невинных наслаждений
Благословить бы небо мог…

Странная картина. Странные она вызывает идеи. И неожиданные из нее проистекают выводы. Первый вывод — Пушкина мясной очереди должен читать мясник. Собственно, это главный вывод, ради которого есть смысл немного поразмышлять в духоте магазина. Цинично, вульгарно бренчит мясник на пушкинской лире, но все же чувства добрые пробуждает. Народ безмолвствует, соответственно финальной ремарке из «Бориса Годунова». Тихо стоит. Не слушает Пушкина, но слышит. Попробуй прочесть мясной очереди Пушкина крупный профессор-пушкинист или известный актер-исполнитель. Хорошо, если это вызовет только насмешки. А то ведь еще злобу и ненависть. Нет, культуру народу должна нести власть. Скажете, что ж это за культура, что ж это за Пушкин? Ответим на это совсем с иного конца. Ответим тоже вопросом. Вам при-

ходилось наблюдать, как восходит солнце? Не над пышной субтропической зеленью, которая знает, что такое солнце, которая сознательно живет им и которая академически солидно ждет его восхода. И не над тихой, поросшей травой лесной поляной, которая сама составляет крупицу солнца, которая верит в него и для которой восход солнца есть ее собственное интимное чувство. Мы имеем в виду восход солнца над безжизненными северными скалами. Казалось бы, зачем мертвому жизнь? Зачем холодным камням солнце? Спокойно, тяжело, монотонно лежат камни в глухой ночи, покрытые льдом и снегом, безразлично встречают камни серый, короткий день, принимая на бесчувственную грудь свою острые порывы ветра. Но восходит над ними солнце, слабое подобие жаркого, плодоносного или ласкового, мягкого, знакомого нам солнца, восходит солнце, от которого субтропической зелени или лесной полянке стало бы страшно и тоскливо. А скалы вдруг меняются. Розовеют камни, мох да лишайник появляются, и какое-то невзрачное насекомое выползает из расселины навстречу этому короткому празднику. Хоть и не осознает, может, откуда пришел свет, почему утих ветер, почему нет безразличия к холоду и

что это за новое не чувство даже, а ощущение теплоты и покоя. А взойди над северными камнями южное или даже мягкое, умеренное солнце, это была бы катастрофа. Потрескались бы холодные камни, высох лишайник, погибло бы, сгорело невзрачное насекомое. Холодному северу нужно холодное солнце.

…Берет мясник кусок своими белыми ручищами. Хорош, сочен кусок. И косточка рафинадная. Глазам своим не верит Авдотьюшка. Счастье-то какое.

— С праздничком вас, — это она мяснику польстить хочет, чтобы не передумал.

— Я вам признателен, — отвечает мясник, — с каким? Партийным или церковным?

Ропот рассеивается. Весело народу, хоть и тесна очередь. А вместе с весельем и сознание появляется.

— Нам тяжело, — говорит кто-то, — а старикам одиноким как же?

Тянется к мясцу Авдотьюшка. Не дает мясник. Даже разволновалась Авдотьюшка. И напрасно.

— Разрешите, я вам в кошелочку положу, — говорит мясник.

Легло мясцо в кошелочку. Повернулась радостная Авдотьюшка уходить, а мясник ей вслед:

— Спасибо за покупку.

— Дай Бог здоровья, — отвечает Авдотьюшка.

Вышла Авдотьюшка, идет — улыбается. За угол зашла, из кошелочки мяса кусок вынула, как ребеночка, понянчила и поцеловала. Может, цыплятина и лучше, да цыплятина не родная, Авдотьюшкой не куплена, а это мясцо свое. Плохо день у Авдотьюшки начинался, да хорошо кончился. Раз везет, значит, этим пользоваться надо. Решила Авдотьюшка в магазин сходить далекий, который редко посещала. «Ничего, там по дороге скамеечка, посижу и дальше пойду. Авось чего-либо добуду…»

Пошла Авдотьюшка. Идет, отдыхает, опять идет. Вдруг навстречу дурак. Знала она его в лицо, но как зовут, не знала.

Дурак этот был человек уже не молодой, голову имел обгорелую и потому всегда кепку носил. Ездил этот востроносый дурак городским транспортом и из бумаги профили людей вырезал. Похоже, кстати. И за деньги. А ранее работал дурак на кожевенном комбинате художником. Однако раз вместо лозунга: «Выполним пятилетку за четыре года» написал: «Выполним пятилетку за шесть лет». Чего это ему в голову пришло? Впрочем, родной брат дурака, герой-полковник, ордена,

квартира в четыре комнаты, почетный ветеран Отечественной войны, и вдруг публично заявил: «Сегодня по приказу Верховного главнокомандующего товарища Сталина в городе выпал снег». А товарища Сталина к тому времени не то что на этом свете, но и в мавзолее-то уже не было. Как же он мог снегу приказать? Думали, неудачно шутит полковник, пригляделись, искренне излагает, и глаза нехорошо блестят. Одним словом, дурная наследственность. Может, оно и так, дурак-то он дурак, но говорит, что младший брат полковника, художник, подальше от своего района, там, где его знают поменьше, подошел к самой пасти кровожадной, свирепой многочасовой очереди на солнцепеке, выстаивавшей к киоску, где продавали раннюю клубнику, и произнес: «Именем Верховного Совета СССР предлагаю отпустить мне три килограмма клубники». При этом он предъявил собственную правую руку ладонью вперед. Ладонь была пуста, но народ ему подчинился, и он взял три килограмма клубники… Вот тебе и дурак…

Увидел Авдотьюшку дурак и говорит:

— Бабка, а в пятнадцатом магазине «советскую» колбасу дают… И народу никого.

Мужчина, который рядом шел и тоже услышал,

говорит:

— Что это вы болтаете… У нас вся колбаса советская, у нас еврейской колбасы нету.

— Вкусная колбаса, — отвечает дурак, — пахучая. Я такой давно не видал.

— Да он же того, — шепотом Авдотьюшка мужчине и себя по платку постучала.

— А, — понял антисемит и пошел своей дорогой.

Пятнадцатый же магазин тот, куда Авдотьюшка шла. Приходит. Магазин длинный, как кишка, и грязней грязного. Даже для московской окраины он слишком уж грязный. Магазин, можно сказать, сам на фельетон в газете «Вечерняя Москва» напрашивается. Продавщицы все грязные, мятые, нечесаные, стоят за прилавком, как будто только что с постели и вместо кофе водкой позавтракали. И кассирша сидит пьяная, а перед ней пьяный покупатель. Лепечут что-то, договориться не могут. Она на рязанском языке говорит, он на ярославском. А подсобники все с татуировками на костлявых руках и впалых, съеденных алкоголем грудях… У одного Сталин за пазухой сидит, из-под грязной майки выглядывает, как из-за занавески, у другого орел скалится, у третьего грудь морская, — маяк и надпись «Порт-Артур».

Знала Авдотьюшка про этот магазин, редко здесь бывала. Но нынче пошла. Заходит Авдотьюшка озираясь, видит всю вышеописанную картину и уже назад хочет. Однако глянула в дальний угол, где написано — «Гастрономия». Глянула, глазам не поверила. Правду сказал дурак. Лежит на прилавке красавица колбаса, про которую и вспоминать Авдотьюшка забыла. Крепкая, как темно-красный мрамор, но сразу видно, сочная на вкус, с белыми мраморными прожилками твердого шпика. Чудеса, да и только. Как попало сюда несколько ящиков деликатесной, сырокопченой, партийной колбасы, словно бы прямо из кремлевского распределителя? И почему её сам торговый народ не разворовал? Видать, по пьянке в массовую торговлю выпустили. И этикетка висит — колбаса «советская». Не соврал дурак. Цена серьезная, но те, дешевые, с крахмалом и чесноком. Матвеевна говорила, в колбасу мясо водяных крыс подмешивают, из шкур которых шапки шьют. А здесь мясо чистокровное, свинина-говядина. И мадерой мясо пахнет… Чем ближе Авдотьюшка подходит, тем сильнее запах чувствует. Это же если тонко нарезать, да на хлеб, надолго празднично можно завтракать или ужинать.

А ведь было время, ужинала Авдотьюшка не одна. Самовар кипел червонного золота, баранки филипповские. Он красавец был. И у Авдотьюшки коса ржаная. В двадцать пятом году это было… Нет, в двадцать третьем… Колбаски полфунта в хрустящем пакете. Колбаска тогда по-другому называлась, но это она самая… Принесет, говорит: «Употребляйте, Авдотья Титовна. На мадере приготовленная». И балычку принесет… «Употребляйте», — говорит.

— Ну что, девка, — говорит Авдотьюшке пьяная нечесаная продавщица, — покупаешь колбаски? Раз в десять лет такую колбаску достать можно.

А Авдотьюшка не отвечает, ком в горле.

— Какую берешь? — спрашивает продавщица, — эту? — И поднимает крепкий сырокопченый батон.

А Авдотьюшка не видит, слезы в глазах.

— Чего плачешь? — спрашивает продавщица, — зять из дому выгнал?

— Нет у меня зятя, — еле отвечает Авдотьюшка и всхлипывает, и всхлипывает.

— У ней, видать, украли что-то, — предположил подсобник с морской грудью, — украли у тебя что-нибудь, старая?

— Украли, — сквозь слезы отвечает Авдотьюш-

ка.

— Ты, что ль, Микита? — И к тому, у которого Сталин из-за майки-занавески выглядывает…

— Да я ее в глаза не видел, — отвечает Микита, — у ней старой только геморрой украсть можно.

— Украли, — говорит Авдотьюшка, и слезы льются, льются… Давно так не плакала.

— Украли, в милицию иди, не мешай торговле, — говорит продавщица и сырокопченый батон на весы кладет, антисемиту вешает.

Видно, опомнился антисемит, вернулся, поверил дураку. И другой народ подходит все более и более. Растрезвонил дурак про советскую колбасу.

О советской колбаске следует сказать особо. Колбасные очереди наряду с очередями апельсиновыми являются главным направлением торговой войны между государством и народом. Мы с вами в настоящих колбасных и апельсиновых очередях не стояли, потому что Авдотьюшка их избегает. Хитра Авдотьюшка, и посадские хитры. И украинцы-махновцы редко там попадаются. Они больше по окраинам, где какой дефицит выбросят. Кто же стоит-воюет в тех очередях? Вокзалы. А что такое вокзалы? Это сам

СССР. Но за апельсинами СССР поневоле стоит. Выращивает СССР в обилии вместо груш-яблок автомат «Калашников», а «третий мир» апельсин выращивает. Натуральный обмен вне марксова капитала. Не свой, не привычный продукт — апельсин. От него у СССР отрыжка горько-кислая. Не серьезный продукт апельсин, под водку не идет. Детишкам дать погрызть разве что. Иное дело колбаска…

В колбасных Москвы вокзальный дух, вокзальная духота… Кажется, вот-вот прямо в московских колбасных, вызывая головную боль, закаркает диктор:

— Внимание, начинается посадка на поезд номер…

И пойдут поезда прямо из московских колбасных на Урал, в Ташкент, в Новосибирск, в Кишинев… Вокзальный народ не буйный. Посад хитер, а вокзал терпелив. Хитрость — она резиновая, а терпение — оно железное…

Железо ждать умеет. И свое соображение у железа тоже есть. Знает, какие продукты на какие расстояния везти можно. Ведь образование в СССР шагнуло далеко вперед. Высок в очередях процент образованного народа. Инженеры стоят, химики-физики… Стоят, рассчитывают… До Горь-

кого мясцо доезжает и маслице. А до Казани мясо протухает, но колбасы вареные выдерживают. За Урал копчености, чай, консервы везти можно. Апельсины те же для баловства ребятишкам. Но лучше нет настоящей копченой колбаски. И терпеливо железо стоит. Стоит СССР в очередях за колбасой. «Эх, милая, с маслицем тебя да с хлебцем, как в былые времена».

Опомнилась и Авдотьюшка.

— Я первая, — кричит, — я очередь первая заняла.

Куда там, оттерли. Обозлилась Авдотьюшка, уж как обозлилась: «Народ нынче оглоед, народ нынче жулик». Разошлась Авдотьюшка от обиды. Платок с головы сбился. Об кого-то кулак свой ушибла, об кого-то локоть рассадила. Поднатужилась Авдотьюшка, попробовала пихнуть. Да тут ее саму пихнули. Какой-то, даже не оборачиваясь, задом пихнул. А зад у него передовой, комсомольско-молодежный, железобетонный.

В больнице очнулась Авдотьюшка. Очнулась и первым делом про кошелочку вспомнила.

— А где же моя кошелочка?

— Какая там кошелочка, — отвечает медсестра, — вы лучше беспокойтесь, чтоб кости срослись. Старые кости хрупкие.

Но Авдотьюшка горюет — не унимается.

— Там ведь и мясцо было, и селедочка, три короба, и хлебец, и яйца, два пакета… Однако пуще всего кошелочку жалко…

В той же больнице, где Авдотьюшка, инженер Фишелевич лечился, кибернетик низкооплачиваемый. В больнице, как в тюрьме, люди быстро знакомятся.

— Юрий Соломонович.

— Авдотья Титовна.

— У вас, Авдотья Титовна, что?

— Пихнули меня.

— А что это такая за болезнь? — иронизирует Фишелевич. — У меня, например, перелом правой руки.

Пригляделась Авдотьюшка.

— Точно, — говорит, — тебя из очереди в правую сторону выбросили, я вспомнила. Но не горюй. Без яиц остаться не так обидно, как без колбасы.

Среди больных заслуженная учительница была с тазобедренным переломом. Начала она обоих стыдить:

— Как вы можете вслух такие анекдоты рассказывать.

— Какие анекдоты, — говорит Авдотьюшка, —

все правда святая… Яйца болгарские, а колбаса «советская».

— Вы еще и антисоветские анекдоты про Варшавский договор здесь рассказывать вздумали, — возмущается учительница и еще более стыдит, а особенно Фишелевича, того по еврейской линии стыдит и обещает выполнить свой гражданский долг.

— Позвольте, — пугается Фишелевич, — слова Авдотьи Титовны советская печать подтверждает, — и достает из тумбочки большую книгу в коричневом переплете.

Часто читал Фишелевич эту книгу, и все думали — роман читает.

— Вот, — говорит Фишелевич, — вот сказано: к наилучшим деликатесным сырокопченым колбасам заслуженно причисляют колбасу «советскую». В ее фарш, приготовленный из нежирной свинины и говядины высшего сорта, добавляют очень мелкие кубики твердого шпика, который дает на разрезе привлекательный рисунок. Обогащают вкус и аромат «советской» колбасы коньяк или мадера и набор специй. Перед использованием рекомендуется нарезать колбасу тонкими, полупрозрачными ломтиками.

И с тех пор часто читал Фишелевич книгу вслух.

Много нового узнал из нее больной народ. И про сервелат, и про колбасу слоеную, и про уху из стерляди, которую лучше всего подать с кулебякой или расстегаем. В тарелку с ухой можно положить кусок вареной рыбы.

— Любите рыбку, Авдотья Титовна?

— Уважаю…

От такого чтения у учительницы поднялась температура, и она перестала выходить из своей палаты. А Авдотьюшка слушает, слушает: «Эх, все бы это да в кошелочку». Кошелочка-кормилица ей родным существом была. Она ей по ночам несколько раз снилась. Привыкла Авдотьюшка к своей кошелочке. Как это она другую сумку возьмет, с ней по очередям ходить будет? Печалится, горюет Авдотьюшка. Однако раз медсестра говорит:

— Родионова, вам передача.

Родионова — это Авдотьюшки фамилия. Глянула Авдотьюшка — кошелочка… Еще раз глянула — кошелочка… Не во сне, наяву — кошелочка… Мясца нет, конечно, и яичек, да и из трех селедочных коробок — одна. Но зато положена бутылка кефира, пакетик пряников и яблочек с килограмм…

Как Авдотьюшка начала свою кошелочку обни-

мать, как начала Буренушку гладить-баловать… А потом спохватилась — кто ж передачу принес? Одинокая ведь Авдотьюшка. Полезла в кошелочку, на дне записка корявым почерком: «Пей, ешь, бабка, выздоравливай». И подпись — «Терентий». Какой Терентий?

А Терентий — это тот подсобник с морской татуировкой, с «Порт-Артуром» на груди.

Значит, и в самых темных душах не совсем еще погас Божий огонек. На это только и надежда.

Апрель, 1981 год

Сергей Довлатов
Компромисс

Н.С. ДОВЛАТОВОЙ — ЗА ВСЕ МУЧЕНЬЯ!

…И остался я без работы. Может, думаю, на портного выучиться? Я заметил — у портных всегда хорошее настроение…

Встречаю Логинова с телевидения.

— Привет. Ну, как?

— Да вот, ищу работу.

— Есть вакансия. Газета «На страже Родины». Запиши фамилию — Каширин.

— Это лысый такой?

— Каширин — опытный журналист. Человек — довольно мягкий…

— Дерьмо, — говорю, — тоже мягкое.

— Ты что, его знаешь?

— Нет.

— А говоришь… Запиши фамилию. Я записал.

— Ты бы оделся как следует. Моя жена говорит, если бы ты оделся как следует…

Между прочим, его жена звонит как-то раз… Стоп! Открывается широкая волнующая тема. Уведет нас далеко в сторону…

— Заработаю — оденусь. Куплю себе цилиндр…

Я достал свои газетные вырезки. Отобрал наиболее стоящие, Каширин мне не понравился. Тусклое лицо, армейский юмор. Взглянув на меня, сказал:

— Вы, конечно, беспартийный?

Я виновато кивнул.

С каким-то идиотским простодушием он добавил:

— Человек двадцать претендовало на место. Поговорят со мной… и больше не являются. Вы хоть телефон оставьте.

Я назвал случайно осевший в памяти телефон химчистки.

Дома развернул свои газетные вырезки. Кое-что перечитал. Задумался…

Пожелтевшие листы. Десять лет вранья и притворства. И все же какие-то люди стоят за этим, какие-то разговоры, чувства, действительность… Не в самих листах, а там, на горизонте…

Трудна дорога от правды к истине.

В один ручей нельзя ступить дважды. Но можно сквозь толщу воды различить усеянное консервными банками дно. А за пышными театральными декорациями увидеть кирпичную стену, веревки, огнетушитель и хмельных работяг. Это известно

всем, кто хоть раз побывал за кулисами…

Начнем с копеечной газетной информации.

Компромисс пятый

«Советская Эстония». Ноябрь. 1975 г.

«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ.

Ежегодный праздник — День освобождения — широко отмечается в республике. Фабрики и заводы, колхозы и машинно-тракторные станции рапортуют государству о достигнутых высоких показателях.

И еще один необычный рубеж преодолен в эти дни. Население эстонской столицы достигло 400.000 человек. В таллиннской больнице № 4 у Майи и Григория Кузиных родился долгожданный первенец. Ему-то и суждено было оказаться 400.000-м жителем города.

— Спортсменом будет, — улыбается главный врач Михкель Теппе.

Счастливый отец неловко прячет грубые мозолистые руки.

— Назовем сына Лембитом, — говорит он, — пусть растет богатырем!..

К счастливым родителям обращается известный таллиннский поэт — Борис Штейн:

На фабриках, в жерлах забоев,

На дальних планетах иных —
Четыреста тысяч героев,
И первенец твой среди них…

Хочется вспомнить слова Гете: „Рождается человек — рождается целый мир!“

(Фантазия автора. Гете этого не писал. — прим. авт.)

Не знаю, кем ты станешь. Лембит?! Токарем или шахтером, офицером или ученым. Ясно одно — родился Человек! Человек, обреченный на счастье!..»

Таллинн — город маленький, интимный. Встречаешь на улице знакомого и слышишь: «Привет, а я тебя ищу…» Как будто дело происходит в учрежденческой столовой…

Короче, я поразился, узнав, сколько в Таллинне жителей.

Было так. Редактор Туронок вызвал меня и говорит:

— Есть конструктивная идея. Может получиться эффектный репортаж. Обсудим детали. Только не грубите…

— Чего грубить?.. Это бесполезно…

— Вы, собственно, уже нагрубили, — помрачнел Туронок, — вы беспрерывно грубите, Довлатов.

Вы грубите даже на общих собраниях. Вы не грубите только когда подолгу отсутствуете… Думаете, я такой уж серый? Одни газеты читаю? Зайдите как-нибудь. Посмотрите, какая у меня библиотека. Есть, между прочим, дореволюционные издания…

— Зачем, — спрашиваю, — вызывали?

Туронок помолчал. Резко выпрямился, как бы меняя лирическую позицию на деловую. Заговорил уверенно и внятно:

— Через неделю — годовщина освобождения Таллинна. Эта дата будет широко отмечаться. На страницах газеты в том числе. Предусмотрены различные аспекты — хозяйственный, культурный, бытовой… Материалы готовят все отделы редакции. Есть задание и для вас. А именно. По данным статистического бюро, в городе около четырехсот тысяч жителей. Цифра эта до некоторой степени условна. Несколько условна и сама черта города. Так вот. Мы посовещались и решили. Четырехсоттысячный житель Таллинна должен родиться в канун юбилея.

— Что-то я не совсем понимаю.

— Идете в родильный дом. Дожидаетесь первого новорожденного. Записываете параметры. Опрашиваете счастливых родителей. Врача,

который принимал роды. Естественно, делаете снимки. Репортаж идет в юбилейный номер. Гонорар (вам, я знаю, это не безразлично) двойной.

— С этого бы и начинали.

— Меркантилизм — одна из ваших неприятных черт, — сказал Туронок.

— Долги, — говорю, — алименты…

— Пьете много.

— И это бывает.

— Короче. Общий смысл таков. Родился счастливый человек. Я бы даже так выразился — человек, обреченный на счастье!

Эта глупая фраза так понравилась редактору, что он выкрикнул ее дважды.

— Человек, обреченный на счастье! По-моему, неплохо. Может, попробовать в качестве заголовка? «Человек, обреченный на счастье»…

— Там видно будет, — говорю.

— И запомните. — Туронок встал, кончая разговор, — младенец должен быть публикабельным.

— То есть?

— То есть полноценным. Ничего ущербного, мрачного. Никаких кесаревых сечений. Никаких матерей-одиночек. Полный комплект родителей. Здоровый, социально полноценный мальчик.

— Обязательно — мальчик?

— Да, мальчик как-то символичнее.

— Генрих Францевич, что касается снимков… Учтите, новорожденные бывают так себе…

— Выберите лучшего. Подождите, время есть.

— Месяца четыре ждать придется. Раньше он вряд ли на человека будет похож. А кому и пятидесяти лет мало…

— Слушайте, — рассердился Туронок, — не занимайтесь демагогией! Вам дано задание. Материал должен быть готов к среде. Вы профессиональный журналист… Зачем мы теряем время?..

И правда, думаю, зачем?..

Спустился в бар, заказал джина. Вижу, сидит не очень трезвый фотокорреспондент Жбанков. Я помахал ему рукой. Он пересел ко мне с фужером водки. Отломил половину моего бутерброда.

— Шел бы ты домой, — говорю, — в конторе полно начальства…

Жбанков опрокинул фужер и сказал:

— Я, понимаешь, натурально осрамился. Видел мой снимок к Фединому очерку?

— Я газет не читаю.

— У Феди был очерк в «Молодежке». Вернее, зарисовка. «Трое против шторма». Про водолазов. Как они ищут, понимаешь, затонувший ценный

груз. К тому же шторм надвигается. Ну, и мой снимок. Два мужика сидят на бревне. И шланг из воды торчит. То есть ихний подельник на дне шурует. Я, натурально, отснял, пристегнул шестерик и забыл про это дело. Иду как-то в порт, люди смеются. В чем дело, понимаешь? И выясняется такая история. Есть там начальник вспомогательного цеха — Мироненко. Как-то раз вышел из столовой, закурил у третьего причала. То, се. Бросил сигарету. Харкнул, извини за выражение. И начисто выплюнул челюсть. Вставную, естественно. А там у него золота колов на восемьсот с довеском. Он бежит к водолазам: «Мужики, выручайте!» Те с ходу врубились: «После работы найдем». — «В долгу не останусь». — «С тебя по бутылке на рыло». — «Об чем разговор»… Кончили работу, стали шуровать. А тут Федька идет с задания. Видит, такое дело. Чем, мол, занимаетесь? Строку, понимаешь, гонит. А мужикам вроде бы неловко. Хуё моё, отвечают, затонул ценный груз. А Федя без понятия: «Тебя как зовут? Тебя как зовут?»… Мужики отвечают как положено. «Чем увлекаетесь в редкие минуты досуга?»… Музыкой, отвечают, живописью… «А почему так поздно на работе?»… Шторм, говорят, надвигается, спешим… Федя звонит мне в редакцию. Я

приехал, отснял, не вникая… Главное, бассейн-то внутренний, искусственный. Там и шторма быть не может…

— Шел бы ты домой, — говорю.

— Подожди, главное даже не это. Мне рассказывали, чем дело кончилось. Водолазы челюсть тогда нашли. Мироненко счастлив до упора. Тащит их в кабак. Заказывает водки. Кирнули. Мироненко начал всем свою челюсть демонстрировать. Спасибо, говорит, ребята выручили, нашли. Орлы, говорит, передовики, стахановцы… За одним столиком челюсть разглядывают, за другим… Швейцар подошел взглянуть… Тромбонист из ансамбля… Официантки головами качают… А Мироненко шестую бутылку давит с водолазами. Хватился, нету челюсти, увели. Кричит: «Верните, гады!» Разве найдешь… Тут и водолазы не помогут…

— Ладно, — говорю, — мне пора…

В родильный дом ехать не хотелось. Больничная атмосфера на меня удручающе действует. Одни фикусы чего стоят… Захожу в отдел к Марине. Слышу:

— А, это ты… Прости, работы много.

— Что-нибудь случилось?

— Что могло случиться? Дела…

— Что еще за дела?

— Юоилей все такое Мы же люди серые, романов не пишем…

— Чего ты злишься.

— А чего мне радоваться? Ты куда-то исчезаешь. То безумная любовь, то неделю шляешься…

— Что значит — шляешься?! Я был в командировке на Сааремаа. Меня в гостинице клопы покусали…

— Это не клопы, — подозрительно сощурилась Марина, — это бабы. Отвратительные, грязные шлюхи. И чего они к тебе лезут? Вечно без денег, вечно с похмелья… Удивляюсь, как ты до сих пор не заразился…

— Чем можно заразиться у клопа?

— Ты хоть не врал бы! Кто эта рыжая, вертлявая дылда? Я тебя утром из автобуса видела…

— Это не рыжая, вертлявая дылда. Это — поэт-метафизик Владимир Эрль. У него такая прическа…

Вдруг я понял, что она сейчас заплачет. А плакала Марина отчаянно, горько, вскрикивая и не щадя себя. Как актриса после спектакля…

— Прошу тебя, успокойся. Все будет хорошо. Все знают, что я к тебе привязан…

Марина достала крошечный розовый платочек,

вытерла глаза. Заговорила спокойнее:

— Ты можешь быть серьезным?

— Конечно.

— Не уверена. Ты совершенно безответственный… Как жаворонок… У тебя нет адреса, нет имущества, нет цели… Нет глубоких привязанностей. Я — лишь случайная точка в пространстве. А мне уже под сорок. И я должна как-то устраивать свою жизнь.

— Мне тоже под сорок. Вернее — за тридцать. И я не понимаю, что значит — устраивать свою жизнь… Ты хочешь выйти замуж? Но что изменится? Что даст этот идиотский штамп? Это лошадиное тавро… Пока мне хорошо, я здесь. А надоест — уйду. И так будет всегда…

— Не собираюсь я замуж. Да и какой ты жених! Просто я хочу иметь ребенка. Иначе будет поздно…

— Ну и рожай. Только помни, что его ожидает.

— Ты вечно сгущаешь краски. Миллионы людей честно живут и работают. И потом, как я рожу одна?

— Почему одна? Я буду… содействовать. А что касается материальной стороны дела, ты зарабатываешь втрое больше. То есть от меня практически не зависишь…

— Я говорила о другом…

Зазвонил телефон. Марина сняла трубку.

— Да? Ну и прекрасно… Он как раз у меня…

Я замахал руками. Марина понимающе кивнула.

— Я говорю, только что был здесь… Вот уж не знаю. Видно, пьет где-нибудь.

Ну, думаю, стерва.

— Тебя Цехановский разыскивает. Хочет долг вернуть.

— Что это с ним?

— Деньги получил за книгу.

— «Караван уходит в небо»?

— Почему — караван? Книга называется «Продолжение следует».

— Это одно и то же. Ладно, — говорю, — мне пора.

— Куда ты собрался? Если не секрет…

— Представь себе, в родильный дом…

Я оглядел заваленные газетами столы. Ощутил запах табачного дыма и клея. Испытал такую острую скуку и горечь, что даже атмосфера больницы уже не пугала меня.

За дверью я осознал, что секунду назад Марина выкрикнула: «Ну и убирайся, жалкий пьяница!»

Сел в автобус, поехал на улицу Карла Маркса.

В автобусе неожиданно задремал. Через минуту проснулся с головной болью. Пересекая холл родильного дома, мельком увидел себя в зеркале и отвернулся… Навстречу шла женщина в белом халате.

— Посторонним сюда нельзя.

— А потусторонним, — спрашиваю, — можно?

Медсестра замерла в недоумении. Я сунул ей редакционную книжку. Поднялся на второй этаж. На лестничной площадке курили женщины в бесформенных халатах.

— Как разыскать главного врача?

— Выше, напротив лифта.

Напротив лифта — значит, скромный человек. Напротив лифта — шумно, двери хлопают…

Захожу. Эстонец лет шестидесяти делает перед раскрытой форточкой гимнастику.

Эстонцев я отличаю сразу же и безошибочно. Ничего крикливого, размашистого в облике. Неизменный галстук и складка на брюках. Бедноватая линия подбородка и спокойное выражение глаз. Да и какой русский будет тебе делать гимнастику в одиночестве… Протягиваю удостоверение.

— Доктор Михкель Теппе. Садитесь. Чем могу быть полезен?

Я изложил суть дела. Доктор не удивился. Вооб-

ще, что бы ни затеяла пресса, рядового читателя удивить трудно. Ко всему привыкли…

— Думаю, это несложно, — произнес Теппе, — клиника огромная.

— Вам сообщают о каждом новорожденном?

— Я могу распорядиться.

Он снял трубку. Что-то сказал по-эстонски. Затем обратился ко мне:

— Интересуетесь, как проходят роды?

— Боже упаси! Мне бы записать данные, взглянуть на ребенка и поговорить с отцом.

Доктор снова позвонил. Еще раз что-то сказал по-эстонски.

— Тут одна рожает. Я позвоню через несколько минут. Надеюсь, все будет хорошо. Здоровая мать… Такая полная блондинка, — отвлекся доктор.

— Вы-то, — говорю, — сами женаты?

— Конечно.

— И дети есть?

— Сын.

— Не задумывались, что его ожидает?

— А что мне думать? Я прекрасно знаю, что его ожидает. Его ожидает лагерь строгого режима. Я беседовал с адвокатом. Уже и подписку взяли…

Теппе говорил спокойно и просто. Как будто

речь шла о заурядном положительном явлении.

Я понизил голос, спросил доверительно и конспиративно:

— Дело Солдатова?

— Что? — не понял доктор.

— Ваш сын — деятель эстонского возрождения?

— Мой сын, — отчеканил Теппе, — фарцовщик и пьяница. И я могу быть за него относительно спокоен, лишь когда его держат в тюрьме…

Мы помолчали.

— Когда-то я работал фельдшером на островах. Затем сражался в эстонском корпусе. Добился высокого положения. Не знаю, как это вышло. Я и мать — положительные люди, а сын — отрицательный…

— Неплохо бы и его выслушать.

— Слушать его невозможно. Говорю ему: «Юра, за что ты меня презираешь? Я всего добился упорным трудом. У меня была нелегкая жизнь. Сейчас я занимаю высокое положение. Как ты думаешь, почему меня, скромного фельдшера, назначили главным врачом?..» А он и отвечает: «Потому что всех твоих умных коллег расстреляли…» Как будто это я их расстрелял…

Зазвонил телефон.

— У аппарата, — выговорил Теппе, — отлично. Затем перешел на эстонский. Речь шла о сантиметрах и килограммах.

— Ну, вот, — сказал он, — родила из девятой палаты. Четыре двести и пятьдесят восемь сантиметров. Хотите взглянуть?

— Это не обязательно. Дети все на одно лицо…

— Фамилия матери — Окас. Хилья Окас. Тысяча девятьсот сорок шестой год рождения. Нормировщица с «Пунанэ рэт». Отец — Магабча…

— Что значит — Магабча?

— Фамилия такая. Он из Эфиопии. В мореходной школе учится.

— Черный?

— Я бы сказал — шоколадный.

— Слушайте, — говорю, — это любопытно. Вырисовывается интернационализм. Дружба народов… Они зарегистрированы?

— Разумеется. Он ей каждый день записки пишет. И подписывается: «Твой соевый батончик».

— Разрешите мне позвонить?

— Сделайте одолжение. Звоню в редакцию. Подходит Туронок.

— Слушаю вас… Туронок.

— Генрих Францевич, только что родился мальчик.

— В чем дело? Кто говорит?

— Это Довлатов. Из родильного дома. Вы мне задание дали…

— А, помню, помню.

— Так вот, родился мальчик. Большой, здоровый… Пятьдесят восемь сантиметров. Вес — четыре двести… Отец — эфиоп.

Возникла тягостная пауза.

— Не понял. — сказал Туронок.

— Эфиоп, — говорю, — родом из Эфиопии… Учится здесь… Марксист, — зачем-то добавил я.

— Вы пьяны? — резко спросил Туронок.

— Откуда?! Я же на задании.

— На задании… Когда вас это останавливало?! Кто в декабре облевал районный партактив?..

— Генрих францевич, мне неловко подолгу занимать телефон… Только что родился мальчик. Его отец — дружественный нам эфиоп.

— Вы хотите сказать — черный?

— Шоколадный.

— То есть — негр?

— Естественно.

— Что же тут естественного?

— По-вашему, эфиоп не человек?

— Довлатов, — исполненным муки голосом произнес Туронок, — Довлатов, я вас уволю… За

попытки дискредитировать все самое лучшее… Оставьте в покое своего засранного эфиопа! Дождитесь нормального — вы слышите меня? — нормального человеческого ребенка!..

— Ладно, — говорю, — я ведь только спросил…

Раздались частые гудки. Теппе сочувственно поглядел на меня.

— Не подходит, — говорю.

— У меня сразу же возникли сомнения, но я промолчал.

— А, ладно…

— Хотите кофе?

Он достал из шкафа коричневую банку. Снова раздался звонок. Теппе долго говорил по-эстонски. Видно, речь шла о деле, меня не касающемся. Я дождался конца разговора и неожиданно спросил:

— Можно поспать у вас за ширмой?

— Конечно, — не удивился Теппе. — Хотите моим плащом воспользоваться?

— И так сойдет.

Я снял ботинки и улегся. Нужно было сосредоточиться. Иначе контуры действительности безнадежно расплывались. Я вдруг увидел себя издали, растерянным и нелепым. Кто я? Зачем здесь нахожусь? Почему лежу за ширмой в ожи-

дании бог знает чего? И как глупо сложилась жизнь!.. Когда я проснулся, надо мной стоял Теппе.

— Извините, потревожил… Только что родила ваша знакомая.

«Марина!» — с легким ужасом подумал я. (Все знают, что ужас можно испытывать в едва ощутимой степени.) Затем, отогнав безумную мысль, спросил:

— То есть как — знакомая?

— Журналистка из молодежной газеты — Румянцева.

— А, Лена, жена Бори Штейна. Действительно, ее с мая не видно…

— Пять минут назад она родила.

— Это любопытно. Редактор будет счастлив. Отец ребенка — известный в Таллинне поэт. Мать — журналистка. Оба — партийные. Штейн напишет балладу по такому случаю…

— Очень рад за вас.

Я позвонил Штейну.

— Здорово, — говорю, — тебя можно поздравить.

— Рано. Ответ будет в среду.

— Какой ответ?

— Поеду я в Швецию или не поеду. Говорят —

нет опыта поездок в капстраны. А где взять опыт, если не пускают?.. Ты бывал в капстранах?

— Нет. Меня и в соц-то не пустили. Я в Болгарию подавал…

— А я даже в Югославии был. Югославия — почти что кап…

— Я звоню из клиники. У тебя сын родился.

— Мать твою! — воскликнул Штейн. — Мать твою!..

Теппе протянул мне листок с каракулями.

— Рост, — говорю, — пятьдесят шесть, вес — три девятьсот. Лена чувствует себя нормально.

— Мать твою, — не унимался Штейн, — сейчас приеду. Такси возьму.

Теперь нужно было вызвать фотографа.

— Звоните, звоните, — сказал Теппе.

Я позвонил Жбанкову. Трубку взяла Лера.

— Михаил Владимирович нездоров, — сказала она.

— Пьяный, что ли? — спрашиваю.

— Как свинья. Это ты его напоил?

— Ничего подобного. И вообще, я на работе.

— Ну, прости.

Звоню Малкизлю.

— Приезжай, ребенка сфотографировать в юбилейный номер. У Штейна сын родился. Гонорар,

между прочим, двойной…

— Ты хочешь об этом ребенке писать?

— А что?

— А то, что Штейн — еврей. А каждого еврея нужно согласовывать. Ты фантастически наивен, Серж.

— Я писал о Каплане и не согласовывал.

— Ты еще скажи о Гликмане. Каплан — член Сюро обкома. О нем двести раз писали. Ты Каплана со Штейном не равняй…

— Я и не равняю. Штейн куда симпатичнее.

— Тем хуже для него.

— Ясно. Спасибо, что предупредил.

Говорю Теппе:

— Оказывается, и Штейн не подходит.

— У меня были сомнения.

— А кто меня, спрашивается, разбудил?

— Я разбудил. Но сомнения у меня были.

— Что же делать?

— Скоро еще одна родит. А может, уже родила. Я сейчас позвоню.

— А я выйду, прогуляюсь.

В унылом больничном сквере разгуливали кошки. Резко скрипели облетевшие черные тополя. Худой, сутулый юноша, грохоча, катил телегу с баком. Застиранный голубой халат делал его

похожим на старуху.

Из-за поворота вышел Штейн.

— Ну, поздравляю.

— Спасибо, дед, спасибо. Только что Ленке передачу отправил… Состояние какое-то необыкновенное! Надо бы выпить по этому случаю.

«Выпьешь, — думаю, — с тобой… Одно расстройство».

Я не хотел его огорчать. Не стал говорить, что его ребенок забракован. Но Штейн уже был в курсе дела.

— Юбилейный материал готовишь?

— Пытаюсь.

— Хочешь нас прославить?

— Видишь ли, — говорю, — тут нужна рабоче-крестьянская семья. А вы — интеллигенты…

— Жаль. А я уже стих написал в такси. Конец такой:

На фабриках, в жерлах забоев.
На дальних планетах иных —
Четыреста тысяч героев,
И первенец мой среди них!

Я сказал:

— Какой же это первенец? У тебя есть взрослая дочь.

— От первого брака.

— А, — говорю, — тогда нормально.

Штейн подумал и вдруг сказал:

— Значит, антисемитизм все-таки существует?

— Похоже на то.

— Как это могло появиться у нас? У нас в стране, где, казалось бы…

Я перебил его:

— В стране, где основного мертвеца еще не похоронили… Само название которой лживо…

— По-твоему, все — ложь!

— Ложь в моей журналистике и в твоих паршивых стишках! Где ты видел эстонца в космосе?

— Это же метафора.

— Метафора… У лжи десятки таких подпольных кличек!

— Можно подумать, один ты — честный. А кто целую повесть написал о БАМе? Кто прославлял чекиста Тимофеева?

— Брошу я это дело. Увидишь, брошу…

— Тогда и не упрекай других.

— Не сердись.

— Черт, настроение испортил… Будь здоров.

Теппе встретил меня на пороге.

— Кузина родила из шестой палаты. Вот данные. Сама эстонка, водитель автокары. Муж

— токарь на судостроительном заводе, русский, член КПСС. Ребенок в пределах нормы.

— Слава Богу, кажется, подходит. Позвоню на всякий случай.

Туронок сказал:

— Вот и отлично. Договоритесь, чтобы ребенка назвали Лембитом.

— Генрих францевич, — взмолился я, — кто же назовет своего ребенка Лембитом! Уж очень старомодно. Из фольклора…

— Пусть назовут. Какая им разница?! Лембит хорошо, мужественно и символично звучит… В юбилейном номере это будет смотреться.

— Вы могли бы назвать своего ребенка — Вовой? Или Микулой?

— Не занимайтесь демагогией. Вам дано задание. К среде материал должен быть готов. Откажутся назвать Лембитом — посулите им денег.

— Сколько?

— Рублей двадцать пять. Фотографа я пришлю. Как фамилия новорожденного?

— Кузин. Шестая палата.

— Лембит Кузин. Прекрасно звучит. Действуйте. Я спросил у Теппе:

— Как найти отца?

— А вон. Под окнами сидит на газоне. Я спустился вниз.

— Але, — говорю, — вы Кузин?

— Кузин-то Кузин, — сказал он, — а что толку?!

Видимо, настрой у товарища Кузина был философский.

— Разрешите, — говорю, — вас поздравить. Ваш ребенок оказался 400 000-м жителем нашего города. Сам я из редакции. Хочу написать о вашей семье.

— Чего писать-то?

— Ну, о вашей жизни…

— А что, живем неплохо… Трудимся, как положено… Расширяем свой кругозор… Пользуемся авторитетом…

— Надо бы куда-то зайти, побеседовать.

— В смысле — поддать? — оживился Кузин.

Это был высокий человек с гранитным подбородком и детскими невинными ресницами. Живо поднялся с газона, отряхнул колени.

Мы направились в «Космос», сели у окна. Зал еще не был переполнен.

— Денег — восемь рублей, — сказал Кузин. — плюс живая бутылка отравы.

Он достал из портфеля бутылку кубинского рома. Замаскировал оконной портьерой. — Возь-

мем для понта граммов триста?

— И пива, — говорю, — если холодное…

Мы заказали триста граммов водки, два салата и по котлете.

— Нарезик копченый желаете? — спросил официант.

— Отдохнешь! — реагировал Кузин.

В зале было пустынно. На возвышении расположились четверо музыкантов. Рояль, гитара, контрабас и ударные. Дубовые пюпитры были украшены лирами из жести.

Гитарист украдкой вытер ботинки носовым платком. Затем подошел к микрофону и объявил:

— По заказу наших друзей, вернувшихся из курортного местечка Азалемма…

Он выждал многозначительную паузу.

— Исполняется лирическая песня «Дождик каплет на рыло!..»

Раздался невообразимый грохот, усиленный динамиками. Музыканты что-то выкрикивали хором.

— Знаешь, что такое Азалемма? — развеселился Кузин. — Самый большой лагерный поселок в Эстонии. ИТК, пересылка, БУР… Ну, давай!

Он поднял стакан.

— За тебя! За твоего сына!

— За встречу! И чтоб не последняя…

Две пары отрешенно танцевали между столиками. Официанты в черно-белой униформе напоминали пингвинов.

— По второй? Мы снова выпили. Кузин бегло закусил и начал:

— А как у нас все было — это чистый театр. Я на судомехе работал, жил один. Ну, познакомился с бабой, тоже одинокая. Чтобы уродливая, не скажу — задумчивая. Стала она заходить, типа выстирать, погладить… Сошлись мы на Пасху… Вру, на Покрова… А то после работы — вакуум… Сколько можно нажираться?.. Жили с год примерно… А чего она забеременела, я не понимаю… Лежит, бывало, как треска. Я говорю: «Ты, часом, не уснула?» — «Нет, — говорит, — все слышу». — «Не много же, — говорю, — в тебе пыла». А она: «Вроде бы свет на кухне горит…» — «С чего это ты взяла?» — «А счетчик-то вон как работает…» — «Тебе бы, — говорю, — у него поучиться…» Так и жили с год…

Кузин вытащил из-за портьеры бутылку рома, призывно ее наклонил. Мы снова выпили. Гитарист одернул пиджак и воскликнул:

— По заказу Толика Б., сидящего у двери, ис-

полняется…

Пауза. Затем — с еще большим нажимом:

— Исполняется лирическая песня: «Каким меня ты ядом напоила?..»

— Ты сам женат? — поинтересовался Кузин.

— Был женат.

— А сейчас?

— Сейчас вроде бы нет.

— Дети есть?

— Есть.

— Много?

— Много… Дочь.

— Может, еще образуется?

— Вряд ли…

— Детей жалко. Дети-то не виноваты… Лично я их называю «цветы жизни»… Может, по новой?

— Давай.

— С пивом…

— Естественно…

Я знал, еще три рюмки, и с делами будет покончено. В этом смысле хорошо пить утром. Выпил — и целый день свободен…

— Послушай, — говорю, — назови сына Лембитом.

— Почему же Лембитом? — удивился Кузин. — Мы хотим Володей. Что это такое — Лембит?

— Лембит — это имя.

— А Володя что, не имя?

— Лембит — из фольклора.

— Что значит — фольклор?

— Народное творчество.

— При чем тут народное творчество?! Личного моего сына хочу назвать Володей… Как его, высерка, назвать — это тоже проблема. Меня вот Гришей назвали, а что получилось? Кем я вырос? Алкашом… Уж так бы и назвали — Алкаш… Поехали?

Мы выпили, уже не закусывая.

— Назовешь Володей, — разлагольствовал Кузин, — а получится ханыга. — Многое, конечно, от воспитания зависит…

— Слушай, — говорю, — назови его Лембитом временно. Наш редактор за это капусту обещал. А через месяц переименуешь, когда вы его регистрировать будете…

— Сколько? — поинтересовался Кузин.

— Двадцать пять рублей.

— Две полбанки и закуска. Это если в кабаке.

— Как минимум. Сиди, я позвоню…

Я спустился в автомат. Позвонил в контору. Редактор оказался на месте.

— Генрих Францевич! Все о'кей! Папа — рус-

ский, мать — эстонка. Оба с судомеха…

— Странный у вас голос, — произнес Туронок.

— Это автомат такой… Генрих Францевич, срочно пришлите Хуберта с деньгами.

— С какими еще деньгами?

— В качестве стимула. Чтобы ребенка назвали Лембитом… Отец согласен за двадцать пять рублей. Иначе, говорит, Адольфом назову…

— Довлатов, вы пьяны! — сказал Туронок.

— Ничего подобного.

— Ну, хорошо, разберемся. Материал должен быть готов к среде. Хуберт выезжает через пять минут. Ждите его на Ратушной площади. Он передаст вам ключ…

— Ключ?

— Да. Символический ключ. Ключ счастья. Вручите его отцу… В соответствующей обстановке… Ключ стоит три восемьдесят. Я эту сумму вычту из двадцати пяти рублей.

— Нечестно, — сказал я.

Редактор повесил трубку.

Я поднялся наверх. Кузин дремал, уронив голову на скатерть. Из-под щеки его косо торчало блюдо с хлебом. Я взял Кузина за плечо.

— Але, — говорю, — проснись! Нас Хуберт ждет…

— Что?! — всполошился он, — Хуберт? А ты говорил — Лембит.

— Лембит — это не то. Лембит — это твой сын. Временно…

— Да. У меня родился сын.

— Его зовут Лембит.

— Сначала Лембит, а потом Володя.

— А Хуберт нам деньги везет.

— Деньги есть, — сказал Кузин, — восемь рублей.

— Надо рассчитаться. Где официант?

— Але! Нарезик, где ты? — закричал Кузин.

Возник официант с уныло поджатыми губами.

— Разбита одна тарелка, — заявил он.

— Ага, — сказал Кузин, — это я мордой об стол — трах!

Он смущенно достал из внутреннего кармана черепки.

— И в туалете мимо сделано, — добавил официант, — поаккуратнее надо ходить…

— Вали отсюда, — неожиданно рассердился Кузин, — слышишь? Или я тебе плешь отполирую!

— При исполнении — не советую. Можно и срок получить.

Я сунул официанту деньги.

— Извините, — говорю, — у моего друга сын

родился. Вот он и переживает.

— Поддали — так и ведите себя культурно, — уступил официант.

Мы расплатились и вышли под дождь. Машина Хуберта стояла возле ратуши. Он просигналил и распахнул дверцу. Мы залезли внутрь.

— Вот деньги, — сказал Хуберт, — редактор беспокоится, что ты запьешь…

Я принял у него в темноте бумажки и мелочь… Хуберт протянул мне увесистую коробку.

— А это что?

— «Псковский сувенир».

Я раскрыл коробку. В ней лежал анодированный ключ размером с небольшую балалайку.

— А, — говорю, — ключ счастья!

Я отворил дверцу и бросил ключ в урну. Потом сказал Хуберту:

— Давай выпьем.

— Я же за рулем.

— Оставь машину и пошли.

— Мне еще редактора везти домой.

— Сам доберется, жирный боров…

— Понимаешь, они мне квартиру обещали. Если бы не квартира…

— Живи у меня, — сказал Кузин, — а бабу я в деревню отправлю. На Псковщину, в Усохи. Там

маргарина с лета не видели…

— Мне пора ехать, ребята, — сказал Хуберт…

Мы снова вышли под дождь. Окна ресторана «Астория» призывно сияли. Фонарь выхватывал из темноты разноцветную лужу у двери…

Стоит ли подробно рассказывать о том, что было дальше? Как мой спутник вышел на эстраду и заорал: «Продали Россию!..» А потом ударил швейцара так, что фуражка закатилась в кладовую… И как потом нас забрали в милицию… И как освободили благодаря моему удостоверению… И как я потерял блокнот с записями… А затем и самого Кузина…

Проснулся я у Марины, среди ночи. Бледный сумрак заливал комнату. Невыносимо гулко стучал будильник. Пахло нашатырным спиртом и мокрой одеждой.

Я потрогал набухающую царапину у виска. Марина сидела рядом, грустная и немного осунувшаяся. Она ласково гладила меня по волосам. Гладила и повторяла:

— Бедный мальчик… Бедный мальчик… Бедный мальчик…

С кем это она, думаю, с кем?..

Ерофеев Венедикт
Василий Розанов глазами эксцентрика

1. Я вышел из дома, прихватив с собой три пистолета, один пистолет я сунул за пазуху, второй — тоже за пазуху, третий — не помню куда.

И, выходя в переулок, сказал: «Разве это жизнь? Это не жизнь, это колыхание струй и душевредительство». Божья заповедь «не убий», надо думать, распространяется и на себя самого («Не убий себя, как бы ни было скверно»), но сегодняшняя скверна и сегодняшний день вне заповедей. «Ибо лучше умереть мне, нежели жить», — сказал пророк Иона. По-моему, тоже так.

Дождь моросил отовсюду, а может, ниоткуда не моросил, мне было наплевать. Я пошел в сторону Гагаринской площади, иногда зажмуриваясь и приседая в знак скорби. Душа моя распухла от горечи, я весь от горечи распухал, щемило слева от сердца, справа от сердца тоже щемило. Все мои ближние меня оставили. Кто в этом виноват, они или я, разберется в День Суда Тот, Кто, и так далее. Им просто надоело смеяться над моими

субботами и плакать от моих понедельников. Единственные две-три идеи, что меня чуть-чуть подогревали, тоже исчезли и растворились в пустотах. И в довершение от меня сбежало последнее существо, которое попридержало бы меня на этой Земле. Она уходила — я нагнал ее на лестнице. Я сказал ей: «Не покидай меня, белопупенькая!» — потом плакал полчаса, потом опять нагнал, сказал: «Благословеннолонная, останься!» Она повернулась, плюнула мне в ботинок и ушла навеки.

Я мог бы утопить себя в своих собственных слезах, но у меня не получилось. Я истреблял себя полгода, я бросался под все поезда, но все поезда останавливались, не задевая чресел. И у себя дома. Над головой, я вбил крюк для виселицы, две недели с веточкой флер-д-оранжа в петлице я слонялся по городу в поисках веревки, но так и не нашел. Я делал даже так: я шел в места больших маневров, становился у главной мишени, в меня лупили все орудия всех стран Варшавского пакта, и все снаряды пролетали мимо. Кто бы ты ни был, ты, доставший мне эти три пистолета, — будь ты четырежды благословен.

Еще не доходя площади, я задохся, я опустился на цветочную клумбу, безобразен и безгласен.

Душа все распухала, слезы текли у меня спереди и сзади, я был так смешон и горек, что всем старушкам, что на меня смотрели, давали нюхать капли и хлороформ.

«Вначале осуши пот с лица». Кто умирал потным? Никто потным не умирал. Ты богооставлен, но вспомни что-нибудь освежающее, что-нибудь такое освежающее… например, такое:

Ренан сказал: «Нравственное чувство есть в сознании каждого, и поэтому нет ничего страшного в богооставленности». Изящно сказано. Но это не освежает, где оно у меня, это нравственное чувство? Его у меня нет.

И пламенный Хафиз (пламенный пошляк Хафиз, терпеть не могу), и пламенный Хафиз сказал: «У каждого в глазах своя звезда». А вот у меня ни одной звезды, ни в одном глазу.

А Алексей Маресьев сказал: «У каждого в душе должен быть свой комиссар». А у меня в душе нет своего комиссара. Нет, разве это жизнь? Это не жизнь, это фекальные воды, водоворот из помоев, сокрушение сердца. Мир погружен во тьму и отвергнут Богом.

Не подымаясь с земли, я вынул свои пистолеты, два из подмышек, третий — не помню откуда, и из всех трех разом выстрелил во все свои виски

и опрокинулся на клумбу, с душой, пронзенной навылет.

2. «Разве это жизнь? — сказал я, подымаясь с земли. — Это дуновение ветров, это клубящаяся мгла, это плевок за шиворот — вот что это такое. Ты промазал, фигляр. Зараза немилая, ты промахнулся из всех трех пистолетов, и ни в одном из них больше нет ни одного заряда».

Пена пошла у меня изо рта, а может, не только пена. «Спокойно! У тебя остается еще одно средство, кардинальное средство, любимейшее итальянское блюдо — яды и химикалии». Остается фармацевт Павлик, он живет как раз на Гагаринской, книжник, домосед Павлик, пучеглазая мямля. Не печалься, вечно ты печалишься! Не помню кто, не то Аверинцев, не то Аристотель сказал: «Umnia animalia post coitum opressus est», то есть: «Каждая тварь после соития бывает печальной», — а вот я постоянно печален, и до соития, и после.

А лучший из комсомольцев, Николай Островский, сказал: «Одним глазом я уже ничего не вижу, а другим — лишь очертания любимой женщины». А я не вижу ни одним глазом, и любимая женщина унесла от меня свои очертания.

А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений…»

(Тьфу, я не могу больше говорить, у меня спазмы.) Я дернулся два раза и зашагал дальше, в сторону Гагаринской. Все три пистолета я швырнул в ту сторону, где цвели персидские цикламены, желтофиоли и черт знает что еще.

«Павлик непременно дома, он смешивает яды и химикалии, он готовит средство от бленнореи», — так я подумал и постучал: — Отвори мне, Павлик.

Он отворил, не дрогнув ни одной щекой и не подымая на меня бровей; у него было столько бровей, что хоть часть из них он мог бы на меня поднять, — он этого не сделал.

— Видишь ли, я занят, — сказал он, — я смешиваю яды и химикалии, чтобы приготовить средство от бленнореи.

— О, я ненадолго! Дай мне что-нибудь, Павлик, какую-нибудь цикуту, какого-нибудь стрихнину, дай, тебе же будет хуже, если я околею от разрыва сердца здесь, у тебя на пуфике! — Я взгромоздился к нему на пуфик, я умолял: Цианистый калий есть у тебя? Ацетон? Мышьяк? Глауберова соль? Тащи все сюда, я все смешаю, все выпью, все твои эссенции, все твои калии и мочевины, волоки все! Он ответил: — Не дам.

— Ну прекрасно, прекрасно. В конце концов,

Павлик, что мне твои синильные кислоты, или как там еще? Что мне твои химикалии, мне, кто смешал и выпил все отравы бытия! Что они мне, вкусившему яда Венеры! Я остаюсь разрываться у тебя на пуфике. А ты покуда лечи бленнорею.

А профессор Боткин, между прочим, сказал: «Надо иметь хоть пару гонококков, чтобы заработать себе бленнорею». А у меня, у придурка, — ни одного гонококка.

А Миклухо-Маклай сказал: «Не сделай я чего-нибудь до 30 лет, я ничего не сделал бы и после 30». А я? Что я сделал до 30, чтобы иметь надежды что-нибудь сделать после?

А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений…» (О нет, я снова не могу продолжать, снова спазмы.)

Павлик-фармацевт поднял все свои брови на меня и стал пучеглазым, как в годы юности. Он продолжал вслед за мной:

— А Василий Розанов сказал: «У каждого в жизни есть своя Страстная Неделя». Вот у тебя.

— Вот и у меня, да, да, Павлик, у меня теперь Страстная Неделя, и на ней семь Страстных Пятниц! Как славно! Кто такой, этот Розанов?

Павлик ничего не ответил, он смешивал яды и химикалии и думал о чем-то заветном.

— О чем заветном ты думаешь? — спросил я его; он и на это ничего не ответил, он продолжал думать о заветном. Я взбесился и вскочил с пуфика.

3. Через полчаса, прощаясь с ним в дверях, я сжимал под мышкой три тома Василия Розанова и вбивал бумажную пробку в бутыль с цикутой. — Реакционер он, конечно, закоренелый? — Еще бы!

— И ничего более оголтелого нет? — Нет ничего более оголтелого. — Более махрового, более одиозного — тоже нет? — Махровее и одиознее некуда. Прелесть какая. Мракобес? — «От мозга до костей», — как говорят девочки. — И сгубил свою жизнь во имя религиозных химер?

— Сгубил. Царствие ему небесное. — Душка. Черносотенством, конечно, баловался, погромы и все такое?.. — В какой-то степени — да. — Волшебный человек! Как только у него хватило желчи, и нервов, и досуга? И ни одной мысли за всю жизнь?

— Одни измышления. И то лишь исключительно злопыхательского толка.

— И всю жизнь, и после жизни — никакой известности?

— Никакой известности. Одна небезызвест-

ность. — Да, да, я слышал («Погоди, Павлик, я сейчас иду»), я слышал еще в ранней юности от нашей наставницы Софии Соломоновны Гордо: об этой ватаге ренегатов, об этом гнусном комплоте: Николай Греч, Николай Бердяев, Михаил Катков, Константин Победоносцев, «простер совиные крыла», Дев Шестов, Дмитрий Мережковский, Фаддей Булгарин, «не та беда, что ты поляк», Константин Леонтьев, Алексей Суворин, Виктор Буренин, «по Невскому бежит собака», Сергей Булгаков и еще целая куча мародеров. Об этом созвездии обскурантов, излучающем темный и пагубный свет, Павлик, я уже слышал от моей наставницы Софии Соломоновны Гордо. Я имею понятие об этой банде.

— Славная женщина, София Соломоновна Гордо, относительно «банды» я не спорю. Это привычно и не оскорбляет слуха, не уроки, не бутыль с цикутой, а вот «созвездие» оскорбляет слух, и никудышно, и неточно, и Иоганн Кеплер сказал: «Всякое созвездие ни больше ни меньше как случайная компания звезд, ничего общего не имеющих ни по строению, ни по значению, ни по размерам, ни по досягаемости».

— Ну, это я, допустим, тоже знаю, я слышал об этом от нашей классной наставницы

Белы Борисовны Савнер, женщины с дивным… («Погоди, Павлик, я сейчас иду»). Значит, по-твоему, чиновник Василий Розанов перещеголял их всех своим душегубством, обскакал и заткнул за пояс? — Решительно всех. — И переплюнул? И переплюнул.

— Людоед. А как он все-таки умер? Как умер этот кровопийца? В двух словах, и я ухожу.

— Умер, как следует. Обратился в истинную веру часа за полтора до кончины. Успел исповедаться и принять причастие. Ты слишком досконален, паразит, спокойной ночи. — Спокойной ночи.

Я раскланялся, поблагодарил за цикуту и книжки, еще три раза дернулся и вышел вон.

4. Сначала отхлебнуть цикуты и потом почитать? Или сначала почитать, а потом отхлебнуть цикуты? Нет, сначала все-таки почитать, а потом отхлебнуть. Я развернул наугад и начал с середины (так всегда начинают, если имеют в руках чтиво высокой пробы). И вот что это была за середина:

«Книга должна быть дорогой, и первое свидетельство любви к ней готовность ее купить. Книгу не надо „давать читать“. Книга, которую „давали читать“, — развратница. Она нечто поте-

ряла от духа своего и чистоты своей. Читальни и публичные библиотеки — суть публичные места, развращающие народ, как и дома терпимости».

Вот ведь сволочь какая. Впрочем, нет, через несколько страниц, где уже речь шла не о развратницах книгах, а просто о развратницах:

«Можно дозволить очищенный вид проституции для „вдовствующих замужних“, то есть для разряда женщин, которые не способны к единобрачию, не способны к правде, высоте и крепости единобрачия».

Следом началась забавная галиматья о совместимости христианских принципов с «развратными ложеснами» и о том, что христианство, если только оно желает устоять в соперничестве с иудаизмом, должно хотя бы отчасти стать фаллическим. Голова моя стала набухать чем-то нехорошим, я встал и просверлил по дыре в каждой из четырех стен, для сквозняков. И потом повалился на канапе и продолжал: «Бог мой, Вечность моя, отчего Ты дал столько печали мне?» «Томится моя душа. Томится страшным томлением. Утро мое без света. Ночь моя без сна». У обскуранта — и вдруг томится душа? «Есть ли жалость в мире? Красота — да, смысл — да. Но жалость?» «Звезды жалеют ли? Мать жалеет, и да

будет она выше звезд». «Грубы люди, ужасающе грубы — и даже поэтому одному, или главным образом поэтому — и боль в жизни, столько боли». «О, как мои слабые нервы выдерживают такую гигантскую долю раздражения!»

(Нет, с этим «душегубом» очень даже есть о чем говорить, мне давно не попадалось существо, с которым до такой степени было бы «о чем говорить».)

«Только горе открывает нам великое и святое». Боль, всепредметная, беспричинная и почти непрерывная. Мне кажется, с болью я родился. Состояние иногда до того тяжело, что еще бы утяжелить — и уже нельзя жить, «состав не выдержит». «Я не хочу истины, я хочу покоя». «О, мои грустные опыты! И зачем я захотел все знать?»

«Я только смеюсь или плачу. Размышляю ли я в собственном смысле? Никогда».

«Грусть — моя вечная гостья». «Смех не может никого убить, смех придавить только может». «Терпение одолевает всякий смех». «Смеяться — вообще недостойная вещь, низшая категория человеческой души. Смех от Калибека, а не от Ариэля».

«Он плакал. И только слезам он открыт. Кто никогда не плачет, никогда не увидит Христа».

«Христос — это слезы человечества». «Боже вечный, стой около меня, никогда от меня не отходи».

(Вот-вот! Маресьев и Кеплер, Аристотель и Боткин говорили совсем не то, а этот говорит то самое. Коллежский советник Василий Розанов, пишущий сочинения, Шопенгауэр и София Гордо, Хафиз и Миклухо-Маклай несли унылую дичь, и душа восставала, а здесь душа не восстает. И не восстанет теперь, с чем бы она ни имела дела — с парадоксом или прописью.)

«Русское хвастовство и русская лень, собравшиеся перевернуть мир, — вот революция». «Она имеет два измерения — длину и ширину, но не имеет третьего глубины». «Революция — когда человек преобразуется в свинью, бьет посуду, гадит хлев, зажигает дом». «Самолюбие и злоба — из этого смешана вся революция».

И о декабристах, о моих возлюбленных декабристах:

> И пишут, пишут историю этой буффонады. И мемуары, и всякие павлиньи перья. И Некрасов с «Русскими женщинами».

И о Николае Чернышевском (о том, кто призван был, страдалец, «царям напомнить о Христе»):

«Понимаете ли вы, что цивилизация — это не Боклишко с Дарвинишком, не Спенсеришко в двадцати томах, не ваш Николай Гаврилович, все эти лапти и онучи русского просвещения, которым всем давно надо дать под зад?» «Понимаете ли вы отсюда, что Спенсеришку-то надо было драть за уши, а Николаю Гавриловичу дать по морде, как навонявшему в комнате конюху? Что никаких с ними разговоров нельзя было водить? Что просто следовало вывести за руку, как из-за стола выводят господ, которые, вместо того чтобы кушать, начинают вонять». (Как это может страдалец — вонять?) И о графе Толстом:

В особенности не люблю Толстого и Соловьева. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызывает большее движение души, чем их «философия и публицистика». Эта раздавленная собака, пожалуй, кое-что объясняет. В них (в Толстом и Соловьеве) не было абсолютно никакой «раздавленности», напротив, сами они весьма и

весьма давили.

И о Максиме Горьком (по-моему, все-таки о Максиме Горьком):

«Все что-то где-то ловит, в какой-то мутной водице, какую-то самолюбивую рыбку. Но больше срывается, и насадка плохая, и крючок туп. Но не унывает. И опять закидывает».

И об «основателе политического пустозвонства в России» Александре Герцене.

«За всю его жизнь — ни одного натурального и высокого помысла — только бы накопить денежку или прочитать кому-нибудь рацею. Он, будучи гимназистом, матери в письмах диктовал рацеи. И все его душевные движения — без всякой страсти, медленные и тягучие. Словно гад ползет».

Вот на этом ползучем гаде я уснул на рассвете, в обнимку с моим ретроградом. Вначале уснула духовная сторона моего существа, следом за ней и бренная тоже уснула.

5. И когда духовная проснулась, бренная еще спала. Но мой ретроград проснулся раньше их всех, и мне, если бы я не был уже знаком с ним, показалось бы, что он ведет себя диковинно.

Вначале, плеснув себе воды в лицо, он пропел «Боже, царя храни», пропел нечисто и неумело,

но вложил в это больше сердца и натуральности, чем все подданные Российской империи вместе взятые со времен злополучной Ходынки. Потом расцеловал всех детей на свете и пешком отправился в церковь. Стоя среди молящихся, он смахивал то на оценщика-иностранца, то на «демона, боязливо хватающегося за крест», то на Абадонну, только что выползшего из своей бездны, то еще на что-то такое, в чем много пристрастия, но трудно определить, какого рода это пристрастие и во что оно обходится этому Абадонне. (А я все лежал на канапе и наблюдал.) Выйдя на паперть, он подал двум нищим, а остальным, всмотревшись в них, почему-то не подал. За что-то поблагодарил Клейнмихеля, походя дал пощечину Желябову, прослезился и сказал квартальному надзирателю, что в мире нет ничего святее полицейских функций.

Потом поежился. Обойдя сзади шеренгу социалистов и народовольцев, ущипнул за ягодицы «кавалерственную даму» Веру Фигнер (она глазом не повела), а всем остальным вдумчиво роздал по подзатыльнику. («О шельма!» — сказал я, путаясь в восторгах.)

А он между тем, влепив последний подзатыльник, нахмурился и пошел ко мне в избу с кучей

старинных монет в кармане. Покуда он вынимал, вертел в руках и дул на каждую монетку, я тихо приподнялся с канапе и шепотом спросил:

— Неужели это интересно — дуть на каждую монетку? А он сказал мне: Чертовски интересно, попробуй-ка сам. А почему ты дрыхнешь до сих пор? Тебе скверно — или ты всю ночь путался с блядьми?

— Путался, и даже с тремя. Мне дали вчера их почитать, потому что мне вчера было скверно. «Книга, которую дали читать…» — и так далее. Нет, сегодня мне чуть получше. А вот вчера мне было плохо до того, что депутаты горсовета, которые на меня глядели, посыпали головы пеплом, раздирали одежды и перепоясывались вретишем. А старушкам, что на меня глядели, давали нюхать…

Меня прорвало, я на память пересказал весь свой вчерашний день, от пистолетов до ползучего гада. И тут он пришелся мне уж совсем по вкусу, мой гость-нумизмат: его прорвало тоже. Он наговорил мне общих мест о кощунстве самоистребления, потом что-то о душах, «сплетенных из грязи, нежности и грусти», и о «стыдливых натурах, обращающих в веселый фарс свои глубокие надсады», о Шернвале в Гринберге, об Амвросии

Оптинском, о тайных пафосах еврея, о половых загадках Гоголя и Бог весть еще о чем.

Баламут с тончайшим сердцем, ипохондрик, мизантроп, грубиян, весь сотворенный из нервов, без примесей, он заводил пасквильности, чуть речь заходила о том, перед чем мы привыкли благоговеть, — и раздавал панегирики всем, над кем мы глумились, — и все это с идеальной систематичностью мышления и полным отсутствием системы в изложении, с озлобленной сосредоточенностью, с нежностью, настоянной на черной желчи, и с «метафизическим цинизмом».

Не зная, чем еще высказать свои восторги (не восклицать же снова: «О шельма!»), я пересел на стул, предоставив ему свалиться на мое канапе. И в трех тысячах слов рассказал ему о том, чего он знать не мог: о Днепрогэсе и Риббентропе, Освенциме и Осоавиахиме, об истреблении инфантов в Екатеринбурге, об упорствуюших и обновленцах (туг он попросил подробнее, но я подробнее не знал), о Павлике Морозове и о зарезавшем его кулаке Данилке.

Это его раздавило, он почернел и опустился. И только потом опять заговорил: об искривлении путей человеческих, о своем грехе против человека, но не против Бога в Церкви, о гефсиманском

поте и врожденной вине.

А я ему — тоже о врожденной вине и посмертных реабилитациях, о Пекине и кизлярских пастбищах, о Таймыре и Нюрнберге, об отсутствии всех гарантий и всех смыслов.

— Когда израильтяне ездили на юг, к измаильтянам, они все, что имели, меняли на бальзамические смолы. А мы — что мы обменяем на бальзамические смолы, если поедем на юг, к измаильтянам? Клятва, гарантия, порука, залог что найти взамен этому всему? Чем клясться, за кого поручиться и где хоть один залог? Вот даже старец Даван, во всем изверившийся, клялся дочерьми, не зная, что еще можно избрать предметом? А есть ли у кого-нибудь из нас во всей России хоть одна дочь? А если есть, сможем ли мы поклясться дочерьми?..

Любивший дочерей мой собеседник высморкался и сказал: «Изрядно».

6. И тут меня вырвало целым шквалом черных и дураковатых фраз:

— Все переменилось у нас, ото «всего» не осталось ни слова, ни вздоха. Все балаганные паяцы, мистики, горлопаны, фокусники, невротики, звездочеты — все как-то поразбрелись по заграницам, еще до твоей кончины. Или, уже после

твоей кончины, у себя дома в России поперемерли-поперевешались. И, наверное, слава Богу. Остались умные, простые, честные и работящие. Говна нет и не пахнет им, остались бриллианты и изумруды. Я один только — пахну. Ну и еще несколько отшепенцев — пахнут…

Мы живем скоротечно и глупо, они живут долго и умно. Не успев родиться, мы уже подыхаем. А они, мерзавцы, долголетни и пребудут вовеки. Жид почему-то вечен.

Кощей почему-то бессмертен. Всякая их идея непреходяща, им должно расти, а нам умаляться. Прометей не для нас, паразитов, украл огонь с Олимпа, он украл огонь для них, для мерзавцев…

— О, не продолжай, — сказал мне на это Розанов, — и перестань нести околесицу…

— Если я замолчу и перестану нести околесицу, — отвечал я, — тогда заговорят камни. И начнут нести околесицу. Да. Я высморкался и продолжал: Они в полном неведении. «Чудовищное неведение Эдипа», только совсем наоборот. Эдип прирезал отца и женился на матери по неведению, он не знал, что это его отец и его мать, он не стал бы этого делать, если бы знал. А у них — нет, у них не так. Они женятся на матерях и режут отцов, не ведая, что это по меньшей мере

некрасиво.

И знал бы ты, какие они все крепыши, все теперешние русские. Никто в России не боится щекотки, я один только во всей России хохочу, когда меня щекочут. Я сам щекотал трех девок и с десяток мужиков — никто не отозвался ни ужимкой, ни смехом. Я ребром ладони лупил им всем под коленку — никаких сухожильных рефлексов. Зрачки на свет, правда, реагируют, но слабо. Ни у кого ни одного камня в почках, никакой дрожи в членах, ни истомы в сердце, ни белка в моче. Из всех людей моего поколения одного только меня не взяли в Красную Армию, и то только потому, что у меня была изжога и на спине два пупырышка…

(«Хохо! — сказал собеседник. — Отменно».) — И вот меня терзает эта контрастность между ними и мною. «Прирожденные идиоты плачут, — говорил Дарвин, — но кретины никогда не проливают слез». Значит, они кретины, а я прирожденный идиот.

Вернее, нет, мы разнимся, как слеза идиота и улыбка кретина, как понос и запор, как моя легкая придурь и их глубокая припизднутость (сто тысяч извинений). Они лишили меня вдоха и выдоха, страхи обложили мне душу со всех сто-

рон, я ничего от них не жду, вернее, опять же нет, я жду от них сказочных зверств и несказанного хамства, это будет вот-вот, с востока это начнется или с запада, но это будет вот-вот.

И когда начнется — я уйду, сразу и без раздумья уйду, у меня есть опыт в этом, у меня под рукою яд, благодарение Богу. Уйду, чтобы не видеть безумия сынов человеческих…

Все это проговорил я, давясь от слез. А проговорив, откинулся на спинку стула, заморгал и затрясся. Собеседник мой наблюдал за мной с минуту, а потом сказал:

7. — Не терзайся, приятель, зачем терзаться? Перестань трястись, импульсивный ты человек! У самого у тебя каждый день штук тридцать вольных грехов, штук сто тридцать невольных, позаботься вначале о них. Тебе ли сетовать на грехи мира и тягчить себя ими? Прежде займись своими собственными. Во всеобщем «безумии сынов человеческих» есть место и для твоей (как ты сладостно выразился?) «припизднутости». «Мир вечно тревожен и тем живет». И даже напротив того: «Мы часто бываем неправдивы: чтобы не „причинять друг другу излишней боли“» Он же постоянно правдив. Благо тебе, если ты увидишь Его и прибегнешь. Путь к почитанию Креста, по

существу, только начинается. Вот: много ли ты прожил, приятель? А — совсем ничтожный срок, а ведь со времени Распятия прошло всего шестьдесят таких промежуточков. Все было недавно. «И оставь свои выспренности», все еще только начинается.

Пусть говорят, что дом молитвы, обращенный в вертеп разбойников, не сделаешь заново домом молитвы. «Но нежная идея переживет железные идеи. Порвутся рельсы. Сломаются машины. А что человеку плачется при одной угрозе вечной разлуки — это никогда не порвется и не истощится». «Следует бросить железо — оно паутина — и поверить в нужную идею». «Истинное железо — слезы, вздохи и тоска. Истинное, что никогда не разрушится, — одно благородное».

Он много еще говорил, но уже не так хорошо и не так охотно. И зыбко, как утренний туман, приподнялся с канапе и, как утренний туман, заколыхался, а потом сказал еще несколько лучших слов — о вздохе, корыте и свиньях — и исчез, как утренний туман.

Прекрасно сказано: «Все только начинается!» Нет, я не о том, я не о себе, у меня-то все началось давно, и не с Василия Розанова, он только распалил во мне надежду. У меня началось еще лет

десять до того — все влитое в меня с отроческих лет плескалось внутри меня, как помои, переполняло чрево и душу и просилось вон — оставалось прибечь к самому проверенному из средств: изблевать это все посредством двух пальцев. Одним из этих пальцев стал Новый Завет, другим — российская поэзия, то есть вся русская поэзия от Гаврилы Державина до Марины (Марины, пишущей «Беда» с большой буквы).

Мне стало легче. Но долго после того я был расслаблен и бледен. Высшие функции мозга затухали оттого, что деятельно был возбужден один только кусочек мозгов — рвотный центр продолговатого мозга. Нужно было что-то укрепляющее, и вот этот нумизмат меня укрепил — в тот день, когда я был расслаблен и бледен сверх всяких пределов.

Он исполнил функцию боснийского студента, всадившего пулю в эрцгерцога Франца Фердинанда. До него было скопление причин, но оно так и осталось бы скоплением причин. С него, собственно, не началось ничего, все только разрешилось, но без него, убийцы эрцгерцога, собственно, ничего бы и не началось.

Если б он теперь спросил меня: — Ты чувствуешь, как твоя поганая душа понемногу

тентезируется? Я ответил бы:

— Чувствую. Тентезируется. И ответил бы иначе, чем еще позавчера бы ответил. Я прежде говорил голосом глуповатым и жалким, голосом, в котором были только звон и блеянье, блеянье заблудшей овцы и звон потерянной драхмы вперемешку. Теперь я уже знал кое-что о миссионерстве новых образцов и готов был следовать им, если б даже меня об этом не просили. «Неумело» благотворить и «по пустякам» анафемствовать.

Прекрасно сказано: «Люди, почему вы не следуете нежным идеям?» Это напоминает вопрос какого-то британца к вождю калимантанских каннибалов: «Сэр, почему вы кушаете своих жен?» Я не знаю лучшего миссионера, чем повалявшийся на моем канапе Василий Розанов.

Да, что он там сказал, уходя? О вздохе, о свиньях? «Вздох богаче царства, богаче Ротшильда. Вздох — всемирная история, начало ее и вечная жизнь». Мы святые, а они — корректные. К вздоху Бог придет. К нам — придет. Но скажите, пожалуйста, неужели же Бог придет к корректному человеку? У нас есть вздох. У них — нет вздоха.

И тогда я понял, где корыто и свиньи.

8. А где терновый венец, и гвозди, и мука. И ес-

ли придется, я защищу это все как сумею. А если станут мне говорить, что Розанов был трусоват в сфере повседневности, я, во-первых, скажу, что это враки, что ведь кроме того, что мы знаем, мы не знаем ровно ничего. Но если это и в самом деле так, можно отбояриться каким-нибудь убогим каламбуром, вроде того, например, что трусость — это хорошо, трусость позитивна и основывается на глубоком знании вещей и, следовательно, опасении их. А всякая отвага — по существу — негативное качество, заключающееся в отсутствии трусости. И балбес тот, кто будет утверждать обратное.

Если мне скажут: случалось, он подличал в мелочах, иногда склонялся к ренегатству и при кажущейся незыблемости принципов он, по собственному признанию, «менял убеждения, как перчатки», уверяя при этом, что за каждой изменой следует возрождение, — если мне это скажут, я им отвечу в их же манере: все это декларации человека, что жаловался и на собственный «фетишизм мелочей» и кому (может быть, даже единственному в России) ни одна мелочь ни разу не застила глаз.

Да, этот человек ни разу за всю жизнь не прикинулся добродетельным, между тем как

прикидывались все. А за огненную добродетель можно простить вялый порок. Чтобы избежать приговоров пуристов, надо, чтобы сам порок был лишен всякой экстремы. Чтобы избавиться от упреков разных мозгоебателей вроде принца Гамлета, королеве Гертруде, прежде чем идти под венец, надо было просто успеть доносить свои башмаки. Искупитель был во всем искушен, кроме греха. Мы же не можем быть искушены во всех грехах — чтобы знать им цену и суметь отвратиться от них от всех.

Можно быть причастным мелкой лжи, можно быть поднаторевшим в пустяшной неправедности — пусть — это как прививка от оспы — это избавляет от той, гигантской лжи (все дурни знаю, о чем я говорю).

А если скажут мне бабы, что выглядел он прескверно, что нос его был мясист, а маленькие глаза постоянно блуждали и дурно пахло изо рта, и все такое, — я им, за…кам, отвечу так: «Ну так что же, что постоянно блуждали? Честного человека только по этому признаку и можно отличить: у него глаза бегают. Значит, человек совестлив и не способен на крупноплановое хамство. У масштабных преступников глаза не шевелятся, у лучшей части моих знакомых бега-

ют. У Бонапарта глаза не шевелились. А Розанов сказал, что откусил бы голову Бонапарту, если б встретил его где-нибудь. Ну как может пахнуть изо рта человека, кто хоть мысленно откусил башку у Бонапарта?»..

Он не был ни замкнут, ни свиреп, пусть не плетут вздора те, кто знает, что в мире нет ничего шуточного (а он знал это лучше всех), — эти люди веселы и добры, и он поэтому был веселее всех и добрей. Только легкомысленные люди замкнуты и свирепы.

А если (гадость какая!), а если заговорят о пресловутых «эротических нездоровьях» Розанова, — тут нечего и возражать. Тому, у кого в душе, от юности до смерти, прочно стоял монастырь — отчего бы и не позабавиться иногда языческими кунсштюками, если б это, допустим, и в самом деле были только кунсштюки и забавы?

И почему бы не позволить экскурсы в сексуальную патологию тому, в чьем сердце неизменной оставалась Пречистая Дева? Ни малейшего ущерба ни для Розанова, ни для Пречистой Девы.

Ему надо воздвигнуть монумент, что бы там ни говорили. Ему надо воздвигнуть три монумента: на родине, в Петербурге и в Москве. Если мне будут напоминать, что сам покойник настаивал:

«Достойный человека памятник только один — земляная могила и деревянный крест, а монумента заслуживает только собака», — я им скажу, дуракам, что если и в самом деле на что-нибудь годятся монументы, то исключительно только для напоминания о том, кто, по зависящим или не зависящим от нас причинам, незаслуженно ускользнул из нашей памяти. Антону Чехову в Ялте вовсе незачем ставить памятник, там и без того его знает каждая собака. А вот Антону Деникину в Воронеже — следовало бы — каждая тамошняя собака его забыла, а надо, чтобы помнила каждая собака.

9. Короче, так. Этот гнусный, ядовитый старикашка, он — нет, он не дал мне полного снадобья от нравственных немощей, — но спас мне честь и дыхание (ни больше ни меньше — честь и дыхание).

Все тридцать шесть его сочинений, от самых пухлых до самых крохотных, вонзились мне в душу и теперь торчали в ней, как торчат три дюжины стрел в пузе святого Себастьяна.

И я пошел из дома в ту ночь, набросив на себя что-то вроде салопа, с книгами под мышкой. В такой вот поздний час никто не набрасывает на себя салопов и не идет из дома к друзьям — фар-

мацевтам с шовинистами под мышкой. А я вот вышел — в путь, пока еще ничем не озаренный, кроме тусклых созвездий. Чередовались знаки Зодиака, и я вздохнул, так глубоко вздохнул, что чуть не вывихнул все, что имею. А вздохнув, сказал:

«Плевать на Миклухо-Маклая, что бы он там ни молол. До тридцати лет, после тридцати лет — какая разница? Ну что, допустим, сделал в мои годы император Нерон? Ровно ничего не сделал. Он успел, правда, отрубить башку у брата своего, Британика. Но основное было впереди: он еще не изнасиловал ни одной из своих племянниц, не поджигал Рима с четырех сторон и еще не задушил свою маму атласной подушкой. Вот и у меня тоже — все впереди!

Хо-хо, пускай мы всего-навсего говно собачье, а они брильянты, начхать! Я знаю, какие они брильянты. И каких они еще навытворяют дел, более паскуднейших, чем натворили, — и это тоже знаю! Опали им гортань и душу. Творец, они не заметят даже, что ты опалил им гортань и душу, все равно опали!»

Вот-вот! Вот что для них годится, я вспомнил: старинная формула отречения и проклятия. «Да будьте вы прокляты в вашем доме и в вашей по-

стели, во сне и в дороге, в разговоре и в молчании. Да будут прокляты все ваши чувства: зрение, слух, обоняние, вкус и все тело ваше от темени до подошвы ног!» («Прелестная формула!»)

Да будьте вы прокляты на пути в свой дом и на пути из дома, в лесах и на горах, со щитом и на щите, на кровати и под кроватью, в панталонах и без панталон! Горе вам, если вам, что ни день, омерзительно! Если вам, что ни день, хорошо — горе вам!

(Если хорошо — четырежды горе!) В вашей грамоте и в вашей безграмотности, во всех науках ваших и во всех словесностях, — будьте прокляты!. На ложе любви и в залах заседаний, на толчках и за пюпитрами, после смерти и до зачатия будьте прокляты. Да будет так. Аминь.

Впрочем, если вы согласитесь на такое условие: мы драгоценных вас будем пестовать, а вы нас — лелеять, если вы готовы растаять в лучах моего добра, как в лучах Ярилы растаяла эта проблядь Снегурочка, — если согласны, я снимаю с вас все проклятия. Меньше было бы заботы о том, что станется с моей Землей, если б вы согласились. Ну да разве вас уломаешь, ублюдков? Итак, проклятие остается в силе. Пускай вы изумруды, а мы наоборот. Вы прейдете, надо полагать, а мы

пребудем. Изумруды канут на самое дно, а мы поплывем, в меру полые, в меру вонючие, — мы поплывем.

Я смахивал, вот сейчас, на оболтусов рыцарей, выходящих от Петра Пустынника, доверху набитых всякой всячиной, с прочищенными мозгами и с лицом, обращенным в сторону Гроба Господня. Чередовались знаки Зодиака. Созвездия круговращались и мерцали. И я спросил их: «Созвездия, ну хоть теперь-то вот вы благосклонны ко мне?» — «Благосклонны», — ответили созвездия.

1973

Попов Валерий
Любовь тигра

Я выскочил из лифта с ключом наперевес и в ужасе застыл: двери не было! Вернее — она была мощным ударом вбита внутрь и безвольно висела, припав к двери ванной. Я бросился ее поднимать, как человека, потерявшего сознание. Она прогнулась в моих руках, как женщина: чей-то молодецкий удар сделал ее гибкой.

— Так… видать, грабанули! Хорошо хоть, не гробанули!

Пол в прихожей был усыпан известкой, влетевшей вместе с дверью. Оставляя белые следы, я быстро вошел в кабинет, со скрипом вытянул ящик стола… Бумажник лежал наверху, распластав крылья, как раненая птица… так ли я его оставлял? Дрожащей рукой я распахнул его… Деньги на месте. Ффу!

Я медленно опустился на стул, утер запястьем лоб, потом слегка уже насмешливо оглянулся на выбитую дверь: что ж это за гости меня посетили, не сообразившие, где деньги лежат?

Я уже не спеша пошел на кухню. Так и есть:

фанерная дверка возле умывальника была зверски выдрана, в полутьме маячили ржавые трубы и вентили, вокруг валялись клочья пеньки. Ну ясно: опять прорвало этот проклятый вентиль, хлынула вода, и водопроводчики, ненавидящие воду больше всего на свете, таким вот образом выразили свою ярость: надо было перекрыть воду, а они заодно еще и разгромили квартиру. Я открыл кран — вода булькнула перекрученной струйкой и иссякла. Все ясно! И ничего не докажешь и не объяснишь: можно только, если есть желание, обменяться несколькими ударами по лицу, но такого желания у меня не было.

Вздыхая, я собрал с пола мусор и отнес его в мусоропровод — благо доступ к нему теперь был свободен, дверь не мешала. Потом я сел к телефону — благо он остался цел и невредим, и позвонил своему деловому другу.

— Ясно… тут тебе нужен Фил! — проговорил мой друг.

— Фил?.. Что-то такое помню… — Ну… тогда еще… вместе с Крохой ходил! — Но они, вроде… тогда еще… вместе и загремели? — Ну да — и он все Крохины дела на себя взял — у Крохи уже сын тогда был! — Мгм…

— Да сейчас он уже крепко стоит — зам. по кал-

строительству одного крупного объединения!.. Да он отлично помнит тебя; недавно керосинили с ним — он все расспрашивал! Все тебе сделает.

Заманчиво, конечно, сделать «все» — но какой ценой?

— А больше… никого у тебя нет? — поинтересовался я.

— У меня есть кто угодно, — усмехнулся друг. — И скрипачи, и оперативники, и даже могильщики… но сейчас тебе нужен именно Фил! — Ладно… диктуй координаты, — сломался я.

В приемной стоял стол с машинкой, за ним сидела роскошная блондинка с горделивой прической… такая могла сидеть в приемной любой конторы… впрочем, без удивления я встречал теперь таких и среди учителей, и в учреждениях, управляющих искусством… название места в наши дни не имеет решающего значения: дело в возможностях — не так существенно, в какой сфере.

— Простите, нельзя ли вас попросить… — начал я. — Нельзя, — мгновенно отрезала она. — Но…будьте все же так любезны… — настаивал я. — Я буду вам любезна в другом месте! — произнесла она грубую, но довольно таинственную фразу и, резко встав, с треском вывинтила из

машинки лист и, покачивая бедрами, пошла к главной двери.

Я втиснулся вслед за ней. В большой пустоватой комнате сидел человек с бледным покатым лбом, заканчивающимся на затылке седым пушком. Вдруг на лице его, сильно выдвинутом вперед, появилась улыбка — полумесяц из железных зубов.

— Ну что, зверюга, — и ты наконец обо мне вспомнил? — ласково-сипло проговорил он.

Я решительно не помнил его — сколько всего за последние годы произошло! но он, видно, все помнил ясно… говорят, что у людей, находящихся там, память консервируется — им все ярче и милее представляются все подробности жизни их дотюремного существования. Такой же дорогой подробностью оказался, видно, и я.

— Ну, здорово… — не совсем уверенно поприветствовал я его.

— Помнишь, как у Боба ураганили с тобой? — улыбка его стала еще шире. Да-а… нехорош ты стал… но джазмен джазмена через полвека узнает! — Ну! воскликнул я.

Его я, честно, не помнил, но «ураганы» у Боба — как можно их забывать? Отличное было времечко — ужо лет тридцать тому назад, когда мы все вместе играли джаз и называли друг друга на

заграничный манер: Ник, Фред, Боб. Все исчезло, развеялось, в хозяева жизни вышли совсем другие люди… но что делать? Хотя бы ностальгия теперь связывает нас!

— Ну ты знаешь, конечно, — доверительно-тихо проговорил он, — Вэл снова сел, Джата уехал…

Я почувствовал ностальгическую связь и с севшим Взлом, и уехавшим Джатой, хотя, конкретно, не помнил их.

— А за тобой я давно слежу, — имея в виду, очевидно, мои литературные опыты, произнес Фил, растроганно глядя мне в глаза. — Да ну… ерунда! — я смущенно отмахнулся. Спрашивать, «как он?» — я пока что стеснялся, во-первых, при его трудной жизни вопрос может быть неприятным, во-вторых — он может тут усечь намек на дела, с которыми я к нему пришел.

Мы, не отрываясь, смотрели друг на друга — наверное, от долгого напряжения глаза наши стали слезиться.

— Может, Филипп Клементьич, вы все же взглянете на бумаги? — ревниво произнесла секретарша.

— Да не тренди ты — видишь, друг пришел! — отмахнулся он.

Он явно досадовал на присутствие здесь челове-

ка из чуждого нам поколения и даже — чуждого пола. Но она решила, видно, что если — Друг, так и не стоит с ним церемониться!

— Слушай, Фил, ты совсем, что ли, озверел? — она глянула на часики. — Нам полчаса уже у Зойки надо быть!

— ...Тафайте, тафайте! — Фил холодно, даже несколько враждебно помахал ей ручкой.

— Разорвать бы тебя на части и выбросить! — резко проговорила она и, повернувшись, направилась к выходу.

Такой накал чувств — тем более из-за меня — несколько смущал.

— Ко мне можно пойти, — неожиданно для себя пробормотал я.

Она, повернувшись, застыла у двери, но не глядела ни на меня, ни на него, а в сторону окна.

Фил, словно не слыша моей последней реплики, продолжал с застывшей улыбкой смотреть на меня. Немая эта сцена тянулась довольно долго, потом он вдруг медленно пошел к вешалке в углу, надел плоскую клетчатую кепочку, которая как бы еще крепче вдавила его огромную птичью голову в грудь, потом он надел длинный черный плащ и направился к выходу. Мы в некоторой растерянности следили за ним... видимо, сле-

довало считать, что мое приглашение принято: объяснять что-то дополнительно он считал явно излишним.

На улице я сделал движение к винному магазину. — Взять что-нибудь?

— Ну возьми конины, что ли? — небрежно проговорил он.

…«конины»? Это значит — коньяка?.. Да — круто начинается это дело, но хорошо, что хоть как-то начинается!

От моей выбитой двери он почему-то пришел в полное восхищение.

— Вот так вот, Ирина Евгеньевна, настоящие люди живут! — поучающе обратился он к подруге. — Не то что вы, нынешние жлобы, понаставили дверей!

Она презрительно дернула плечом… Черт! — вряд ли после этого она особенно будет меня любить, а от женщин на практике зависит довольно много.

Фил вошел в мою пустую, слегка ободранную квартиру (давно я собирался сделать ремонт!): и то ли изумленно, то ли восхищенно покачал головой.

— Вот так вот! — снова обратился он к Ирише. — Никаких тебе стенок-гарнитуров, ковров

и прочей лабуды! У людей все дела здесь! — он шлепнул себя по бледному покатому лбу.

— Мне как раз не очень нравится моя квартира, — слегка смущенный таким успехом, проговорил я. — Она такая не специально у меня. А дверь вообще только сегодня, наверное, выбита или вчера…

— Ясно? — он снова строго обратился к ней. — Человек даже не знает, сколько дней без двери живет! — Для него я был дорогим воспоминанием о давних, святых временах бескорыстной дружбы. В глазах Ирины я явно становился все большим идиотом, но в оценке Фила все поднимался, — во всяком случае, на время отдыха.

Он взялся за ручку ванной, но я с испугом удержал его:

— Постой… там, понимаешь… раковина разбита!

Дело в том, что мне на день рождения один приятель подарил пузырек английского одеколона, и это проклятое орудие империализма, выскользнув у меня из рук, стукнулось о раковину. С ужасом я зажмурился… услышал треск… все, накрылся подарочек! Когда я наконец решился разожмуриться, изумлению моему не было предела — пузырек лежал целый и невредимый,

раковина же была расколота на крупные куски!

Я рассказал это Филу — он посмотрел на меня со снисходительной усмешкой:

— Ну ладно — ты лучше историю эту в какой-нибудь рассказ свой вставь, а мне мозги не пудри — я все же инженер!

Я давно уже замечал, что люди, сами живущие по фантастическим законам, от искусства требуют строгости и поучительности — так же и мой друг.

— Ну хорошо! — я вытащил на середину комнаты мой «журнальный столик» старый, испорченный приемник, расставил рюмочки.

— Ну, у тебя кайф, — усмехнулся Фил. — Как в монгольской юрте.

— Ну прям уж! — непонятно обидевшись, сказала Ирина, словно она всю жизнь провела в монгольской юрте и знает ее.

— К ним входишь, — не реагируя на ее реплику, продолжил Фил, — на стенах юрты полки, и на каждой стоит наш старый ламповый приемник «Рекорд»! Батарейки кончаются — монгол едет в улус, везет новый приемник!

Он явно предпочитал, чтобы истории звучали его, а не чьи-то другие.

— Ну прям уж! — проговорила Ирина. — На

кухню, — приказал ей Фил. Ирина, взмахнув хвостом, ушла, куда ее послали. — А когда ж ты… в Монголии был? пытаясь нащупать основные вехи его бурной жизни, вскользь спросил я.

— Ну как… — спокойно ответил Фил. — Оттрубил, потом в Сибири работал — я же строитель! — а потом в Монголии, прорабом уже.

— Да… неслабо! — восхищенно произнес я. — Так сколько же тебе? — я пригляделся к его выдвинутому вперед, словно обсыпанному мукой, лицу.

— А сколько дадите? — он гордо-шутливо задрал над плечом свой наполеоновский профиль, застыл с дурацкой важностью, как мраморный бюст. Ну… давай! — мы торжественно выпили. — Мне про тебя первая еще Полинка сказала — помнишь Полинку? — мол, есть такой замечательный человек! развоспоминался он.

Полинка! Ну как же можно не помнить Полинку — мою первую, самую отчаянную любовь! — А ты… откуда с ней? — ревниво воскликнул я. — Сахадка! — он пошевелил в воздухе пальцами. — Так мы же с ней до второго курса вместе учились!

— С Полиной? — воскликнул я. Тут я вдруг увидел, что он склонился к моему столику-при-

емнику и, покряхтывая, снял заднюю картонную стенку.

— Да не надо! — со страстью, совершенно несоответствующей предмету, воскликнул я, — не надо!

Я отодвинул приемник: — Давно уже не работает — Бог с ним!

— Дадно… так и ходи! — сурово произнес Фил свою любимую, видно, присказку, властно отстранил меня, засунул свою маленькую белую ручку внутрь, по очереди покачал лампы в гнездах, потом воткнул вилку в сеть, нажал клавишу… сочный, ритмичный джаз потряс мою душу, и стекла, и стены!

— Потрясающе! Как это ты? — …Сахадка! — усмехнулся он. Единственное, что смущало меня, что он по-прежнему игнорировал даму — видно, вымещал ей за какой-то прокол — но сколько же можно?! Вот она гордо появилась из кухни с подносом, холодно расставила чашки, разлила чай.

— Смотрите — пар танцует под музыку! — воскликнул я, но они продолжали держаться отчужденно.

— Ребяты! — обнимая их за шеи, воскликнул я (в одной руке плескалась рюмка с коньяком). — Ну, не ссорьтесь — я вас прошу! Так хорошо все, ей

Богу! — Я стал сдвигать их головы, они с натугой сдвинулись…

Проснулся я почему-то в кабинете, на диване, абсолютно одетый. Окно было настежь распахнуто, и высоко-высоко в небе параллельно шли два невидимых самолетика, оставляя белую пушистую «лыжню».

Потом вдруг явно у меня в квартире! — бухнула дверь. Прошел холодный сквознячок, осушая мгновенно выступивший едкий пот на лбу. Вдруг стали приближаться быстрые, дребезжащие шаги. Сердце испуганно оступилось. Я попытался подняться, но почувствовал такую слабость и тошноту, что снова сполз.

Кто ж это ходит по моей квартире?.. Так у меня и двери же нет! — с ужасом вспомнил я. Сколько же там человек? — я напряженно прислушался… один? Шаги продребезжали на кухню, послышалось сипенье крана. Странный грабитель — решил побаловаться чайком! — я усмехнулся, и сразу же голову стянула боль. Потом вдруг шаги стремительно приблизились. Сердце остановилось.

Дверь кабинета со скрипом поехала… Я героически поднялся навстречу опасности. В щель просунулся серебристогрязный надувной сапог,

потом колено в изжелтевших джинсах, потом поднос с чашками и наконец, сияя железом зубов и лучась глазками, знакомая голова. Со стоном я рухнул обратно.

— Ну ты, зверюга беспартийная! — ласково просипел он. — Жив еще? Сейчас врежем чайку!

— Чайку? — пробулькал я. — А кофе нельзя? Там… кофе с молоком в банке было.

— А кофе с молотком ты не хочешь? — оскалился он. — Ты вчера так тут ураганил! Удивительно, что стены стоят! — …Я?

— Ну, а кто — я, что ли?.. Всем девчонкам по четвертаку!

— Как — «девчонкам»? — Я снова упал. — Не помнишь? — он усмехнулся. — Ну, так и ходи!.. Ничего — я в свое время тоже ураганил, как зверь! Всю Сибирь заблевал, пока пить выучился. Но нам, строителям, без этого дела ни шагу!

На кухне засвистел чайник, и он, развернувшись, ушел туда. С колотящимся сердцем я кинулся к столу, выдвинул ящик — бумажник лежал сверху — вывернутый, пустой… Снова нашла слабость. Услышав приближающиеся шаги, я торопливо задвинул ящик.

— Ну ты, зверюга, — появляясь с чайником, произнес Фил. — Подниматься собираешься,

нет? Придерживаясь за стенку, я сел. — Скажи, — сделав мизерный хлебок чая, решился я. — А ты случайно деньги мои из ящика не брал? Некоторое время он неподвижно смотрел на меня. — Взял! — сурово сказал он. — Ты так ураганил вчера, что все бы приговорил!

— Да понимешь вот… на ремонт копил, — я обвел рукой обшарпанные стены.

— Ладно — сделаю я тебе ремонт! — хмуро произнес он. — Что я могу уж — то могу. Что не могу — говорю сразу! Сделаем в один удар. Я так хочу тебе сделать, как недавно в Москве у одного видал.

— А во что… это встанет? — хоть таким хитрым образом я попытался выведать, сколько моих денег у моего сурового друга.

— Что ты дергаешься, как вор на ярмарке?! — рявкнул он. — Не бойся — на тебе не поднимусь! Без тебя есть на чем подняться, а уж на друзьях — последнее дело! — презрительно проговорил он.

Пот тек с меня ручьем. Получалось, я допускал мысль о такой гнусной возможности — подниматься на друзьях!

С тревогой я чувствовал: он почему-то усиленно внушает идею о старинной нашей дружбе; о неразлучной компании, все входящие в которую

до сих пор связаны святыми узами… Зачем-то это нужно ему… или просто для самоподъема? — …Да — и раковину бы, раковину! — вскричал я. — …Ты как японец — все кроишь! — презрительно произнес Фил.

Действительно, стыдно: человек с дружбой, а я с сантехникой! Позор!

— А скажи… очень плохо я себя вчера вел? — от весьма мучительной темы я перешел к другой, менее мучительной.

— Что значит — плохо? — сурово сказал Фил. — Как хотел, так себя и вел! Ты ж дома у себя, а не у тещи в гостях!

— Правильно! — воскликнул я, резко поднимаясь. Тут стукнула дверь — из ванной в моем халате выплыла королева, роскошным движением закинула влажные волосы за плечо, уселась с нами.

— У Фила что нехорошо? — уже доверительно, как к своему, обратилась она ко мне. — Друзей никого нет — всех презирает! Теперь хоть, слава Богу…..Кто?! — испуганным взглядом спросил я. — Как — кто? Ты же, дурачок! ласковой улыбкой ответила Ирина.

— Вам бы, Ирина Евгеньевна, на рабочем месте давно пора быть! — прохрипел Фил.

— Алкаш ты чумовой! — она, как на пружине, оскорбленно вскочила, мгновенно оделась, подошла к двери, вернее, к месту отсутствия ее. — Ну, ты об этом пожалеешь! — мстительно проговорила она. — Так и ходи! — рубанув ладошкой, произнес Фил. Ирина выскочила. Для чего я тратился, покупал коньяк, отравляя себя, — если все кончилось еще хуже, чем начиналось?!

Фил даже не глянул в сторону выхода, сидел абсолютно неподвижно, потом медленной, шаркающей походкой подошел к телефону, набрал номер.

— Здравствуйте, — отрывисто произнес он, потом долго слушал какой-то крикливый голос, не умещающийся в трубке. — ...Какие-то хадости вы говорите... — брезгливо произнес он, двумя пальцами положил трубку.

Уже фактически забыв обо мне, он хмуро наматывал шарф.

— Ты в контору сейчас? — поинтересовался я. Он долго мрачно смотрел на меня. — Пойдем, если не противно, — усмехнулся он, пожав плечом. Как это мне может быть противно?! Мы пешком двинулись к его управлению... словно полководцам, приближающимся к линии фронта, нам все чаще попадались следы сражения: разбитые

дома, костры, перевернутые фуры. Какие-то люди подбегали к нам и что-то кричали. Фил шел медленно, опустив свой наполеоновский профиль, не реагируя.

По мосткам над канавой мы вошли в сырой колодец-двор разрушенного дома без стекол, дверей и перекрытий. Откуда-то издалека шли звонкие удары. Во втором дворе, возле маленького двухэтажного флигелька, где пахло гнилью оставленного без крыши помещения, из раскрытой канализационной канавы, я увидел зрелище, поразившее меня в самое сердце. Небритый человек в берете и землистой робе огромной кувалдой разбивал белые фаянсовые раковины. Он ставил раковину вверх дном и звонким ударом разносил ее на крупные куски. Рядом уже была высокая груда черепков. Молотобоец швырнул туда вновь полученные осколки, подтянул к себе новую раковину в упаковке, ломиком отодрал доски, поставил раковину в позицию и нанес зверский удар. Это совершенно необъяснимое, на мой взгляд, занятие Фила, наоборот, совершенно не удивило. Он сухо кивнул молотобойцу и, пружиня мостками над канавой, вошел во флигель.

— Детсадик тут делаем! — счел нужным объяснить он.

Молотобоец шел за нами, скребя молотком по земле.

На каком-то сооружении, похожем на покосившуюся столовскую раздачу, стоял черный мутный телефон.

— Завтра пойдешь к нему! — прижав трубку ухом к плечу, Фил кивнул на меня и стал щелкать диском, набирая цифры. Молотобоец не среагировал. И Фил, что характерно, моего адреса не назвал. Может, он считает, что я так популярен, что адрес не Нужен?

— Аппликациями все обклеить хотим, — обводя рукой голые стены, произнес молотобоец.

— Лучше, — облигациями, — продолжая накручивать диск, усмехнулся Фил.

Молотобоец побрел обратно, и скоро опять послышались зверские удары, Фил снова накручивал диск. Я вдруг почувствовал, что причина всех наших блужданий в том, что Филу просто неохота появляться у себя на рабочем месте, где уже ждут, свернувшись, как змеи, груды надоевших проблем, а также несколько новых, заботливо приготовленных Иришкой.

Брякнув трубкой, Фил двинулся прочь. Я, как верный секундант, следовал за ним. Фил все больше мрачнел — видно, какие-то мысли все

крепче одолевали его.

— Тысячу рам привезли, и все кривые! — с каким-то торжеством прокаркал бросившийся к Филу тип в плетеном строительном шлеме. — Так и ходите! прохрипел Фил. Вестник, явно ликуя, удалился. Живительное это свойство, которое, наверно, можно встретить только у нас: упоение масштабами разрухи. Поразительное злорадство, обращенное на себя, — пусть нам хуже, а все равно приятно! Что твои пятьсот миллионов! Тьфу! Вот у нас строили комбинат девятьсот миллионов коту под хвост! — рассказчик застывает в мрачном упоении, а собеседник буквально дрожит от нетерпения, чтобы выпалить данные об убытках гораздо более мощных! Да — трудно при таких настроениях быть созидателем! Мы вошли в контору.

— Филиппа Клементьича нет!.. Понятия не имею! — звонко-торжествуюше чеканила Ирина, и торжество ее было понятно: да, мол, нет уважаемого начальника на рабочем месте, и где он находится, неизвестно — вряд ли по делу!

Когда мы приблизились, Ирина вскрывала почту и, нетерпеливо вспоров большой конверт с каким-то официальным грифом, быстро прочла бумагу, мстительно-удовлетворенно произнесла

«мгм» и тут увидела нас. Фил молча и неподвижно смотрел на нее, она же поднимала голову все более независимо и надменно: Господи, на что уходят силы!

Повернувшись, мы пошли по коридору — как сквозь строй: вдоль стен почему-то стояли женщины, причем исключительно с детьми, и ели нас глазами, как врагов.

— Дружок его, — услышал я сзади зловещий шепот. — С ним все средства и просаживают!

Я невольно дернулся. Мое какое-то слишком стремительное восхождение до ближайших друзей Фила несколько смущало меня. Сам шел молча, не реагируя. Ира, с полученным письмом в руке, скромно шла сзади. У самых дверей кабинета, положив руки на папку из кожзаменителя, сидел милиционер — судя по очкам с выпуклыми стеклами, из ОБХСС. С ним Фил поздоровался, но крайне сухо и зайти не пригласил.

— Еще в апреле должен был детсадик сдать, а у него там конь еще не валялся, знай только керосинит со своими друзьями! — видимо, не в первый уже раз, но сейчас специально для нас прокричала здоровенная бабища с усами.

Отрубив гвалт тяжелой, обитой дверью, мы вошли в кабинет.

Фил медленно прошаркал к своему столу, мрачно сел. Ирина торжествующей, почти танцующей походкой подошла к столу и пришлепнула свежеполученную депешу прямо перед носом шефа — видно, в ней содержалась какая-то крепкая плюха моему другу! Да, видно, он немного пережал, и победительная его наглость, всегда приносившая ему успех, наконец вызвала бунт особенно страшный — женский; когда дело касается детишек, детсадика, тут тигрицы обретают невиданную отвагу!

Дверь со скрипом отворилась, и за ней показалась группа, опять же состоящая в основном из женщин, но с агрессивным старичком во главе.

— Комиссию вы вызывали? — обратился старичок к Ирине.

Ирина с некоторой опаской глянула на Фила, но потом надменно проговорила: — Я!

Фил с ослепительной железной улыбкой поднялся из-за стола и направился к ним, как бы желая прямо на пороге обнять долгожданных гостей. Дойдя до двери, он взялся за ручку и яростно захлопнул дверь прямо перед носом комиссии. Комиссия, что интересно, больше не возникала — видно, с ходу направилась в вышестоящие инстанции.

— Спасибо, Ирина Евгеньевна! — усмехнулся Фил. — За мной не пропадет!

Ириша, оставшись без поддержки, чуть дрогнула, но заговорила еще более надменно:

— Скажите, Филипп Клементьич — а когда будут материалы для детского садика? — …Сегодня, — безжизненно обронил Фил. — Вы уже полгода говорите сегодня! — Я сказал — сегодня, — еще более безжизненно произнес он.

Он медленно застегнулся — плащ он так и не снял — и уверенно двинулся к двери. Я неуверенно двинулся за ним… Видно, наступит когда-то этап, когда он займется и моими делами?

Баб в коридоре уже не было: видимо, вслед за комиссией умчались в верха. Остался только недвижный милиционер. — До свидания, — сказал ему Фил. Не оборачиваясь, Фил (и я за ним) вышли прочь. У подъезда стоял синенький пикапчик. Из задней дверцы высунулся знакомый молотобоец. — Я нужен, Филипп Клементьич?

— Кому ты нужен? — мрачно пошутил Фил. Молотобоец оскалился. Фил, сгорбившись, полез внутрь. Я тоже забрался… Наверное, на этом пути мне не светит ничего, но на других-то — тем более!

— Куда, Филипп Клементьич? — оборачива-

ясь, с переднего сиденья спросил шофер. — На склад, — веско обронил Фил. — М-м! — радостно-удивленно произнес шофер и захрустел рычагами. Видно, эта поездка была радостной неожиданностью, я смутно чувствовал, что происходящее как-то связано со мной, но как именно не мог сообразить.

— Филипп Клементьич! — вежливо обратился к шефу молотобоец. — Японец звонил, завтра бой заберет, но ему нужно целых восемьдесят тонн! — Так делай! — яростно рявкнул Фил. Я вроде бы разгадал эту хитрую шараду: какой-то японец, как это теперь модно, скупает у нас всяческий бой и строймусор — и Фил со своими помощничками усердно поставляет его. Я только испугался: Фил с его неукротимым упорством превратит в строймусор все окружающее!

Примерно так оно и выходило. По обеим сторонам дороги шла абсолютно разоренная жизнь: разрушенные дома, какие-то задранные кверху ржавые конструкции — ну просто мечта японца, любителя утиля!

Вот мелькнул красивый, отдельно стоящий дом — может быть, в прошлом даже вилла — сейчас у нее не было стекол и крыши, а на крыльце красовался транспарант: «Опасная зона». Что значит

«опасная»? Кто сделал бывшую зону комфорта и отдыха опасной? Для чего? Для того, чтобы скрыть от глаз все, что там происходит?

— Да… Надеюсь… с японцем этим… официально все сделано? — выйдя из задумчивости, проговорил я.

— А наш шеф не любит официально! — проговорил молотобоец и гулко захохотал. — Сниму с пробега! — сурово оборвал его Фил. Мы зарулили в какой-то глухой двор. Спустились по лесенке под ржавым навесом к двери, обитой светлой жестью. Фил морзянкой застучал по звонку. Дверь тяжело отъехала, и мы вошли в подземелье. Тут было все: импортные газовые плиты, во тьме маняще белела сантехника, на грубо сколоченных стеллажах сверкали целлофановой оберткой невиданные обои. Был ли у этого подземелья другой вход, официальный? Очень сомневаюсь. Нас встретила тучная женщина в халате. — Ну что, все худеешь? дружески прохрипел Фил. Они похохотали, потом скрылись в конторке, пошуршали какими-то бумагами, потом вышли, и Фил сказал: — Грузите!

Сам он, что характерно, не грузил, дружески зубоскалил с хозяйкой — но и это, наверное, тоже важная деятельность, может быть, даже самая

важная?

Мы погрузили восемь раковин, четыре унитаза, шесть рулонов линолеума, двадцать рулонов обоев, десять пачек дефицитного клея. Тут было много такого, что бы нужно было мне, — но никакого обнадеживающего намека я не получил. Более того (и это очень встревожило меня), во время прощания хозяйка подошла ко мне и сказала с признательностью:

— Ну, спасибо вам, хоть детишкам садик теперь будет!

Странно!.. При чем здесь я? Что она хочет этим сказать? Ведь, надеюсь, все это сделано по безналичному, или как это там? А вдруг, черт возьми, по безналичному для них — но наличному для меня — за мои денежки? Я яростно глядел на Фила, но он сидел абсолютно непроницаемый.

Неужто я, кроме других глупостей в жизни, сделался еще и спонсором чем-то это слово было мне неприятно.

Раковины ездили по кузову, били по ногам — я принципиально убирал ноги: не такой уж я друг детей, чтоб ради них еще и ноги ломать!

С какой-то незнакомой стороны мы неожиданно въехали в знакомый двор и остановились у флигелька, в котором, надо понимать, скоро

зазвенят звонкие детские голоса. Я вылез из кузова и увидел, что засада переместилась сюда: туг были и исстрадавшиеся женщины с детьми, и члены комиссии во главе со старичком, и с виду неподвижный обэхээсник, который, однако, как в известной сказке про ежика, оказался туг раньше нас.

Фил молча, не реагируя, вылез из пикапчика, потом мы стали вытаскивать наши богатства и, пружиня мостками над канавой, как волжские грузчики, понесли груз в помещение.

Гвалт, поднявшийся в толпе, по мере все новых и новых наших ходок менялся со злобно-презрительного на восторженный. Первым ко мне (когда я стоял, тяжело отдыхиваясь) подошел обэхээсник:

— Спасибо вам! Вы настоящий друг! — он стиснул мою руку, сел в свой зеленый, как кузнечик, «Москвич» и с облегчением умчался. Я был в растерянности… чей я друг?.. Детей? И тут хлынули женщины.

— Ну, спасибо вам… хоть один хороший человек! Может, я и хороший человек — но как они-то об этом догадались? — Федя! Дай дяденьке конфетку!

Федя, поколебавшись, залез в ротик и протянул

мне обсосанный леденец. Я, растрогавшись, взял, положил в карман. Радостно гомоня, женщины со старичком во главе покинули двор. Было ясно, что в их жизни произошло нечто радостное и неожиданное, во что они уже не верили и устали ждать.

Фил деловито ходил над привезенным и записывал в блокнот.

— За что это… все меня благодарят? — спросил я его.

— Да это все лабуда! Мы тебе финское зарядим! — уходя от прямого ответа, Фил презрительно махнул на привезенные изделия рукой.

— А разве это… не по безналичному куплено? — все яснее понимая горемычную свою судьбину, поинтересовался я.

— По безналичному ты себе… и гроба не купишь! — уже победно усмехнулся Фил. — Тут нужен счет по капстроительству, а зверюги эти открыли по капремонту — приходится кроить! — Он слегка виновато взял меня за рукав.

— А все это… разве нельзя было… за валюту купить… которую вам японец дает?

— Валюта наверх вся уходит! — прохрипел Фил. — Зверюги эти уважают валютку! — А зачем… им давать?

Фил, чувствуя уже полную моральную победу, улыбнулся совсем широко.

— Ты говоришь — зачем? А ты думаешь, они хоть одну бумажку тебе подпишут просто так?

— Ну, неужели ничего на свете уже нельзя по-честному делать?

— По-честному? — Фил оскалился, чувствовалось, я его своими наивными вопросами довел наконец.

— По-честному хочешь? Тогда бери! На твои деньги все куплено! — Он, тяжело дыша, стал вдруг швырять прямо в грязную лужу передо мной рулоны сверкающих обоев, раковины, унитазы, один раскололся: — Бери!.. Детишки обождут!

— …Да ладно уж… — вздохнул я. — Валеркиин! — он радостно сделал «козу». — Да не дергайся ты, как вор на ярмарке! — Он перешел на суровый дружеский тон: — Все финское поставим тебе, сделаем в один удар!

…Да, здорово они раскалывают меня, как говорится, «в один удар»! Моментально, главное, вычисляют, на лету! Порой даже на огромном расстоянии! Помню, прошлой весной мне позвонил режиссер аж из Ташкента! — и с комплиментами и уверениями пригласил приехать для соверше-

ния, как он сказал, «одной деликатной миссии». Наслышанный о восточном гостеприимстве и к тому же находясь на нуле, я тут же приехал. Миссия, действительно, оказалась весьма деликатная — я должен был написать сценарий уже снятого фильма! То есть они три года снимали трехсерийный фильм — не имея сценария, рассчитывая, что «сообразят на ходу», и так досоображались, что в конце концов сами перестали понимать, что сняли! Кроме того, все эти годы, они, видимо, очень неплохо жили — фильм, без всякой на то суровой необходимости, снимался на Черном море, в кадре было бешеное количество красивых баб, никоим образом не связанных с сюжетом, которого, кстати, и не было… Теперь на этом режиссере висело несколько миллионов, а предъявить что-нибудь связное худсовету он не мог. Неприятности светили ему крупные — и спасти его мог только я! И тут он абсолютно был прав — ни в одном из городов нашей необъятной страны такого идиота не нашлось — пришлось выписывать из далекого Питера! Я в ужасе просмотрел показанный мне материал… кто-то — абсолютно неизвестно кто входил в какие-то роскошные комнаты, выходил, танцевали какие-то пары… причем — ничего нельзя было ни доснимать, ни

выкидывать — делать надо было из этого, разве что меняя порядок эпизодов и придумывая слова под снятую мимику. Не скрою, такая сверхсуровая проверка моего воображения возбудила меня. Два месяца я сидел в плохоньком номере, оскорбляемый горничными, абсолютно, кстати, не сталкиваясь ни с каким восточным гостеприимством, — и в конце концов сложил из этой мозаики довольно складную картину — я был доволен и горд. В день моего отлета растроганный режиссер сообщил мне, что, к сожалению, сберкасса в этот день закрыта, поэтому он, увы, не может дать мне обещанных денег. «Так, может быть, мне остаться?» — уже обреченно, уже все поняв, пробормотал я. «Зачем? — возмущенно закричал он. — Ты прилетишь — деньги будут уже лежать! Телеграфом пошлю!» Думаю, не надо объяснять, что деньги еще идут. Но — надо отдать должное ташкенцу — он хоть моих денег не отбирал, как Фил! А в принципе все удивительно повторяется — какой характер, такая и жизнь! И если мир делится на две части — на обманщиков и обманутых, то мне все равно как-то приятней быть среди вторых!

— …товарищ таракой, — вывел меня из прострации говорок Фила. — Фсе рапотаете, рапотаете,

надо и отдыхать! — Он манил меня из пикапа. — Да нет, я пойду… Я уже как-то устал отдыхал. — Да встряхнемся давай. К Ирише заедем. Хочу с ней крепко потолковать — пора на уши ее поставить. — Не надо! — Я метнулся в пикапчик.

— В контору! — захлопывая за мной дверь, скомандовал Фил.

Снова нас мотало на поворотах. Я как-то боялся, что отдых с Филом окажется еще тяжелей, чем работа. Фил гнусавил под нос лихой джаз, время от времени дружелюбно подмигивая мне, — он был абсолютно уверен, что купил мою привязанность навсегда (причем, что характерно, за мои же деньги!).

Мы подъехали к конторе, стали вылезать. Все как раз дружными толпами выходили на обед.

— Мадам что-то не видать! — сказал Филу молотобоец.

— Видимо, говеет! — усмехнулся Фил. Уйти?.. Но мне кажется — когда я с ним, что-то все же сдерживает его!

И тут появилась наша Ирина — она шла с гордо поднятой головой, игнорируя нас. Рядом с ней крутился какой-то чернявый парень на высоких каблуках. Фил стоял неподвижно, глядя в землю, и у меня мелькнула безумная надежда, что он не

видит ее. Но по той абсолютной неподвижности, с которой он стоял, было ясно, что он видел. Взяв себя в руки, она хотела было проплыть мимо, но в последний момент сломалась и резко подошла.

— Филипп Клементьич, я вам зачем-либо срочно нужна? — подчеркнуто официально проговорила она.

Он продолжал стоять абсолютно молча и неподвижно. Ситуация явно становилась напряженной. Это молчание и неподвижность пугали даже больше, чем шум и скандал. Проходящие мимо стали умолкать, останавливаться, с изумлением смотреть.

— Русланчик! Подожди меня, я сейчас! — ласково сказала она своему спутнику, несколько демонстративно прикоснувшись к его плечу.

Русланчик сделал несколько шагов и, не оборачиваясь, стоял. — Ну? прошипела она.

— На рабочее место, пожалуйста, — безжизненно проговорил Фил, указав рукой.

Ирина довольно явственно выругалась и, повернувшись, пошла в контору. Фил, абсолютно без всякого выражения на лице, шаркая надувными пимами, медленно прошел в свой кабинет, уселся за стол. Ирина, явно куражась, с блокнотом и ручкой подошла к нему. Фил молчал, не

обращая на нее никакого внимания.

— Может быть, я все-таки могу пойти пообедать? — наконец, не выдержав, проговорила она.

— Будешь выступать — сниму с пробега! — еле слышно проговорил Фил.

— А что я такого сделала? — уже явно сдаваясь, проговорила она.

— Слушай, ты… Если бы не этот… слишком нежный паренек, — он кивнул на меня, — я бы сказал тебе — что!

«Ну что ж — хоть в качестве „нежного паренька“ пригодился!» — подумал я.

Открылась дверь, и появился взъерошенный Русланчик.

— Иди, Русланчик, у нас с Филиппом Клементьичем важные дела! — капризно проговорила Ирина.

— О! — привстав, радостно завопил Фил. — Вот кто сбегает нам за водкой! Пришлите червончик, — вскользь сказал он мне.

С какой это стати я должен оплачивать его дурь?.. Но я не мог больше видеть стоящего как столб Руслана — и протянул последний червонец.

— Ну вы даете, Филипп Клементьич! — вдруг расплылся в улыбке Руслан и, топоча, выбежал.

— Коз-зел! — вслед ему презрительно произнес Фил.

— А ты — человеческий поросенок! — кокетливо ударяя его карандашом по носу, проговорила Ирина.

Вскоре вбежал запыхавшийся Руслан, радостно отдал бутылку шефу. Шеф зубами сорвал жестяную крышку, сплюнул, разлил по стаканам. — Я не буду, — сказал я, но он не среагировал. — Филипп Клементьич, — деликатно прихлебнув водки, произнес Руслан. — У меня к вам производственный вопрос!

— Ты бы лучше о них на производстве думал! — усмехнулся Фил. — Но можно? Ну?

— Мы сейчас дом отдыха по новой технологии мажем.. — Знаю, представь…

— Ну — многие отдыхающие от краски отекают, их рвет… одному даже скорую вызывали… — Это их личное дело. Дальше. — …Так мазать? — Тебя конкретно не тошнит? — Да нет… я уж как-то привык… — Так иди и работай!

С ним все ясно. Там, где нормальный человек засовестился бы, заколебался, задергался, — этот рубит с плеча: «Так иди и работай!» И все проблемы, которые других бы свели с ума, — им решаются с ходу, «в один удар». С ним ясно. За это

его и держат на высоком посту, и будут держать, сколько бы нареканий на него ни поступало, — именно за то, что он сделает все — даже то, чего делать нельзя! Появился молотобоец.

— Филипп Клементьич… — он столкнулся со мной взглядом и слегка запнулся. — Так делать… для японца? — Он смотрел то на Фила, то на меня. — Иди и работай! — хрипло произнес Фил. Молотобоец вышел.

Вскоре послышались звонкие удары — рушилось мое состояние. Фил был мрачен и невозмутим.

Ну все — я вроде был больше не нужен. Круг на моих глазах четко замкнулся. С чего начиналось все — с разбивания раковин — к этому и пришло. По пути я сумел успокоить Фила, матерей с детишками, обэхээсника, теперь обрадую ненасытного японца, а что я сам немного расстроился — это несущественно!

— Швыряло давай! — Фил кивнул на Иркин стакан.

— Поросенок! — она игриво плеснула в него остатками водки.

Больше я находиться здесь не мог. И даже как «нежный паренек» я уже абсолютно не нужен: нежность и так хлестала туг через край! — Чао! —

я двинулся к выходу. Фил даже не повернулся в мою сторону. Может, ему был безразличен мой уход? Но тогда, наверное, он бы рассеянно кивнул мне вслед и даже бросил какую-то малозначащую фразу — но в этой полной его неподвижности, абсолютном безмолвии читалась огромная трагедия, неслыханное оскорбление!.. Он ввел меня в святая святых, распахнул душу (пусть не совсем стерильную), раскрыл методы работы (пусть не совсем идеальные) — а я свысока плюнул на все это и ушел. Как говорится: такое смывается только кровью! Ириша четко уловила состояние шефа.

— Конечно, когда не о его делах речь — ему неинтересно! — бросила она мне вслед.

Как это — речь не о моих делах? Ведь именно мои раковины сейчас в угоду японцу звонко разлетаются вдребезги! Парадокс в том, что Фил отдает их японцу, а если бы я отнял их — я отнял бы их у детей! Но — хватит! Еще помогать матерям с детишками я хоть со скрипом, но согласен, но поднимать своими скромными средствами и без того высокий уровень японской промышленности — пардон! Я взялся за дверь.

— Да куда он денется? — хлестнула меня на выходе вскользь брошенная реплика Фила…Как это

— куда денусь?! Да хоть куда! Я вышел на улицу, в слепящий день. Водитель пикапа бибикнул мне. Я подошел. — Садись, подвезу!

— Денег нет! — я сокрушенно развел руками. Опричники Фила мне тоже были как-то ни к чему. — Да садись! — горячо сказал водитель. Я понял, что это зачем-то нужно ему, и сел. Поехали. — А если шеф позовет?

— А! Он сейчас с места не стронется, будет пить до посинения — но зато на посту! Вечером — другое дело — вози его! — А куда — вечером-то?1

— По ресторанам — куда же еще? Сперва объедем, всех зверей соберем, а после в кабак. Но все — мне это надоело уже: столик в салоне я отвинтил, — он кивнул назад, на пустое пространство между креслами. — Тут у меня они пить больше не будут! Сказал, что крепления не держат! Они нешто разберутся? И убрал. А то сиди, жди их, пока они с кабака выберутся, а потом заберутся сюда и на столик все вынимают из сумок! Раньше двух ночи домой не прихожу — жена уже разговаривать перестала. И главное: хоть что-то бы имел, хоть раз бы угостили бы чем, предложили — попробуй. Я, может, тоже хочу рыбкой красненькой или икрой дочку угостить… Никогда! Сожрут, выпьют все, расшвыряют — «Вези!» После каж-

дого еще до дому волоки! Все — распивочная закрыта! — Он снова кивнул назад. — И с кем… он тут? — поинтересовался я. — С кем? Понятно с кем — у кого все в руках! А им такой, как Фил, позарез нужен: при случае и посадить можно, а потом вытащить! Исполкомовские, да еще покруче кто. Вот уж действительно — нагляделся я на них в упор: свиньи свиньями! Нажрутся до усеру, да еще баб норовят затащить! — Он сплюнул.

— А те раковины, что вы оплатили. Гриня наш расфуячил уже, японцам отдадут — те из них какой-то редкоземельный элемент берут. А нашим — плевать! Но у меня тут больше они пить не будут — конец! Мы свернули.

— А жена дочку в садик через весь город таскает, к ее заводу, трехлетку в полшестого приходится поднимать! А детсада нашего — как десять лет не было, так нет и сейчас… Дай им волю — они все разнесут!«…так уже дали им волю», — подумал я. — И в общежитии нашем до сих пор раковин нет на третьем-четвертом этажах! — И у меня нет раковины! — вспомнил я. — И у тебя нет? — он обернулся…

Ремонт, который сделали мне ребята, встал мне ровно вдвое дешевле той суммы, которую у меня взял и не собирался, видимо, возвращать мой в

буквальном смысле драгоценный друг.

Хоть мы теперь и не виделись с ним, я, как ни странно все четче видел его. Водитель Николай, появляясь у меня по делам ремонта, каждый раз рычал, что опять до глубокой ночи развозил пьяных клиентов. Все они, и особенно рьяно Фил, требовали обязательной доставки их домой, в каком бы состоянии они ни находились. Дом, оказывается, для них — это святое!.. Выходит — тогда, заночевав у меня, Фил сделал редкое исключение?.. Как трогательно! По словам Коли, дома у Фила был полный порядок: квартира отлично отделана, три сына — спортсмены, красотка жена. Значит, дом его держит на плаву, там он отдыхает душой!.. но я как-то не верю, что жизнь можно поделить перегОролкой на два совершенно разных куска.

…Сейчас он исчез, как бы смертельно обидевшись, что я бросил его, пренебрег его духовной жизнью (если можно назвать духовной жизнью то, что происходило тогда в конторе)… Одновременно, как бы вспылив из-за обиды, можно было и не отдавать и деньги… очень удобно! Но главное тут, несомненно, его оскорбленная душа! Мол — как только мои корыстные интересы не подтвердились, я тут же немедленно ушел, наплевав

на узы товарищества. Примерно так он объясняет это себе… Версия, конечно, весьма хлипкая, и чтобы Филу поверить самому, что все рухнуло из-за поруганной дружбы, а не из-за украденных денег, ему все время приходится держать себя в состоянии агрессивной истерики: все сволочи, зверюги, к ним с открытой душой, а они!.. Жить в таком состоянии нелегко — я сочувствовал ему.

Только в невероятном напряге, раскалив до полного ослепления все чувства, можно проделывать такие безобразные операции, как он проделал со мной, и при этом считать себя правым и даже оскорбленным! Легко ли! И все для того, чтобы потом в грязном пикапчике глушить с крепкими ребятами водку, снова накаляя себя до состояния правоты?

Ежегодное преодоление непреодолимого, перепрыгивание всех устоев, может, и позволяет ему чувствовать себя человеком исключительным… но к чему это ведет? Может — и мелькнуло в день нашей встречи с ним что-то светлое — и туг же было разбито вдребезги, как раковина. Окупится ли?

А теперь ему особенно нелегко. Раньше он имел хотя бы утешение — марать меня — мол, знаем мы этих идеалистов… но теперь и этого (как сто-

лика в пикапчике) он лишен.

Казалось бы, при его образе жизни всякого рода переживания давно должны были исчезнуть — но он явно не был уверен, что взял надо мною верх, и фанатично продолжал разыскивать доказательства своего морального (или аморального) превосходства.

Одним из таких доказательств должен был быть довольно поздний его звонок, примерно через полгода после того, как мы расстались.

— Слушай, ты! — прохрипел он, даже без тени былой теплоты, словно я все эти месяцы непрерывно оскорблял его (а я действительно, наверное, его оскорблял, даже не пытаясь требовать с него деньги, ясно давая понять, что с такого и требовать бесполезно). Мог ли он это простить? — Слушай, ты…

Далее следовало сообщение: все, что он обещал мне, — он достал, причем финское, все ждет на базе, а сейчас мне надлежит привезти в ресторан «полторы тонны» — а завтра безвылазно ждать дома. Я не сомневался, что судьба этих денег будет такая же, как у предыдущих… но что его снова толкало ко мне… неужели только ощущение безнаказанности? Да нет…наверняка его скребли сомнения, — что я не уверен в абсолют-

ной его честности, в абсолютной его верности дружбе, — и это бесило его. Желание доказать свое совершенство в сочетании с привычной необходимостью воровать и составляло главную трагедию его жизни.

Но все-таки хорошая закваска в нем была, раз он еще что-то пытался доказать. Именно мне-то и стремился доказать свою честность — всех остальных в его окружении не занимал этот вопрос, и тут вдруг — я. Может, я и был его последним шансом на спасение, Полярной звездой на фоне тьмы? И наверняка в общении со мной он тайно надеялся обогатиться духовно, а я обогатил его лишь материально и на этом успокоился!

Конечно же, с виду он суров — на любое подозрение ответит оскорблением, на нападение — зверским ударом, на обвинение — обвинениями гораздо более тяжкими… неужто уже нет хода в его душу? Похоже — единственный крючок, которым еще можно его поднять, — это крючок «верной дружбы», «дружбы, не знающей пределов»… Правда, этим крючком он тянет в основном вниз, на себя, но, может, еще можно его поднять этим самым крючком наверх?

Что-то, наверное, все-таки сосало его, если уже больше чем через год он вдруг остановил у тро-

туара рядом со мной свой «Жигуль».

— Ну ты, зверюга, — куда пропал? — распахнув дверцу, оскалился он. Все зубы уже золотые… молодец! На заднем сиденье маялся мужик, одетый добротно, но без претензий. — Клим! — пробасил он, сжимая руку. — Из Сибири пожаловал! усмехнулся Фил.

Значит, была у него потребность: показать, какие у него друзья? Выходит не успокоился он: иначе зачем нужно было ему останавливаться, а не ехать мимо?

— Зарядил тут ему отель, приезжаем — фунт на рыло! — прохрипел Фил.

— Да чего уж там… уеду, если так! — пробасил Клим.

— Может — ко мне? — неожиданно проговорил я.

— Валер-кин! — Фил потряс меня за плечо. Неужели все повторится?

1990

Соколов Саша
Тревожная куколка

Ирине Ратушинсной
…Все по плану Шло, не так ли, Господи? Под холодным небом Бредил всеми землями, путая быль и небыль… Нам бы знать — за что нас так, Боже?

Ирина Ратушинская

Какая промашка! Вместо того, чтоб родиться и вырасти в несравненном Буэнос-Айресе, где вместо: Комо эста устё? — все спрашивают друг у друга: Комо эстан дос айрес? — и отвечают: Грасиас, грасиас муй буэнос, — и где ведомальчик газеты Ой демонстративно читает ее без всякого словаря и вдобавок едет без рук, а кондуктор — обыкновенный трамвайный кондуктор — по памяти декламирует пассажирам пассажи Октавио Паза, — то есть вместо того, чтоб явиться там, среди этих начитанных и утонченных, и стать гражданином по имени Хорхе Борхес; а впрочем, нет, погодите, — в Упсаде — в неописуемой Упсаде — или где-нибудь возле — в краю готической хмурой мудрости — и слывя профессором Лар-

сом Бакстрёмом, — быть им: во имя прелестной Авроры из славной семьи Бореалис самозабвенно творить ворожбу, именуемую свенск поэсй; или вот: не взыскую ни Рима, ниже Афин, — в несказанном Иерусалиме: о лучезарное детство на улице Долороса, среди вериг и преданий, — о Господи, да что там в Иерусалиме, оставим его в покое до будущего года, ведь можно явиться и под — в неказистом, пропахшем фалафелями Вифлееме, а нет — в преисполненной былого величья и мулов Афуле, а нет — в развеселом Содоме — и жизнь напролет как ни в чем не бывало болтая с приятелями экклезиастовым языком, сделаться мастером гильдии Амоса Оза; словом, вместо чего бы то ни было из перечисленного или чего-нибудь в том же возвышенном и нездешнем духе — являешься и живешь черт-те где — лепечешь, бормочешь, плетешь чепуху, борзописешь и даже влюбляешься, даже бредишь на самом обыкновенном русском — и вдруг, не успев оглянуться, оказываешься неизвестно кем, кем угодно, вернее, не кем иным, как собой. Вопиюще! Осознав происшедшее, ощущаешь себя как бы жертвой случайной связи — связи эгоистических обстоятельств, времен. Ты словно облеплен весь паутиной, запутался в неких липких сплетениях,

в некой пряже. Проклятые Парки. Смотрите, как я спеленут, окуклен. Немедленно распустите. Мне оскорбительно. Где же ваше хваленое благородство? И муха ли я? Вы слышите? Видимо, нет. Во всяком случае — ноль вниманья. Неслыханно. В общем, типичное удовольствие ниже среднего. Так вы шутили когда-то в юности. То есть не вы, а они, иные. А тебе, осознавшему происшедшее во всей его неприглядности, было не до веселья. Наоборот, обретаясь в силках присущего априори наречия, ты впал в хроническое угрюмство. И если порой улыбался, то лишь из вежливости; да и то сардонически. Впрочем, жизнь обставляла. Ища побороть депрессию, ты по афишке с постскриптумом: Слабонервных просят не беспокоиться, — трудоустроился в морг. Начав с помощника санитара, выбился в препараторы. В обязанности твои входило бритье клиентов и ассистирование на вскрытиях. Объявить, что вскрытие неэстетично, — значит слукавить, жеманно спрятаться под вуалью литоты. На взгляд абстрактного гуманиста оно от разнузданного глумления над покойным отлично только ведением протокола. И тем не менее этой, по выражению циников, операции по поводу смерти подвергаются все скончавшиеся в больнице.

Порядок свят: исключения по протекции. Бесправие несчастных напоминало о собственном. Вы были невольники двух несогласных стихий. Ты — невольник присущего языка; клиентура — летального безъязычия. Жить и пошло, и вредно, жаловался ты прекрасным дамам по соловьиным садам. Однако и смерть — не выход. Ибо и смерть не обеспечивает нам свободы воли. И поверял им строки, сочившиеся профессиональной печалью. И в зале — по скользкой эмали — кружился полномочный скелет — из бледно-оранжевой дали — струился задумчивый свет. Терзания надломленного таланта отзывались в дамах сплошной экзальтацией. Тронут сочувствием, ты шептал им положенное и обретал желаемое. О, сколько бальзама давали в те юные ночи за звонкий русский сезам. А как ярились сирени по берегам зари. А как розовели в лучах ее уши неумолимых, как судьбы, котов, стерегущих возле аквариумов своих ювелирных рыб. И все-таки ты полагал себя обделенным. Хотелось таких берегов, где в обиходе иные сезамы. Их либе дих, сача по, то амор, — твердили тебе героини грез. Но грезы порой оборачивались кошмарами. Чу! Позвольте, но где же выбор? говоришь ты кому-то в маске и в чем-то вроде инквизиторской мантии. Говоришь

горячечно, нутряно, точно как Достоевский на исповеди у Фрейда. Выбора не дано, отвечает он холодно и высоколобно. Но ведь без выбора нет свободы, а без свободы — счастья, не так ли? Возможно, только откуда ты взял, что имеешь на счастье право? Право? мне говорили, что никакого права не нужно, что ежели мотылек рождается для полета, то личность — для счастья. Ты не личность, роняет он, ты — личинка. Да как вы смеете — что за бестактность — этсетера. Между тем его маска спадает. Волевое лицо узурпатора. Скорбные серые глаза василиска. Неулыбчивый рот палача. Трепешуший и раздвоенный, словно у игуаны, язык. Даже растроенный. Расчетверенный. Не счесть. Помилуйте, кто вы? Я — неизреченное Слово. Я Слово, бывшее в начале начал. Я — немецкое да и зеркально затранскрибированное английское я. Я — ай. Я-я. Я- Он, Который утверждает: Я Есмь. Я Есмь, подтверждают поборники всесопряжения. Я — враг твой. Я — бич. Я — неволя, недоля и дольняя незабудка. Я — любит-не-любит. Я — стерпится-слюбится, слюбится-воспарится. И воспарив над юдолью, начнешь препарировать бытие, вычленять из него парную, кровоточащую суть. Не корми ею птиц небесных: те сыты печенью Огнекрада. Но

капля по капле, кусок за куском претворяй ее в прозу живую. Терпи и трудись. Я же дам тебе и стило, и крылья. Ибо Я — язык твой. В силу закона о сообщающихся сосудах, субстанциях и состояниях от такого-то и такого-то сон и явь незаметно перетекали друг в друга, смешиваясь, будто в доме Облонских, когда к тем запросто, без звонка и без запонок, эдаким фармазоном, заезжал покуражиться замечательный русский мечтатель Обломов. Пил, топал, свистел, бранился и требовал, чтобы долой барокко, а да здравствует — де рококо. Пример, достойный всемерного подражанья. Однако к Облонским ты не был вхож, и пойти по стопам кумира было, собственно, не к кому. И вот, похерив амбициозные планы, ты поступал по сказанному языком твоим — терпел и трудился. Дело происходило в пределах от а до я и от там до сям. Лицедействуя на подмостках большого света, ты не затмил гигантов этого балагана единственно потому, что подвизался на скромных ролях. Зато ты сделался чародей мгновения, виртуоз эпизода. Никакой Оливье не сумел бы столь ловко подать пальто, споткнуться и опрокинуть поднос. Эпизодов случалось с избытком. В платья твоего артистического гардероба можно было бы приодеть всю голь карнавальную Копакабаны.

На досугах ты открывал многоуважаемый шкал и бережно перебирал висевшие в нем наряды. Так сентиментальный мемуарист листает гроссбухи собственных сочинений. С какою-то грустью. Помимо препараторского халата тут наблюдались: сюртук конторского клерка, униформы циркового уборщика и театрального брандмайора, безрукавка истопника и фрак трубочиста, костюм жокея и фартук рыночного торговца, китель егеря и траченная собаками телогрейка их дрессировщика, шинель рядового и смирительная рубаха. Последней ты дорожил как реликвией. Парадоксально: этот неброский наряд символизировал твою постепенную эмансипацию от общественно-политических предрассудков. Ибо именно в ней ты ступил на путь, ведущий в граждане мира и председатели шара. В ней в то хмурое по-толстовски утро тебя увозили из мерзкой солдатской казармы — в самое вольное изо всех учреждений отчизны. Карету, украшенную красным крестом, подали к краю плаца, где муштровали гвардию. И ведомый сквозь строй ее почетного караула, ты кричал верноподданным, вселяя в них бодрость и гордость за своего короля: Долой рококо и барокко, да здравствует сюрреализм! И в той же рубахе семьсот двадцать девять

уколов спустя предстал ты пред высочайшей комиссией. Ну-с, теперь-то вы сознаете, батенька, что вы никакой не Дали? — сказали тебе военные эскулапы. Так точно, теперь я — дивная куколка, выросшая из простой полночной личинки. Какая прелестная метаморфоза. Смотрите, я совершенно окуклен. Прямо роденовский Онорё. Благодарю Вас. Я благоустроен. Я больше ни в чем не нуждаюсь. И где-то внутри, в средоточье, где прежде щемило, мне сейчас бесконечно; точней — бесконечно уютно. Но в целом — я весь тревога. Уведомлен ли о случившемся сам Сальвадор? Необходимо телеграфировать. Цито! Мол, честь имею. Преобразился. И подпись: Тревожная Куколка. Позаботьтесь, уж будьте любезны. Только боюсь, маэстро не вытерпит этой утраты. Ау, мы были с ним так двуедины. Рыдает. Смирительная рубаха на глазах темнеет от слез. И именно в ней в знак протеста против конквистодарской политики позднесредневековой Испании и лично Америго Вес-пуччи маршировал ты своим нелюбимым городом вскоре по выписке. Ты унес ту рубаху келейно. Ты похитил ее из дурдома словно герой-лазутчик — знамя из неприятельской штаб-квартиры. То было знамя морального большинства, ведущего необъявленную войну

с Художником. Совершив сей подвиг, ты в значительной мере ослабил гидру. Однако был по крайней мере еще один повод для ликованья. В соответствующем документе значилось вожделенное: Никуда не годен. Основание: Бред ничтожества на фоне вялотекущей мегаломании. И — ликовал. И являлся в своей рубахе среди недобитых гениев от изящных искусств, меж эстетов, дерзавших гласить крамолу на съежившихся площадях и в томных салонах. И в зале — по скользкой эмали — из бледно-оранжевой дали. О рубаха! Это именно в ней ты прожег свою юность, будто бы сигаретой — дыру. Ах, навылет. Какая неаккуратность. Ну разве не ясно, что с подобного рода вещами следует обращаться бережно. Ведь — реликвия. Вспомни, это именно в ней ты кипел отличиться в лучших своих эпизодах, служа вышибалой, менялой шила на мыло, натурщиком, вечным студентом и прочим ловким Гаврилой. В ней, терпя и трудясь, ты вырос в типичного представителя своего экстра-класса — класса лишних в своем отечестве. В ней влился в ряды достославного ордена Отставной Козы барабанщиков милостью Божьей, барабанщик до мозга костей, ты был откровенным врагом всего, что не нравилось. И не беда, что в силу

окуклённости собственно барабанить было тебе не с руки. Что нужды. Зато ты стал выдающимся теоретиком барабана, отважным его идеологом. И, сражаясь за правое дело Священной Козы, барабанил не палочками по ее барабанной шкуре, но сердцем — в ребра, но кровью — в висок, но ею же-в барабанные перепонки свои, но воплем — в чужие. Вот почему, умирая, ты сможешь сказать: Руку на сердце, я был неплохим барабанщиком перед Богом. Похороните же с почестями. Только попусту в изъян не вводитесь — саван не шейте. Обрядите в рубаху — и баста. На память о том периоде, когда я жил-был, боролся и барабанил. И если угодно — мыслил. Ты мыслил как куколка. Как индивидуум. Как поколенье. Как класс. Потому что тебя было много. Гораздо больше, нежели платьев в фиглярском твоем шкалу. И больше, чем тех эпизодов. Однажды ты оглянулся и понял то самое, что за век до того осознал великий американский мечтатель Уолт Уитмен, а именно: ты многолик и массов. Тебя было столь много, что хватило бы на батальную киномассовку. Да что массовка. Достало бы на хорошую гекатомбу. И осознал, что едва ли не каждый из твоего бесчисленного числа окуклен тебе подобно — обряжен в ту же холстину. И ужаснулся ты за злосчастный

народ свой, рожденный в смирительной косоворотке. И язык его стал тебе горек. Ведь казавшееся в бреду молодого ничтожества мантией Великого Инквизитора было на деле таким же — как у тебя и у каждого — красным смирительным. И исполнилось предреченное им в страшных видениях ранних лет. Опечалившись за него, разделил с ним заботы и возлюбил его. Он растворился в твоей крови и стал пыльцою на крыльях твоих. Потому что в те дни ты раскуклился и воспарил. Но не волшебной набоковской бабочкой, а угрюмым и серым ночным мотылем, окрыленным непреходящей тревогой. Правда, лучше парить угрюмо и серо, нежели не парить никак. Поступая указанным образом, ты осознавал себя малой, но вольной молью родного наречия и хлопотал воспарять все выше. Однако же в целом язык — как и прежде — влачился внизу, во прахе немилой юдоли, или лежал, как бесправный больничный труп — жертва летального безъязычия. И тупые, бескрылые препараторы в алых косоворотках все глумились над ним, язвя. О несчастный, бессильный, окукленный и оглупленный русский язык, говорил ты себе, перефразируя Ивана Тургенева. И молился. Господи, сохрани и помилуй присущее нам наречие, ибо иным не владеем. Сохрани

и помилуй нас, тревожных его мотыльков, слабо реющих по свету и мельтешащих среди других языков и народов. От Упсалы до Буэнос-Айреса. Нас, угрюмых и серых, носящих на крыльях своих прах его летописей и азбук, пепел апокрифов, копоть светильников и свечей. Нас и тех, которые ищут выхода из смирительных обстоятельств, чтобы воспарить вслед за нами. И тех, что не ищут. И тех, что не воспарят. Воззри на нас и на них. Поговори к нам высоким Твоим эсперанто. Дай знак. Укрепи. Наставь. Подтверди, что Аз Есмь и что это уже не сон, а явь. А сон — разбуди и откройся. Лишь мне, малому мотылю. Мне, моли. Мне, праху и пеплу. Шепни на ухо. Прошелести опавшим листом — листом ли рукописи — бамбуковой рощей; за что?

1986

Харитонов Евгений
Духовка

Во вторник шел в поселок за хлебом, вижу на пригорке со спины, я еще Лене заметил — вот, мальчик кого-то дожидается, фигурка запала сразу, гитара на шнурке через шею, как он ногу выставил. И неожиданно, назад идем, он еще не ушел, здесь вижу в лицо. Я спросил спички, он не ответил, пошел на меня, я еще не понял, почему идет, не отвечает, или уличная манера; он просто идет протянуть спички и сам спросил закурить. Сейчас, думаю, разойдемся, не увижу никогда. Разошлись, дальше что делать не знаю; и простая мысль, вернуться попросить на гитаре поиграть, и хорошо, я не один. Он начал сразу, голос только установился, песни, как они во дворах поют. Весь запас спел, больше задержать нечем. Я как-то дошел до дома, но когда один остался и поделиться не с кем, думаю в Радугу, так, лишь бы идти, не сидеть на месте; прошел половину поселка и встречаю. Удивительно, хотел увидеть и увидел, хотя, раз он недалеко попался, почему здесь и не жить. Я как будто гулял от нечего делать и думаю

присоединиться, ясно что он просто так стоит. Он кивнул, я как будто хочу присмотреться к его игре, какие места зажимать на струнах. Долго ходим, разговора немного; узнал, что учится, пойдет в десятый класс, и учится в школе для математиков на несколько человек со всего края; не просто уличный мальчик; каста. Он на пригорке стоял, ждал приятеля Сережу, чемпиона по самбо, тот хотел вернуться из города. Пока мы как будто бесцельно слоняемся вдоль фанерных домиков, попадаются девочки его лет, о чем-то обмолвятся с ним, я в стороне не мешаю. Стемнело, он говорит пойдем к спортсменам? — Пойдем; но говорю, конечно, что не знают спортсменов и никого здесь. Затруднения с разговором, когда о машинах или о песне, которую они все знают. У него разряд по плаванию. Тут я и понял, что когда недели три назад увидел, здесь по дачной улице шел мальчик с аквалангом и ластами под мышкой, ровесники шли с ним, девочки, или дети, я поразился тогда, как он красив, и во взгляде бессердечность, от красоты, видел всего мгновенье, только прошли мимо, — туг я понимаю, это он и был. Стемнело, сидим на скамейке у одного домика, он все время перебирает струны и напевает уличным голосом эти песни, блатные, жалостли-

вые про любовь. Из домика женщина попросила не петь. Мы пошли к открытой веранде столовой, там дежурная лампочка посередине невысоко, такой тусклый свет с большими тенями; старуха сторожит с папиросой и две девочки с парнем; а девочки попадались, и мальчик тоже, спрашивал у Миши — девок нет? и Миша засмеялся; Миша дал ему гитару, этот Толя, с малороссийским выговором, смешно, и с чувством, не как Миша, запел, с руганью через слово. Толя послал девочек за картами, я подумал, хорошо, их четверо и я лишний, не выяснится, что я не играю; эти девочки живут в домике рядом, дочери, что ли, заведующей столовой; когда они вернулись, Толя увлекся пением, девочки одни со сторожихой сели в угол напротив с пасьянсом, а мы с Мишей слушали Толю и смеялись, уже объединены вниманием к пению; песни у Толи были такие: беспризорник подходит к кассе, хочет украсть билет, его забирают, он говорит: — Граждане, как вы жестоки, граждане, сердца у вас нет, вы забыли, что я беспризорник, зачем же меня обижать; или в притоне оборванец убил моряка из-за пары распущенных кос, наклонился над трупом, узнал в нем родного брата и ее убил тоже; или школьные про любовь, с красотой слога, и как

он их серьезно, задушевно пел, так они до вас и доходят. Кончилось пение, мы пошли провожать Толика к палаткам. Он сразу стал рассказывать непринужденно свои похождения, как он сломал четыре целки в свои годы, а другие всю жизнь хотят жениться на девушке, не найдут, и как они к нему привязываются. Говорил он больше мне, Миша занимался гитарой, возможно, Миша привык к рассказам, а я хорошо слушал. Дальше путь с Мишей, и он рассказал об убийстве, к тому, что мне через лес идти; на днях в этом месте убили парня цепями от мотоцикла. Дальше в разные стороны — ну, до свидания до свидания; и сам говорит, форма, но все равно, — завтра увидимся. После встречи на пригорке я думал, что и простое знакомство невозможно, а оказалось возможным, столько были вместе, говорили, он здесь живет, знает теперь, как меня зовут, я знаю, что он Миша, и завтра увидимся.

Назавтра, в среду, с утра в поселок к палаткам, вижу Толика, хохла, один на обрыве, — здравствуй — здравствуй — Миши не видел? — Нет, не видел. Хорошо, думаю, когда он будет здесь проходить, попадусь на пути, он не увидит, что я его искал, да я еще с Толиком, как будто и с Толиком познакомились, не будет для него одинокой

фигуры, подкарауливающей его. Спортсмены ложатся рядом в карты играть, к ним подошел старший или тренер с витаминами, мне отсыпали. Вижу, идет — здравствуй, здравствуй; на речку идем. Толя-хохол не пошел из-за дел; и по дороге он рассказал случай: сидит он в общежитии, ногу втиснул между столом и стеной; вдруг боль ниже колена, боль все сильней, он понял в чем дело: за стеной гудит сверло, с той стороны сверлится дыра там, где у него колено, он никак не вытащит ногу, сверло уже в ней, а нога вплотную между тумбой и стеной, и он в таком положении, что стол не отодвинуть; он закричал в стену, только тогда остановились, вошел рабочий, Миша вытащил ногу, сверло уже вошло в кость. Сам Миша как математик сказал, что вероятность попасть сверлу в его колено по отношению к стене равнялась нулю. Пришли на их место купания, плавки на нем коричневые с желтыми полосками по бокам. След от сверла показал. Красоты своей не сознает, может быть, говорили девочки, но сам в зеркало посмотрится, не поймет, и товарищи не понимают, конечно, товарищ для них, и все. Предложил сплавать на остров, для меня будет пределом туда и обратно. Я вида не показал, там посидели немного,

он сразу хотел назад, я предложил посушиться, последние метры я с большим трудом, вылезли, надо прийти в себя, дальше с разговором неплохо — есть гитара, а я хочу научиться и запомнить песни. Он показал бой и аккорды. Сестра у него в институте, поет в клубе Жданова перед сеансами; или сестру упомянул вчера. Пришел Толя-хохол, вместе обучение бою — восьмерка, семерка, такие названия; Толя предложил осваивать на голове щелчками так, говорят, лучше запоминаются. Они еще хотят купаться, я говорю — лучше так позагораю; так выдохся. Вот еще, например: Толя пришел с обеда; значит, когда Мише идти обедать. Толя с ним не пойдет, чтобы мне пойти с Мишей и вышло непреднамеренно, я заранее говорю — ну, мне скоро обедать; так что, когда Миша хочет идти, мне уже можно с ним; а не так, чтобы он встал, и я за ним увязался, не подготовив заранее. Вместе весь путь до его поворота, спрашиваю, даже не спрашиваю, так, снова купаться придешь: — ага. Уже буду знать, где его увидеть, и примерно через час; и на время обеда он дает гитару поучиться. Домой ко мне Ваня приехал: а я ему и про стихи хотел сказать, и Мишу сейчас увидит, мне интересно, сможет и он понять, когда перед ним мальчик один на де-

сять тысяч. Пошли на речку, Миша пришел через полчаса; тут все удобство положения с собеседником твоего круга. Для Миши одного не выйдет оживления и занимательного разговора, а через Ваню и Миша послушает, засмеется, вовлечется, проникнется ко мне немного. И важно, я не один в глазах Миши, и у меня есть приятели. Часа три так пробыли. Ваня хочет в город, я пошел проводить до автобуса. Миша спрашивает — потом придешь? Форма, но все же; вот мы знакомы уже, можем вместе идти по улице, во вторник после пригорка не помышлял. По дороге разговор с Ваней человек не моих страстей все подтвердил о Мише. Я устал, остров и столько за день ходил, больше решил туда не идти. И хорошо лишний раз не показаться, пусть думает, и у меня своя жизнь, а не так, что один как перст и все время караулю. Тут гитара к месту, все мой интерес к гитаре и песням. Еще, в первый же вечер он сказал, тем летом поедет в Москву поступать; а зимой едет в Москву на каникулы; еще, думаю, запишу ему адрес.

В четверг просыпаюсь, как хорошо, думаю, вчера лишний раз не надоедал; хотя, тут не ошибусь; но лучше иметь в виду. Весь длинный путь, полтора километра до столовой, полтора километра

до его купания, не вижу. Хочу в домик к нему зайти, он вчера сказал тридцать два, и когда я шел с обеда с Ваней, я еще крикнул — Миша; я подумал тогда, он на речке, но выяснилось, он просто не слышал; но раз я кричал тогда, а главное, раз меня вчера вечером не было, а собирался, сейчас, думаю, можно. Вижу, его бабушка с посудой, а домик определил прежде чем по номеру, по ластам и аквалангу в дверях. Миша, спрашиваю, на речке? Спит, говорит, только завтрак готовлю; приветливости не было, всегда подозрение к знакомствам детей, и человек зашел старше Миши. Тут я увидел в открытую дверь край раскладушки и ноги под простыней за край зашли. Иду пока на речку час поспать на лужайке, чтобы время пробежало, где накануне с утра лежал, чтобы он проходя сам наткнулся. Час прошел, может быть полчаса показались за час, терпения нет, пошел к домику, и все время чувствуешь, кому-то из соседних домиков уж стал любопытен. Наконец, выходит, рубашка узлом на животе. Я к тебе, говорю, пошли на речку; сказал обязательно, что один раз заходил, бабушка наверняка ему сообщала; чтобы не вышло, что я почему-то не признаюсь. Он берет гитару в домике напротив, отдал вчера, тут на середине пути еще окликает в тельняшке

некрасивый, крепкий, Сережа, как я и понял, кого он ждал в первый вечер из города; знакомить не принято, правильно, мы лишь два дня на речку попутчики, а с Сергеем сами познакомимся, если нужно будет; тут лишних церемоний нет. А с Мишей был договор, что он у Сергея тетрадь, с песнями. Дальше втроем на реке, они сплавали на остров; нет, Сергей не раздевался, сидел одетый. Миша научился на гитаре от него. Сергей может над ним посмеиваться, например, над его игрой; хотя сам умеет кое-как, только чтобы гитару держать для нормы. Возня между ними, когда Сергей, играя, может обнять, прижать. В этот день или накануне я спросил, много ли мне времени на учение; он сказал, уедет числа двадцатого; а этот день восьмое. У них жаргон: путевый — хороший; жена — девочка, с которой спал; шкура — пиджак; нельзя поддаваться соблазну спросить Мишу с ласковой улыбкой старшего человека, обняв за плечи, что значит жена или поролся — сразу человек из другого общества, а так равный со всеми преимуществами знакомства на равных. У домика Сергея, где они остались на перевернутой лодке, даже не дойдя, Миша спросил у Сергея тетрадь; не в том дело, что помнит, и приятно, что помнит, а моим прогулкам у него есть

объяснение. Сергей вынес тетрадь с ошибками, прошу, до вечера, но излишняя вежливость опять ни к чему, лишь отдалит, и я чувствую меру, не подделываться и не слишком отличаться. Спечатал, скорей опять к ним, при расставании они приглашали — ну, мы тут будем, приходи. Опять весь путь до купания, нет, иду назад, вижу вдали, идет; я показываю тетрадку, чтобы видел, что с делом, — вот, говорю, перепечатал, забыл, где Сергей живет. Подошли к его домику, вызов свистом, сели все на лодку как будто скучая заодно. Он все с гитарой, Сережка ему говорит — голова от твоей музыки заболела, играть ни хера не умеешь. Я вниз на траву сел напротив, чтобы лучше видеть. Когда мне уходить, Миша сказал — мы у костра будем, где спортсмены. И в третий раз пришел к ночи, нашел по гитаре в домике у столовой, куда девочки уходили за картами в первый вечер; в окне те две девочки и Миша с Сергеем. Еще думаю, может быть, мне не стоит, раз двое на двое, но все же заметно, они просто так сидят; открыли — ты по гитаре нашел? — по гитаре; с Мишей вместе сидим на койке без матраца, он все играет и напевает. Приходит мама девочек или одной из них и без обиняков просит идти по домам. Пошли к костру, спортсмены пьяные слегка, один

позвал — эй, давай сюда, спой что-нибудь; и вот его особенная ясность, он сразу начал им петь, а поет он на здравый вкус неумело, хочет походить на вчерашнего Толю-хохла, ему его акцент понравился. Когда нам уходить, говорит — наверное завтра в город поеду; ты не собираешься — меня спрашивает; да, говорю, надо бы; договорились вместе. Втроем назад, глубокая ночь; как удачно: Сергей живет на середине пути, дальше вдвоем; вот тут я рассказал ему об убийстве; во вторник мне Миша сам рассказал, убили цепями, потом в среду мне Леня сказал: повесили на цепях, и теперь передаю, как рассказал Леня, смеется — кто что говорит; и договорились, что завтра с утра зайдет за мной, раз мимо меня на автобус; и дал гитару — хочешь, говорит, пока? Иду учу по дороге его бой, завтра вместе в город.

Завтра пятница, проснулся часов в семь, он в начале десятого зайдет, сижу пока на крыльце с гитарой. Идет в белой рубашке, говорит, издали услышал по гитаре. Я захватил переводы, ничего, конечно, они ему не говорят, разговора в дороге нет, он и в автобусе слегка перебирает гитару, вначале оба стоим, потом я сижу, он стоит, на свободное место сесть не захотел. Дальше ему на свой автобус. Говорит, назад поедет, может

быть, сегодня вечером, может быть, завтра утром; а ехал он в школу для математиков; я думаю — похвалиться хочет, чему научился; а может быть, не так представляю. Но договариваться созвониться, когда назад будет ехать, теперь нельзя, он слышал, как я, уходя с дачи, крикнул, в четыре вернусь; когда он, допустим, позвонит, получится для него, я нарочно его ждал неизвестно зачем. Может быть, он и не слышал, когда я сказал вернусь, или забыл; но уж нельзя, выйдет преднамеренно. А я со вчерашнего вечера рассчитывал и назад вместе. Пятница, день танцев; пятница, суббота, воскресенье. Вернулся в деревню и сразу к Сергею. Тут планы быть ближе к нему, чтобы когда я хожу с ними, Мише преждевременно не пришло в голову, и Сергею тоже, и Сергей обратил бы внимание Миши, что я хожу с ними из-за Миши. Прохладно, Сергей в плавках, а все гуляющие одеты, посматривают на него, я спрашиваю — не холодно, он смеется — я спортсмен. Разговора мало, молчание заполняю свистом; он крепкий, неказистый, но это я в среду отметил около Миши. Неловкости в разговоре, когда коснется бадминтона или тенниса; на мне в этот раз не было плавок, подходящий предлог не лезть в воду; но ведь я сам зашел за ним звать

на речку, иду и думаю, придется купаться. Он еще взял ласты, хочешь, говорит, и ты в ластах попробуешь. Не доходя до купания, видим пьяный спортсмен бьет громко палкой по сосне, эй ты, приказывает, наступи на конец, но мы вдвоем, и у Сергея сложение борца; когда я не говоря ничего прошел мимо, спортсмен не прицепился, дальше, слышим, упал велосипед, он подставил палку мальчику лет пятнадцати, тот упал, поднял велосипед не огрызаясь, зная, что за это будет, а спортсмен веселится. А когда мы по этому крутому спуску сбегали, Сергей сказал — что же не разулся, в сандалии наберется; я отмечал про себя промахи; мне тоже надо бы в воду, ведь это я его и позвал, он дома с книжкой сидел, а я теперь не иду, говорю — так посижу; хотя, купаться пошли в ластах, а ласты одни, значит, он, потом я. Он еще звал на остров, но у меня память свежа, как я тогда устал; и там был подъем, а тут холодно; он думает, я как он, пусть без разрядов. Он сплавал на остров, потом и мне надо бы в воду, и я не знаю, так или не так: я ноги вначале от песка обмываю, чтобы ласты ему не выпачкать; на ходу вижу бессмыслицу, раз все равно в воду, но он мог не заметить или принять за привычку, и ему же семнадцать лет, а я столичный человек, может

быть, так нужно. Трудно зайти в воду в ластах; а перед этим, забавно, Сергей сказал, в ластах больше всего тонут, говорит, надо идти спиной. Сергей еще окунулся, пошли назад под обрывом; а когда я за ним заходил, я был с сообщением, что Миша вернется сегодня вечером, или, верней всего, завтра утром. Идем низом, он рассказал, как в прошлом году в такую погоду — он заметил еще, когда мы шли туда над обрывом, что вода прибыла, или наоборот, убыла, по границе островка напротив, — в эту погоду две девочки позвали нарочно моряка, знали, что он не плавает, хотели посмеяться; моряк не пошел, девочки пошли и утонули: когда вода прибывает, образуются водовороты. Еще рассказал, они с мальчиками, когда у пионеров был родительский день, плавали в лодке и нарочно, один нырнет, как будто что-то ищет, другой кричит — ну как? тот в ответ — не нашел, чтобы с берега их спросили — чего ищете? а они отвечают — утонул какой-то пионер. А здесь было два лагеря, и на следующий день в каждом лагере говорили про другой, что там утонул один пионер. И опять вернулись к убийству; я, чтобы разговор поддержать, начал про этот случай; не только, говорю, убили цепями, но и повесили на цепях; так слышал от соседского мальчика

Лени, но Леня сказал, в двух километрах отсюда и ночью, а Сергей говорит днем, среди деревни. Я попал впросак, спросил, а за что. — Как за что, как всегда, ни за что, пьяные были, и Сергей знает, кто. Двое мальчиков из города, и убили городского, семнадцати лет. Милиция не найдет. Дошли до него — до свидания; спросил, приду ли на танцы, договорились на десять часов. Вначале мы договаривались, на пути к речке, что я за Сергеем зайду, не помню, сказал я, что не знаю, где танцы; сейчас он хотел объяснить, я говорю, знаю, чтобы не было у него впечатления, что человек здесь живет и не знает, где танцы; и я мысленно знаю, по музыке. Вечером пошел только показаться; а дома хорошо, пироги поспевали в духовке. На танцплошадку пришел в разгар; и вижу, Миша приехал; в сером свитере, в котором ходит в холод, — о, приехал, когда? — да тогда-то, а ты когда (я)? — я днем. Сергей сказал, думал, что я не приду. Все возбуждены. А вокруг страшные подростки, ищут кого избить. С девушками надо шутить. Миша с Сергеем так и делают. Грустно от музыки, и что все веселятся, а ты не в жизни, они танцуют, ты нет, и в голове убийство. В кожаной куртке его двоюродная сестра лет четырнадцати, с ней жена, девочка, с которой он спал; может

быть, сочиняет, хотя, год общежития. Сергей подталкивает меня — иди потанцуй, а то замерз, покажи, как надо в Москве. Разговор, искать им девочек или нет. Мальчики прыгают с мальчиками, Миша меня зовет — нет, говорю, Миша, так постою. Оторван он них, и от музыки грусть. Делаем вид, как будто интересно, как танцуют или как Миша играет; и подходящий повод, пришла одна Ольга с молодым человеком, я понял, это сестра, как будто нашел занятие, хочу послушать. Ее окружили, девочки, официантка Люся, Миша как у себя дома, и понятно, ему нужен такой друг, как Сережа, за его спиной лучше. Но семейство — Миша, сестра, и двоюродная в кожаной куртке, сестра певица очень красивая, хотя лицо не Мишино, и сразу ее окружили, муж еврей красивый, правда не так. Но сами сестры и брат —! младшую двоюродную, тогда думал, она родная, почти не разглядел, но Оля и Миша —. Что она сестра, сразу понял, когда уверенно запела. Тут Миша спрашивает того, кого я считаю ее мужем, — как тебя зовут? не для знакомства, с какой-то просьбой, тот назвался, Слава, и позже выясняется, Сергей сказал, что он не муж. А муж на соревнования уехал. Еще Сергей показал на двух преступного вида подростков — один из них убил, кого ищут и

не найдут. Может быть, и не так, но картина — и эти принцы крови здесь, легко себя чувствуют, королевские дети среди разбойников не знают, кто они сами такие. Как Миша танцевал: конечно, он не умеет, но что он не стесняется, как пел вчера перед спортсменами. Сестра с любовником собрались уходить, еще думаю, будут спать дома при бабушке. Миша с Сергеем никого не ищут, это больше так говорилось. Втроем, Миша, Сережа, я, пошли лесом, народу много, в обнимку, под кустами. Один старик, даже и не старик, мне сказал, сорок семь лет, живой, идет со всеми, послушать и погреться с молодежью. Он помогает, послал ребят за дровами, подсмеивается над собой, что старик, а туда же со всеми, и они над ним посмеиваются беззлобно. Но он старше меня на девятнадцать лет, старик среди них и так себя и ведет, а я старше Миши тоже на двенадцать лет. Костер, хорошо, тепло стало, на земле сыро, я стоять устал, нашел полено, Миша с другом не устали, стоят. Я у Мишиных ног получаюсь. Миша отдал гитару до завтра, тут еще у кого-то гитара, старик веселится, и ничего, что старик хочет с молодыми, как они. Один певец высоким, почти детским жалобным голосом пел, сам с виду мальчик с маленьким лицом, голос слабый, пел

напряженно на пределе высоты и с переливами, и песня длинная, сейчас, кажется, кончится, а он опять. Когда ему другие подпевали и чуть иначе, у него в припеве была синкопа, его нельзя было сбить, так он уверен был в своем пении. У него забрали гитару другие ребята, Миша с Сережей собрались домой. А во время пения я посматривал на Мишу и смеялся — как певец хорошо поет, и Мише мое мнение передавалось; и вот, это на следующий день, когда я похвалил Мише сестру, а про певца сказал он ни на кого не похож, Миша потом о нем моими словами сказал. Они пошли, позвали меня, а мне в другую сторону, и если бы я пошел с ними, опять я провожаю Мишу, и если бы поднялся пошел домой, опять получилось бы, сидел, только пока был Миша, — и я сказал, еще посмотрю. Они отошли, я пошел тоже.

Суббота, хочу в поселок за сигаретами, еще думаю взять про запас, понедельник и вторник у них выходной; что завтра воскресенье, я забыл, думал, сегодня воскресенье. Его там не вижу, вижу Ольгу, сестру певицу, с младшей сестрой, вчера была в кожаной куртке; мелькнули в деревьях ограды. Опять этот путь до купания, нет; может быть, спит. И знаю, чего хочу; хочу достать денег выпить с ребятами. Все будет живее,

и легче поступки, а лишнее спишется на опьянение. Давно надо бы что-то выкинуть, как-то завоевать. Сумку белую увезли, я спросил денег у Ани. Я раньше хотел с ними выпить, но продают в розлив, и пусть я буду весел слегка и попадусь им на глаза. Взял вина, свежий огурец заесть вкус, и на ступеньках сел смотреть, не пройдет ли мимо; нет. Допил, ухожу, ах, вот где я увидел Ольгу, позади себя с сестрой у ограды; потому что оборачивался все время. И намерение пойти к Ане просить еще денег, когда от этого опьянею, будет чуть-чуть, чувствую. У Ани подготовка, разговариваю, разговорить себя хочу, и таким пошел в столовую; полчаса до перерыва. У столовой тот Слава, любовник, киваем. И вот когда стоя пью на веранде, разгуливая, народу почти нет, в одной руке стакан, в другой огурец, хорошо так на ходу, вот тут вижу, едет на велосипеде — не хочешь вина, спрашиваю, отказывается; долго ли, спрашивает, я вчера оставался, здесь и вспомнил певца в моих выражениях; и хочет на час пойти, учить химию, он не сдал ее, один день был перерыв между химией и предыдущим экзаменом, многие не пошли сдавать; я, правда, уже мог сказать, упростилось, — ну, суббота, в субботу отдохни, он говорит все равно надо, зарок

дал. Я напутал, это было при первом стакане, я просидел у Ани полчаса и полчаса дорога, потому что этот час он учил химию; а после второго стакана надеюсь его встретить на улице или на реке и Сергея зову составить компанию. Два стакана, правда, между ними час перерыва, на меня мало подействовали; а денег, всего по стакану Сергею и мне. Но привезли пиво; я занял за Славой-любовником, он модник и не побрит с умыслом, помнит, конечно, как я сидел с ними на танцах, когда Ольга пела и внимательно слушал. А здесь я в ботинках и совсем другое ощущение телу. Слава, Миша его так называл, мы пока не знакомы, мне по виду ровесник и по манерам видно, круг ближе, чем хоть Сергей, относительно. Слава начал с другим человеком из очереди разгружать ящики с пивом, я тоже помог и Сергей, перед носом продавец закрыла окна на пересчет, вам, говорит, мальчики, отпущу; а за мной человек просит ему тоже, я дал рубль Славе взять на меня, сам отошел пока попросить у Люси стаканы, тоже мне ново назвать ее на ты, как все посетители просто с официантками или кассирами, она сидит в кассе. Взял бутылки от Славы и вижу Мишу на улице; показал ему на Сережу — здесь Сережа, иди к нам. Пива не хочет, не любит, говорит,

горькое. Мы выпили с Сережей, а со дна Миша допил. Совсем мальчик домашний, он и когда отказывался, сказал, стакана нет, а все равно, можно из одного, он, возможно, даже сообразил, что не так сказал. Химию он этот час не учил, возился с велосипедом, пойдет учить сейчас. Мы его отговариваем, кажется, решил не учить, но зайдет по делу домой, потом нас найдет. Потом мы с Сергеем позади ограды шагах в тридцати от Миши, через кусты не видно. Сергей полез на черемуху, сказал, тут еще дикая малина; я лежу на земле, недалеко за кустами пьяный давно лежал и женщина проходила, спрашивала, не наш ли друг.

Раз я в траве, то и он наш знакомый. Вскоре условленный свист, Миша. Когда Миша шел, он видел только Сережу на дереве, спросил его обо мне. Втроем недолго, потом не могу вспомнить, как расстаемся; мы ведь еще идем в сторону купания, где теннисный столик у палаток, там они станут играть с большим счетом в пользу Сергея, а по дороге я вспомнил про Ольгу, сестру, мне нужно Мише через нее сказать, как он красив. Их партия в теннис, я как будто слежу на траве, ничего не разбираю и мысли текут о Мише; только слышу из разговора, что счет двадцать к трем,

почти совсем всухую в пользу Сергея. Подобрал, в траве валялись погнувшиеся шарики, не помню, Сергей или Миша спросил — что, жечь собираешься? Они любят их жечь, Миша подсел, зажег, и они горели хорошо. Я не вспомню, как расстаемся; как обычно, идем втроем, Сергей свернул к себе, а мы с Мишей дальше до нашей развилки; но вот: к теннисному столу пошли, там спортсмены и тот, кому Миша оставил вчера гитару, сейчас ходили гитару забрать и спортсмена не было. Еще Сергей рассказал, когда шли втроем, как в прошлом году однажды нечего было курить и они с Мишей видят здесь в окне блок сигарет. Миша надавил, стекло треснуло, а дело было среди дня, я еще спросил, разве рука так не поранится, они сказали нет, как нажимать, они вытащили осколки, Миша тонкий, пролез, Сергей на страже, слышит Миша в домике смеется, оказывается, он коробки открыл, а там во всех гвозди. Еще, когда с Мишей вдвоем идет, он сказал, у него одна сестренка умерла до его рождения, я говорю, хорошо, иначе родители не позаботились бы тебя произвести, и у меня та же история. Значит, игра, жгли шарики, эти рассказы, расходимся, как не помню, здесь выпало место и дальше слепое пятно. Дома наши вернулись, вот где я надел ботинки, я просил

привезти; но что там ходил хорошо по веранде с вином в одной руке, с огурцом в другой и присаживался за пустой стол, это так. Нет слепого пятна, потому что точно с Мишей до развилки доходили; расставаясь, я сказал ну, на танцах встретимся, а он говорит, приходи раньше. Значит, иду, до танцев далеко, светло пока, путь до теннисного стола, не вижу, иду назад, поляна, где волейбол, здесь и решилась судьба этой вещи. Еще думал лучше, чтобы ребята меня здесь застали, но их нет, зашел к Сергею, рядом с поляной, он в рубашке, встречаем Мишу или заходим, или Сергей свистом; заходим, был такой случай, заходили вдвоем, я зашел, Сергей стоял рядом, Миша с гитарой, прошли немного, он сказал, я пойду гитару оставлю, еще Сергей его отговаривал, а он пошел, потом Миша нас нагнал и Сергей в моем пиджаке до колен, и он спросил Мишу, как ему пиджак; на танцы рано, но все равно пошли, уже скоро. И совсем по-другому танцы, так немного надо, и уже свой. Мы пришли, никого не было, и для тех, кто подходит, мы первые; а по дороге у них разговор, что всегда, когда им на танцы, их встречает одна пластинка, а сегодня встретила другая, смеются. Сергея в моем пиджаке не узнали. Сидим, подходит народ, и подходит Ольга с

этим Славой и еще каким-то приятелем и двоюродной сестрой четырнадцати лет, все знакомо, и сестра садится со мной, явно, я ее занимаю, у нас нечего курить, и этот Слава находит нам сигареты. Ольга, покурив, каждый раз делится со мной, а потанцевав, садится рядом; и ясно, разузнала обо мне у Миши. Я попросил спеть, поет, глядит мне в глаза; затем разговоры молодых людей, Славы с приятелем, и перебрасывания названиями книг не к месту, но это знакомый круг людей. И эти ботинки с опорой ноге, и что я присмотрелся, как здесь танцуют, пошли с Ольгой танцевать. Она только и ждала, когда приглашу. Еще я ей сказал, — когда заиграют в ритме — а уверенность у меня появилась, когда мы перед этим втроем стояли, Сергей с Мишей и я, я без пиджака мерз, и чтобы сдержать дрожь, больше от возбуждения, я вспомнил надо напрячься и кровь побежит скорей, — так вот, Миша коленями перебирал в музыку просто так, я от нечего делать начал тоже, и Сергей, он все время просил показать, как там, в Москве танцуют, потому что все время ждал от меня что-нибудь, сразу обратил внимание и даже сказал — смотри. Миша, как хорошо; я отчетливо перенял от возбуждения его перебор; и вот он у меня остался в ногах, я все время его про себя

держал, и в плече; я сказал Ольге — что-нибудь в ритме начнется, мы с тобой пойдем; правда, я не мог понять, то или не то начинают, вступления дают медленные, а потом переход в шейк; а пока я раздумываю, Ольгу уже пригласят. Во время одного вступления Ольга протягивает в мою сторону папиросу, я подумал, дает докурить, а она хочет сбросить ее, а руку протягивает позвать на танец; еще я назвал остаток папиросы чинариком, они не поняли — что? и изумленно смотрят, смеются; у них говорится бычок; но им понравилось, столичный житель, и слова у него другие. Мы с Ольгой танцуем и я свободно, а когда танцевали медленное до этого, когда просто переступают с ноги на ногу, я сказал, что ей лучше бросить все и ехать в Москву петь. Она, правда, сказала — какая я певица, и зря, не вязалось с ее уверенностью и азартом. Она при удачных обстоятельствах могла бы быть в звездах, и сразу окружают мальчики-приятели и совсем маленькие другие девочки, с восхищением смотрят на такие прихоти и огонь. А Слава, возможно, и не любовник, ей нужно проверенное окружение производить эффект, Сережа с Мишей, конечно, не уловили. Это Миша сказал Сергею, что любовник, а Сергей засмеялся — только муж уехал на соревнования. Любовник

или нет, ей прежде нужны знакомые, чтобы могли восхищаться ею, а через них и незнакомым передастся. Потом Ольга, этот Слава, второй приятель, двоюродная маленькая сестренка хотят идти, Ольга спрашивает меня — вы нас проводите? и по дороге то обнимается со Славой-евреем, то с приятелем, игра, и для двоюродной сестренки, и взгляд на меня, чтобы не отставал, а я без вина не переступлю грань. То меня под руку возьмет, боится оступиться, то подбежит к еврею Славе, поцелует, или просит приятеля, чтобы он ее целовал. А молодые люди отвечали так: приятель, его звали Шурик, просит, чтобы его поцеловала маленькая сестра и показывает, как ему сладко, потом его поцелует Ольга, он нарочно сплюнет после нее, и все смеются. Дошли до палаток, с нами шла Люся, в кассе в столовой сидит, и мы с ней вальс танцевали, а она так серьезно сказала — лучше меня придерживай, когда закружимся, я руку отпущу; эта Люся плакала в начале вечера, а Ольга отводила ее, что-то говорила, как девочке, утешала, и видно было, что Ольге нравилась такая роль. Дошли мы до палаток, до маленькой на двух человек палатки, где, оказывается, расположились Слава-еврей с этим Шуриком, а Ольга пойдет к бабушке и все. У палатки продолжился

Ольгин концерт. Она пела много из «Пиковой Дамы» за всех героев и за оркестр; и видно, что все дети из состоятельных семей. И вот этот Шурик, приятель, говорит, лежа у Ольги на коленях — Ольга, когда такая-то девочка узнала, кто я такой? О Боже мой, так вот он кто. И по голосу видно. А Слава-еврей не похож. Совсем другая картина в сравнении со вчерашней. Ольгу все время зовет, пойдем домой, мне поздно, эта Люся, и, не дождавшись, пошла через лес, никто не встал ее проводить. Ольга с маленькой сестренкой тоже поднялась идти, а вы пойдете, Ольга меня спросила, на вы, — я рядом сидел, ни разу не обнял ее, не взял за руку, и потом по дороге. На прощание пригласила завтра к палатке. Я от нее прошел проверить друзей и заблудился, громче зову — Слава, не слышат, и вижу, палатка, они на второй раз откликнулись, а я в первый раз звал в двух шагах; когда мы прощались с ними, когда я пошел с Ольгой и двоюродной сестренкой, Слава весело сказал: нам с Шуриком тоже пора спать, будем любить друг друга; может быть, он в шутку сказал, — я думал, они еще не легли, посижу, послушаю разговоры, они держались учтиво, интересовались, что в Москве; но я их нашел, а Слава говорит из палатки — а мы уже спим, ты

дорогу найдешь? — А, спите? да-да, конечно; так и ушел.

В воскресенье с утра дождь впервые за это время. Опять не найду палатку, а звать громко не хочется; пошел к домику, открывают, бабушка лепешки печет, Миша провел в комнатку, накурено, сидят все четверо, Ольга с двумя молодыми людьми в карты играют, и двоюродная сестра в кровати. Я еще с ночи придумал занять их стихами, как император содрогался и вблизи его конец и, не сводя с Авроры глаза, себя в руках держал боец, как будто вчера им приготовил; посмеялись. Ночью я строил планы, как Ольга в Москву устраиваться поедет и Мишу уговорю, договор о зиме на каникулы само собой. Приходит маленькая сестричка, родная, много Мишиного, обещает быть красивой, зубки съедены конфетами; Ольга стала ее целовать, приговаривать, как она любит братьев и сестер — красивые, говорит, они у меня? Тут и Слава-еврей спрашивает меня, не поехать ли ему поступать в Москву. А вчера, когда Олю провожал, она сказала, что Слава журналист, а Саша учится на врача. Слава, значит, не учился на журналиста, так в газете подвизается; но тоже, вижу, моложе меня и на семь лет; а по виду ровесник. Но готовый журналист, в курсе всего,

что делается на свете, все по верхам. Миша стал мне показывать книги, химию, еще научное о натяжении жидкостей, начал об их достоинствах. И тут новый поворот картины. Ольга назвала их фамилию, и как все тесно: это же их отец профессор, и как все приблизилось, были неведомые дети, я их бабушке за занавеску громко сказал, вот как мы через родителей знакомы, чтобы одобрительней относилась, когда захожу за Мишей. А отец Лев Моисеевич; я Мишу спрашиваю — как же ты о евреях говоришь как-то со стороны, а Миша объяснил — отец не еврей, он русский, только на четверть еврей, но мне все равно, я не разбираю, евреи или русские: значит, у них мама русская, а отец, я потом узнал, русский наполовину, а наполовину еврей. Они собираются в город, Миша тоже. Миша хочет на три дня ехать с химией, и я с ними. У Ольги дома муж, соберемся у одного из друзей, у Саши-медика. Бабушка из-за занавески Мише сказала, чтобы он не уезжал, ну, действует наоборот. Еще по дороге он скажет жестокие слова — надоели мне дедушка с бабушкой, хоть бы умерли скорей. Я предложил по дороге к автобусу небольшой крюк ко мне, я перекусить хочу, а они здесь отказались, когда бабушка предлагала. А дома, когда я их рассадил с чаем и мне некуда

сесть, Слава или Саша хотели стул высвободить из-под чашек, я отказался, сел на пол, и Миша сказал — пускай, так ему лучше; и мне сказал — я заметил, ты так любишь сидеть; и сам точно так же сел. Они по дороге передумали собираться сегодня. Слава тогда предложил, может быть, мне стоит вернуться, завтра к их обеду приехать. Я сказал нет, поеду, дела в городе, и то с Ольгой иду, то все же с Мишей, раз все равно приятели с нею обнимаются, а идти далеко, сорок шестой прошел на наших глазах, мы пошли на двадцать шестой. На конечной стоянке там была большая лужа, в середине пень, я перебрался на пень, Миша встал с краю лужи, а остальные пошли к скамейке. Мне бы надо пойти к ним, ясно, что Миша не будет долго стоять с краю лужи и мы тогда бы рядом с ним там сидели; но вот Миша пошел к скамейке и сел с ними, а мне уж поздно к ним идти, они отметили бы, что пришел за Мишей. Так и сидел отдельно до автобуса. В автобус набралось много народу, я так угадал, чтобы с Ольгой места не было, она с двумя приятелями, а мы с Мишей вперед сели вдвоем. Вдруг он забеспокоился, сумку оставил, автобус еще не тронулся, а в сумке там редкая переводная химия. Он стал пробираться к выходу, я держу место, боюсь, как бы

не заняли и автобус не тронулся, двоюродная сестренка кричит из-за пассажиров — Миша, нашлась сумка; Миша вернулся, и мы поехали. Я предложил, давай отвернемся к окну, чтобы мест не уступать, а Миша говорит — я не могу, всегда уступаю; я еще не расслышал не уступаешь? Он говорит — наоборот, уступаю; и я говорю — ну и конечно, правильно делаешь. А ему предлагал, думал, ему понравится. Но около нас пожилых не было. Ближе к городу меньше народа стало в проходе, я иногда оглядывался на Ольгу, чтобы не почувствовала, что я с Мишей сел и мне ничего не нужно. Приехали, выходим втроем, Ольга, Миша и я, приятелям — дальше. Миша меня перед выходом спросил — ты дальше едешь? мне лучше дальше, я сказал — да нет, выйду с вами, пройдусь. Возможно, Миша думал, я из-за Ольги. Вышли втроем и не знаю, как с ней разговаривать, она все что-то ждет от меня, ничего не поймет; ну, отменилось сегодня, и думаю, спишет мое молчание на то, что ей к мужу, с приятелями по дороге обнималась, и меня это омрачило. Так тягостно дошли до их остановки, пойду, говорю; завтра с утра съезжу в деревню, к вечеру к сбору вернусь; хотя, думал, и не надо возвращаться, так лучше, чем прийти к ним и молчать. А когда мы

в деревне к автобусу шли, Ольга сказала, я вам позвоню в городе, и я ей свой телефон сказал, она повторяла, а медик Саша, у кого собираемся, мне свой телефон начертил на дороге, показал, как запомнить, симметричные цифры по бокам, — так сейчас, прощаясь, мой телефон не вспомнила. Я из дома ей решил позвонить в опьянении, чтобы она поняла, что я пил, и без вина я бы не знал, что сказать. Позвонил, Ольга, давайте сегодня увидимся; она говорит нельзя, у меня Аркаша дома, до завтра. Я набрал еще раза четыре, и то никто не подходит, то другой голос говорит, нет дома, то вы не туда попали; я дальше прямо Мишу спрашивал, как будто через него хочу позвать Ольгу, так и он и Ольга могли бы подумать.

На следующий день, понедельник, приехал в деревню поздно, если к вечеру опять в город. Ясно, Мишу они с собой не возьмут. Для Ольги он младший брат, и гораздо младше, чем для меня. И вижу, погода переменилась окончательно, впервые за все время, и беспросветно. Я собираюсь к Мише в домик за гитарой, я у него вчера просил на эти два-три дня поучиться, пока он в городе, он с собой не брал, чтобы не мешала заниматься. И вдруг вижу его спину в сером свитере, он идет от домика вглубь, значит, он вернулся, но одно-

временно я увидел и уже начал спрашивать в открытую дверь — можно? Дедушка его ответил — да-да, Аркадий? думал, муж Ольги; видит меня — в чем дело? Мне, говорю Мишу; уже вижу, где Миша, но поздно, уже спросил; Миша, говорит, грузит веши в машину и они сейчас уезжают. Я нагоняю Мишу, он как раз с другими вещами гитару несет все, говорю, уже знаю, а я приходил, как у тебя просил, взять гитару. Машина синяя за заборчиком, и там отец; и я для отца впервые приятель его детей; здороваясь, он отвечает сухо — здравствуйте — и поворачивается к багажнику. А всегда здоровался доброжелательно, с улыбкой. Он идет к домику, Миша говорит, они забирают все вещи и уезжают, потому что погода вот так переменилась, меня еще спрашивает, не холодно мне; дождик льет, хотя как раз в этот момент не сильно. Я говорю — так все; он говорит — да нет, может быть, вернемся, но понятно, погода переменилась совсем, и ей давно полагалось, и ведь это и подготавливалось в последние дни, а вчерашний дождь был началом. И как-то еще понятно, и раньше было понятно, но здесь наглядно, что Миша еще ребенок, он ничего не решает, все взрослые, вот как отец с Мишей разговаривает, ведь для отца нет Антиноя одного на сто тысяч

мальчиков, а просто шестнадцатилетний сын, с которым надо построже. Я говорю Мише — как отец со мной поздоровался сухо; а Миша говорит, он торопится просто; я и сам вижу, что торопится, но нет, мне ничего никогда не кажется. Не знаю, бабушка с дедушкой сказали ему, что Ольга эти два дня провела с молодыми людьми и приходила домой в два часа ночи и что я был вчера, я же назвался и бабушка это связала со мной, и может быть, эти вчерашние звонки, может быть, он слышал, что Ольге звонят. И Мише тоже, и настойчиво, четыре раза, конечно, ему неизвестно кто, но я оказался в числе тех молодых людей, с кем Ольга проводила время, это-то ему бабушка сказала, она меня теперь знает, и что вот я к Мише пришел, нашел себе друга шестнадцати лет; может быть, этого было и вполовину меньше, но все же все это мне в этом его «здравствуйте» показалось. Пока мы с Мишей стоим, отец несет вещи к забору со стороны домика, там просит Мишу принять, так раза два, я каждый раз как будто хочу подойти помочь, но Миша опережает; не как будто хочу, а выходит как будто. И вот еще: я Мише говорю, что я здесь потому, что думал гитару взять, чтобы он не чувствовал проводов, так он протягивает мне гитару, — на; чтобы я

поиграл, пока они грузятся. Мишенька. Потом, например, вышла бабушка, и так получается, что я не смог с ней поздороваться, она на таком расстоянии, что для того, чтобы услышала, надо было громко и вышло бы слишком нелепо мое старание; но кажется, она и нарочно не смотрит в мою сторону, и у нее ко мне особое отношение, может быть, после того, как она отцу рассказала про Ольгу, и хоть вчера со мной разговаривала, сегодня уже дело другое, у них с отцом теперь отношение новое. Они, конечно, торопятся, но все же; потом мы наедине с маленькой сестренкой, у которой зубы съедены конфетами, все отошли за вещами, я, чтобы не молчать, улыбнулся ей, заинтересовался какой-то медалью, и надпись читаю «Будни-Радости»; оказывается, «Будни-Радуга», все равно непонятно; говорит, она чемпионка здесь, детские соревнования, бегала, что ли; я ничего не понимаю, улыбаюсь ей, Миша подходит с вещами — вот, говорит, она у нас чемпионка. — Да я уже знаю. — Нахвасталась, на нее посмотрел. — Да нет, это я у нее спросил, откуда медаль; и еще остаюсь с Мишей недолго; или это до этого, раз бабушка прошла; он спрашивает — ты телефон мой знаешь? я говорю — знаю; Миша, говорю, ты лучше сам позвони, нечем

записать? — Бумага есть, карандаша нет; — ну, посмотришь в телефонной книге; он математик, надо бы сказать, он бы запомнил. Еще думаю, надо сказать, что я вчера звонил, он наверняка был дома и слышал все звонки; может быть, и не слышал, но все равно, выяснится, — вот, говорю, вчера звонил вам, только пьяный был, Ольгу спрашивал, потом тебя. — Пьяный был? — он переспросил так, наверное, знает об этих звонках, и ему объяснилась нелепость четырех или пяти звонков подряд; а может быть, так спросил. Они садятся, отец говорит, правда, не глядя в мою сторону — до свидания; я говорю до свидания, с большим почтением, и стою смотрю, как поедут. Миша на переднем сиденье с отцом, машина долго разворачивается, я еще думаю, зря иду домой, им по дороге мимо ехать, эта фигура под дождем, ясно, иду домой и только к Мише приходил, не стоило бы, уж очень печально будет, но повернуть поздно, а хорошо бы, что я от машины в другую сторону, как будто обедать шел, но машина, вижу, разворачивается, чтобы выехать назад за забор, по дачной дороге, так не попадусь. Еще, когда мы с Мишей разговаривали, он спросил, поеду ли в город сегодня, я говорю, наверное, поеду, сегодня договаривались встретиться с ребятами,

не знаю, ехать, нет. Он говорит, Аркадий не хочет идти. И когда они отъехали, я пошел тоже по их дороге к автобусу, опять сорок шестой прошел на моих глазах, и как вчера я пошел к двадцать шестому на дальнюю стоянку. Встреча вечером отменилась, я позвонил Саше, он сказал Ольга не приедет, из-за мужа, значит; и я просто так спросил, где как встретиться, не собираясь к ним.

Мы не виделись неделю, он, конечно, не звонил, я, пока занимался, тоже старался не звонить, чтобы ничего не менять из того, что вышло; и другое, я думал, позвонить можно будет только после того, как все закончу, и все письмо будет оттяжкой и средством удержаться от излишней поспешности. Я позвонил два раза и за это время, но один раз, кажется, никого не было, а один раз сказали, Миши нет дома, может быть, что-нибудь передать? я сказал нет, спасибо, позвоню еще; когда же положил трубку, понял, что была Ольга и она мой голос узнала, для того и спросила с заминкой — может быть, что-нибудь передать; чтобы разговор продолжить. Но я сразу не понял и разговора не продолжил, теперь было поздно. А не понял я, я звонил в первой половине дня, она в это время, я думал, на работе. Но я письмом удержал себя на неделю от действий, теперь зво-

ню, прошу Мишу, и женский голос, не Ольга, не старый голос, не бабушка, мама, думаю, ответила, мне показалось, — сейчас; отошла звать Мишу, и туг же повесили трубку. Мне от нетерпения уже все равно, я снова набрал. Опять мама подошла и сказала — Миши нет, и ответила, кто его просит? Я назвался, объяснил, что в первый раз не расслышал и показалось, вы пошли его звать. Нет, говорит, я так вам и ответила, что его нет. Я правильно сделал, что перезвонил, а то так бы и думал, что нарочно повесили трубку, и может быть, он даже сам так попросил. А этот день пятница, день танцев, и хорошая погода, думаю, он в деревне. Я скорей туда, к домику — все закрыто, занавески спущены, только банка пустая от чая на подоконнике с той стороны и у двери старые ботинки, и щетка на длинной палке. Все как было, когда они уехали. Я в эти три дня один раз приезжал сюда и видел эту картину, значит, он еще не приезжал. И завтра в субботу Миша не приехал, и в воскресенье не приехал тоже. В понедельник рано утром я, конечно, в городе, звоню ему, дождался десяти утра. Раньше может спать, позже уйдет. В первый раз никто не подошел. Во второй раз подошел сам, еще думаю, первые звонки услышал сквозь сон, и может

быть связал, что это я звонил, но все равно. Когда, говорю, в деревню едешь? — Да вот, завтра, или вернее всего, послезавтра, в среду. Я говорю — сейчас буду в твоем районе, надо по деду, выходи на улицу, если ничего не собираешься делать. Ладно, говорит, буду во дворе, объяснил, какой дом, назвал номер и приметы. Я говорю, буду минут через сорок на обратном пути. На пути туда зашел к нему во двор, хорошо бы, думаю, вместе с ним пройти по моему поручению, так бы Наглядней было, что я в его районе по делам. Но его нет, я пошел ключи взял, опять к нему, и он свистом окликает со второго этажа. А за эту неделю, ровно неделю не виделись, я, закрывая глаза, не мог в точности его представить, вдруг он стал у меня расплываться, и теперь я его увидел как после большой разлуки. Выходит, говорит — Аркадия видел? как раз за тобой шел; муж Ольги. Нет, говорю, и про себя пожалел, что не обратил внимания, интересно посмотреть, что за муж у Ольги. В кино, спрашивает, пойдем? Да, говорю, только давай лучше в центр; ну как, спрашиваю, твоя химия, выучил? то есть освободился или нет; — нет, говорит, не садился, вчера ездил на дачу, где Ольга с Аркадием, и как там веселей, чем у нас, а в деревне скучно; что там нет что

ль дачных домиков, а где он был, тысяча. То, что было мне многолюдной жизнью, ему глухой угол. Стал вспоминать, какие в городе фильмы, этот видел, вот, кажется, «Опрометчивый брак», можно пойти. В автобусе разговора нет, выходим, пошли ко мне. Ты иди, говорит, я подожду. У них принято видеться на улице, и вся жизнь на улице подальше от глаз родителей, потому так хотят в общежитие или в Москву уехать учиться. Все же зашли ко мне, посмотрели расписание в газете, и в основном идет то, что он видел, а что не видел, неудобно, часа два до начала, я боюсь, он раздумает, и когда вышли, сказал, что газета воскресная, а в понедельник меняют программу, хотя наверняка знаю, смена программы там тоже была, и ее он и читал. Все хорошо, только он по дороге звонит из автомата предупредить о себе, еще ни у меня ни у него монеты не было и он хотел звонить без монеты, предложил зайти в будку посмотреть его способ; жаль, автомат, не работал, и я не послушал, как и с кем бы он дома говорил; когда разменяли, идти с ним в исправный автомат уже неуместно. Еще он рассказал по дороге, у Аркадия, муж Ольги, крест в ладонь величиной на цепи до пояса из чистого золота, он взял у своей бабушки, у нее много драгоценностей и

живет одна в большой квартире, никто, мол, не догадается ее обокрасть; и в нашей картине опять золото, человек потонул в рюкзаке с золотом, у старухи золотые запасы в бутылках, и он ее хотел обокрасть. Но вот Аркадий мог занять его такой редкой вещью. И за час до сеанса и после, когда гуляли по центру, ясно, что я ничем его не займу, ничего не знаю, и приятельству совсем не на чем держаться. Незачем ему было звонить мне, у него полно удовольствий, а что я ему предложу? Вот они с приятелем ехали на «Яве», перевернулись в кювет, потому что асфальтовая дорога внезапно переходила в песчаную, и многие кувыркались так же, а до них даже кто-то насмерть разбился. Я ему на «Яве» не предложу покататься. В среду или даже во вторник он сказал, приедет в деревню, и я не сделал того, о чем всю неделю думал, записать ему московский адрес, и у меня не было карандаша и бумаги, и если бы я у него попросил, у него точно бы не оказалось, он был в рубашке, приглашение повисло бы в воздухе, пришлось бы в другой раз повторять. А надо в один раз, неназойливо. Я с утра выходил из дома, помнил, что нет с собой карандаша, но думал, возьму предусмотрительно, и за расчетливость буду наказан, не дозвонюсь. Все, как в первый

день, — стоит на пригорке совсем незнакомый мальчик редкой красоты, на гитаре играет, я для него простой прохожий, и ему наше знакомство ни к чему, ничего для него нет в моих поступках и разговорах, как бы ни приноравливался.

Во вторник еду в деревню, он сказал, приедет во вторник или в среду. Теперь только бы дать ему адрес, иначе нить упущена навсегда. В домике по-прежнему, спущенные занавески, банка чая с той стороны, щетка на длинной палке и старые башмаки у входа. Это я зашел часов в семь вечера, потом еще заходил, осталась среда. В среду с утра заходил, и днем, и вечером часов в восемь, вечером дошел до Сергея, он выглянул в возбуждении, я, говорит, обедаю, ко мне друг приехал, сейчас пойдем на поляну в бадминтон играть; даже, пожалуй, в смущении, что я зашел, а он не составит мне компанию в прогулке. Я пошел назад под обрывом, чтобы он не видел, что домой иду и только к нему заходил, прошла среда, Миша уже не приедет. А назавтра я на всякий случай пошел взглянуть в его домик. И вот от забора вижу его черное окно, а оно было белым из-за занавески, я даже глазам своим не поверил, подошел ближе — ни щетки, ни ботинок, ни банки с чаем, у меня сердце забилось, подумал, приехал, спит еще,

или в домике кто-нибудь из родных, а он гуляет, я заглянул в окна никого нет, все уехали насовсем, сезон закончился, в домике пусто и все видно из окна в окно. Значит, вчера, когда я поленился поздно пойти вечером, он был здесь, может быть, сегодня утром уехали, с отцом, машиной, раз ни занавесок ни матрацев, не в руках же он повез. Значит, они насовсем уехали, и адрес не смогу записать, звонить предлагать нельзя, произведет только обратное действие. И три дня осталось до моего отъезда, а они сюда не приедут. И вот ведь, опять как в то прощание после солнечных дней лил дождь, как будто нарочно для грусти — после того прощания все дни было солнечно, в понедельник, когда в кино ходили, жарко было, а тут дождь и я один стою, народу нет в поселке, не попрятались даже, совсем разъехались. Когда мы с Мишей раньше здесь проходили, был один пустой домик, я всегда смотрелся в стекло, и Миша тоже останавливался посмотреться, я думал, в такое темное зеркало не так видны двенадцать лет нашей разницы. Так теперь, я подумал, тот домик был предвестник. Во всех них живут только до осени, все станут пустыми по очереди, а теперь пришла очередь Мишиного домика. Я еше прошелся по всей дачной улице, до самого

их купания, даже надежда недолго была, вдруг он здесь. Вчера почти все равно было, а сегодня из-за того, что так нелепо упустил, ходил-ходил, а когда он приехал, упустил, сегодня опять как тогда. Вечером в городе опять напоминание: один молодой человек вызывал с балкона приятеля точно тем же свистом, как Миша и Сергей, из какой-то известной им западной песни позывные.

1981

Лимонов Эдуард
The Night Souper

Человек я одинокий, и развлечения у меня одинокого человека. И даже живя с несколькими женами, я был и остаюсь одиноким!

Прилетев в Нью-Йорк через десяток лет после первого приземления, я поселился из любопытства в том же отеле «Лэйтэм», в котором провел мою первую ночь на Американском континенте — ночь с 18 на 19 февраля 1975 года; и ходил по его коридорам, сомнамбулически гурмандизируя прошлое. Старым друзьям я не позвонил. Теплые чувства к ним жили в глубине моего сердца, но видеть их мне не хотелось. Я люблю, чтоб персонажи моей прошлой жизни смирно сидели на местах, а не путались под ногами, неуместно выскакивая вдруг в настоящем.

Оказавшись в городе моей второй юности, я сам, этого, возможно, не сознавая, сместился в сторону привычек того времени и даже расписание мое сделалось таким же разорванным, судорожным и хаотическим, каким было в те годы. Я вдруг просыпался в два часа утра, одевался, спускался

в Нью-Йорк и бродил по улицам до рассвета. На рассвете я покупал в супермаркете пакет пива, изогнутый буквой «П» кусок польской колбасы и шел в отель. Я включал теле, ложился в кровать, пил свои шесть банок и съедал колбасу. Якобы уже варенная колбаса эта, подозреваю, была изготовлена из чистых гормонов, во всяком случае, она была ядовито-розового цвета, если ее раскусить. Такими же ядовитыми, розовыми и зелеными, были цвета на экране старого теле.

Лежа в «Лэйтэме», с пивом, теле и польской колбасой, я с удовольствием обнаружил, что я абсолютно счастлив. Стюпид (глупый пер. с англ.) шоу, которые нравились мне когда-то, по-прежнему продолжались или повторялись, и я без труда сориентировался в несколько дней кто есть кто в новых шоу.

То, что шоу — стюпид, вовсе не мешало мыслям, возникающим у меня по поводу их, быть серьезными и глубокими мыслями. Глядя на упитанные физиономии героев, я беззлобно думал, что «американэс» смахивают на пришельцев из космоса. Что у них куда меньше морщин, чем у европейцев, что если европейское лицо — это жилистый кусок мяса, разветвляющийся на подглазные мешки, западения щек, сумки у рта

и ушей, то американская физиономия — более общий кусок мяса. Не отбитый историей, не усугубленный тонкими узорами культуры голый и бесстыдный муляж. Я вспомнил фильм о «бади-снатчерс» — похитителях тел, о пришельцах из космоса, которые есть «клоуне» людей, но не люди. Если присмотреться к актерам «Династии» или «Далласа» (я называю их здесь не для того, чтобы презрительно осудить с позиций чванливого интеллигента, но по причине того, что шоу эти знает весь мир и каждый сможет проэкспериментировать), то легко заметить нечеловеческую гладкость лиц, нечеловечески здоровые волосы без изъяна такими бывают или искусственные парики, или подшерсток у хорошо откормленных кастрированных собак. Еще теле-американцы похожи на заколотых инсулином псих-больных. (Спокойные гомункулусы, инсулиновые больные окружали меня много лет тому назад в Харьковской психбольнице. Так что я знаю о чем говорю предмет исследования.) Наши американские «бразэрс» выглядят как «пипл», но если распотрошить, скажем, ногу или руку (как в фильме «Экстэрминэйтор» робот Шварценеггер «ремонтирует» себе руку), то не обнаружатся ли механический скелет и электронные печатные

схемы, как в компьютере? К счастью, реальные жители американских городов и поселений менее гладки, чем телеамериканцы.

Весь «тот» день было жарко. Но к вечеру сделалось прохладнее и после наступления темноты — еще прохладнее. Ветер сдул теплые облака с небес над Нью-Йорком — появилась большая луна, — и вся природа сложилась в подобие осени. Подобная прохладность пришлась не в сезон, обыкновенно начало сентября в Нью-Йорке влажно-тяжелое и горячее, потому я чувствовал себя странно. Около полуночи я обнаружил себя на Бродвее, в мидл-тауне, в баре. Джазовая певица пела сидя за пьяно.

Я выпил в полутьме несколько Гиннесов один за другим и попытался заговорить с певицей. Певица меня отвергла. Происшествие это не выстрелит, как ружье у Чехова в последнем акте, однако оно задало тон вечеру и ночи. Почувствовав себя символически отвергнутым, не только певицей, но и Нью-Йорком, я воспылал желанием быть принятым обратно в лоно родного города, и желание привело меня, вы увидите куда. Причина отказа была сформулирована певицей в столь откровенной форме, что я позволю себе процитировать нашу короткую беседу. На мои

вопросы: когда она заканчивает петь и не могу ли я предложить ей дринк уже в другом баре, высокая девушка извлекла из сумочки очки в красной оправе (была пауза антракта), надела их и серьезно, без улыбки, в очках, сказала: «Сорри, нет. У меня достаточно мужчин в моей жизни. Один постоянный бойфрэнд и трое нерегулярные. Если бы ты был в шоу-бизнесе, ты мог бы мне помочь вылезти из этой „сырой дыры“, — она пристукнула каблуком опилки пола. — Но ты даже не американец. Я уверена, ты хороший мужчина, но я устала от мужчин».

Она сняла очки и спрятала в сумочку. Я сказал, что я лишь имел в виду пригласить ее на дринк, потому что мне понравилось, как она, белая девушка, блистательно исполняет репертуар Билли Холлидэй. Ну да, весь репертуар заканчивается в постели, сказала она устало. «Кто-то сделал ей что-то очень нехорошее в постели, — подумал я, — потому она теперь враг всех постелей».

Я вышел из бара и повернул, не думая, вверх по Бродвею. Дело в том, что я жил там, выше по Бродвею в 1977-м. Ноги сами понесли меня привычно к отелю «Эмбасси». Я уже побывал там в этот приезд. Я знал, что из прекрасно-разрушенного вонючего отеля, населенного несколькими сотня-

ми бедняков (все были черные, кроме Димонова), японцы, купившие здание, сделали дорогой и глупый апартмент-комплекс «Эмбасси-Тауэр»… Дойдя до 72 стрит, я затоптался на ее Ист-углу… Затоптавшись, я подумал, что выше шагать по Бродвею нет смысла, что я нуждаюсь в пиве как минимум и, может быть, в полукруге польской колбасы. Гиннесс в пьяно-баре вообще-то мне по моим ресурсам не полагался, тем более три Гиннесса… Если я куплю колбасу и пиво, расходы не сбалансируются, но я хотя бы остановлю процесс — губительную расточительность. Я могу вернуться по Бродвею на несколько улиц ниже — там у Анэониа Пост-Оффиса есть супермаркет «Ай энд Пи», открытый всю ночь. Очень может быть, однако, что его уже нет.

Супермаркет был на месте и был открыт — весело желтели его мутнопуленепробиваемые стекла. Растроганный, я вошел в моего старого друга. В лицо мне пахнуло привычными нечистыми запахами… Несчетное количество раз покупал я в нем ночами «мое меню» — колбасу, пиво, гадкий дешевый гамбургер-фарш, похожий на хлопковую вату хлеб… Все тот же жирный мексиканец гард с дубинкой (он или не он? он) сплетничал с черной кассиршей, тот же (серо-зеленолицый)

менеджер прохаживался, поправляя тележки, низкий живот раздувал те же штаны. Те же запотевшие под пластиком ярко-красные фарши предлагали себя в гамбургеры. Суперизобилие дешевой, нездоровой еды — грубо упакованной… Рай для бедняков. Заледеневшие глыбами льда куры, из-под мясной витрины течет по кафелю грязная вода. О супер-маршэ моей нью-йоркской юности, тебя не перестроили, как «Эмбасси», ты остался таким же неопрятным, нездоровым заведением, каким и был. Обыкновенно мои соседи по «Эмбасси» вэлфэровцы-алкоголики пробирались, качаясь, в это время ночи меж твоих дешевых чудес, выбирая какой-нибудь с ядовито-синей этикеткой «Малт-ликер». Более состоятельное население прихлынуло к берегам Бродвея у Анзония Пост-Оффис-стэйшен, меньше стало черных лиц… Супермаркет скоро перестроят, сделают стерильным и повысят цены…

Не обнаружив колбасы, я приобрел консервированную свинину в банке и пластиковый мешочек с булочками. У них продавался теперь хард-ликер(крепкий алкоголь — англ.)! В отдельном загончике, чуть ли не с пуленепробиваемыми стеклами. В мое время лишь пиво и убийственные малт-ликеры предлагали внима-

нию потребителя. Я вскользь подумал о причине пуленепробиваемых стекол (ребята из Гарлема совершают набеги на алкоголь открытого всю ночь супермаркета? Маловероятно…), приобрел бутылку портвейна и, рассеянно сложив покупки в браун-бэг(Пакет из толстой бумаги. в такие в американских супермаркетах упаковывают покупки), покинул супермаркет.

Ночь стояла еще ночнее. Я подумал о долгих сорока блоках, отделяющих меня от отеля «Лэйт-эм», отмел решительно гипотезу путешествия в сабвее как непривлекательную, ощупал бутылку портвейна в браун-бэг, смял пакет вместе с булочками и решил, что устрою себе ночной суппэр на природе. Пикник. Где? Если не полениться и повернуть с Бродвея к Централ-Парку, можно отлично расположиться в траве и иметь суппэр под поэтической нью-йоркской луной. Вспомним молодость — тряхнем стариной…

Здесь я позволю себе отступление, касающееся истории моих отношений с Централ-Парком. Разумеется, ньюйоркцы боятся ночного парка и не бродят в нем по ночам. (Самая северная часть его, граничащая с Гарлемом, малопосещаема или вовсе непосещаема белым человеком даже днем, то что уж говорить о ночи…) Я особый тип.

Страх мне знаком как всем, но я всегда рвусь нарушать запреты. И всегда рвусь доказывать себе и другим свою храбрость. Первый раз пересечь Централ-Парк ночью толкнула меня, впрочем, не храбрость, но крайняя усталость.

Я крепко выпил у приятеля Бахчаняна на Ист 83-й и, не имея денег на автобус или метро (обыкновенно я возвращался от этого часто посещаемого мной в те годы приятеля, огибая Централ-Парк по периметру, то есть спускался по Ист-Сайду до 59-й — она же Централ-Парк Сауф, шагал по ней на Вест и затем поднимался по Вест до «Эмбасси»), решил, а почему нет? Я перебрался через каменный забор парка (можно было войти в одно из отверстий, всегда открытых, но я предпочел через забор, как подобает вору-бандюге, на случай, если кто-нибудь увидит меня) и пошел на Вест, упрямо от дерева к дереву, от куста к кусту, открыто, с шумом. Как подобает идти бандиту, аборигену, хозяину территории. Внутренне я убеждал себя: «Эдвард, это ты злодей, ночная суровая фигура, беззаботно гуляющая по своей территории. Это ты самое страшное существо в ночи, цели твои неизвестны или непредсказуемы. Тебя должны бояться…»

Запоздалый велосипедист, возможно поверив

в мои заклинания, испуганно отвильнул от обочины и, пристроившись к нескольким такси, пересекающим парк с Иста на Вест, нажал на педали. Возможно, меня и впрямь следовало серьезно опасаться, такого, каким я был в 1977 году? А был я в кризисе, мне нечего было терять, и я еще ничего не нашел… Обнаглев, я стад пересекать Парк всякий раз, когда случай вел меня ночью с Аппэр Ист-Сайда или на Аппэр Ист-Сайд. Всякий раз я испытывал определенный страх, но этот двадцати- или двадцатипятиминутный «трилл» сделался необходим мне…

Вспоминая свои прошлые подвиги, улыбаясь своей безрассудности, я вышел к Парку в районе 70-й стрит. Браун-бэг в руке, белые джинсы, сапоги, светлый пиджак. Не озираясь, не выбирая момента, я прошел к скамье, ступил на сиденье, затем на ребро спинки скамьи и с нее — на ограду Централ-Парка. И решительно прыгнул вниз. Относительно невысокая со стороны улицы ограда, однако, удлинялась на пару метров внутри парка. Земля оказалась дальше, чем я ожидал. На мое счастье, слой травы, на которую я приземлился, оказался упитанным, как живот среднего американца.

Однако там было хорошо. Луна. Острые, несмот-

ря на перекрывающий все запах городской пыли с бензином, запахи начавших чуть подгнивать растений. Бал-маскарад деревьев, тень каждого глубока и непроницаема. Шурша травой, я зашагал.

Далеко, однако, я углубляться не стал. Остался на знакомой территории. Со стороны 72-й стрит в мое время сидели местные собаковладельцы и местные атлеты, перебрасываясь шутками и переругиваясь. Мы, люди из «Эмбасси», тоже посещали этот пятак. Именно наши люди приходили с барабанами и устраивали африканскую музыкальную ночь. Кто стучит сейчас? Переселенные куда-нибудь на 150-е улицы, бывшие «наши» приезжают с барабанами на пятак? Иметь аккомпанементом ночного суппэра родные мне звуки родных тамтамов показалось мне необходимым. «Может быть, ты боишься, Эдвард? — спросил я себя, войдя под необыкновенно развесистую сосну. — Ты перешел в высший социальный класс и боишься развлечений прежнего социального класса, жмешься поближе к выходу?..»

Ствол сосны находился на склоне небольшого холма, а часть кроны ее, могучие ветки, отдельное как бы дерево, склонилась вниз и стлалась по траве, защищая меня с фронта от…предположим,

досужих взглядов. Вдохнув сосновость, я опустил браун-бэг в траву. Желая глубже ощутить сосновость, я сорвал, уколовшись, ветку и, растерев несколько иголок, понюхал их. О, как хорошо! Я почувствовал себя дачником на отдыхе и расхохотался.

С первым глотком портвейна мне сделалось еще лучше…

Я запутался с открыванием банки. С ненужной силой потянул за кольцо, в результате только часть металлической кожи снялась с нее, лишь небольшая щель открывала доступ к содержимому. Пришлось, очистив от иголок ветку, выковыривать свинину липкими кусками. Свинина оказалась сладкой. Никогда не будучи гурманом, я всегда ел с аппетитом…

Устав от работы выковыривания свинины, расщепления булок и жевания, я отложил банку на браун-бэг, отхлебнул целую очередь глотков портвейна и откинулся к стволу. Помыкивали вдалеке стада автомобилей, смягченные расстоянием, менее раздражающе звучали полицейские сирены, деревенские мир и покой царили в коллективе разлохмаченных растений. Сквозь хвою сосны на мой браун-бэг, на изуродованную консервную банку и булочки падали капли лунного

света. Если ветер смещал крону, то капли брызгали чуть в сторону, на траву…

Естественно, меня посетили воспоминания. Они всегда являются, если я располагаюсь удобно, и узурпируют настоящее. Воспоминания опустились на меня, как розовые облака, но невидимые, как радиация. Я прошелся мысленно к барабанам, а от них по Централ-Парк Вэст на 71-ю стрит. Там я работал с пожилым Леней Косогором несколько дней, устанавливая рентгеновский аппарат доктору… фамилию доктора сжевало время. Установив, мы стали обивать толстым свинцом стены рентгеновской камеры… Зачем мне это воспоминание?.. Оказалось, что память, увлекшись металлами, искала свинцовые листы. Явились сквозь годы тяжелые свинцовые листы, их структура, царапины на них… Деревянный широкий круглый молоток опускался равномерно на черный лист, разминая его по поверхности стены… Следующим память облюбовала Леню Косогора. Сутулый и высокий Косогор застегивает московское ватное пальто, мы идем по 71-й в направлении Бродвея — в Мак-Дональд… Внутренности Мак-Дональда на Бродвее: Косогор, раздевшись до рубашки, ест, хватая пальцами «фрэнч-фрайс»(нарезанная полосками, жаренная

картошка), называет меня «пиздюком», любя… Косогор опекал меня, как отец, и по возрасту годился мне в отцы… Где он теперь, Леня Косогор? Я вспомнил пещеру Косогора в бэйсменте в «Астории», его инструменты… Надо бы ему позвонить, он хороший дядька… Я отхлебнул портвейна… И, укрепляя бутылку в траву, увидел, что, скрытый от меня ветвями, стоит, заслоняя лунный свет, человек…

Ужас — это не высшая степень страха — это особое состояние. Невозможно испытать ужас в кафе на пляс Репюблик в Париже, когда в постепенно разгоревшейся ссоре противник вынимает нож и угрожает вам ножом. Нормально испытать страх. Тип с ножом может оказаться серьезным типом и в конце концов пырнет вас-таки в брюхо. Или спрячет нож. Но вокруг вас другие человеческие существа, вдруг вмешается патрон, вы не очень верите в то, что он решится применить нож, к тому же вам, может быть, удастся метнуть в него бокал, ударить по ноге стулом. Вы не желаете уронить свое мужское достоинство, вы кричите на него, он оскорбляет вас… Если вам страшно, то никакого ужаса… Другая ситуация: война, вы лежите с другими солдатами, ожидая сигнала к атаке, у вас в руке автомат, его твердость ободряет

вас. Даже если в следующую секунду в ваш режимент угодит прямым попаданием бомба — вы не успеете даже испугаться… Третья ситуация: вы попали в плен к какой-нибудь организации, и организация посадила вас в подвале, приковав к железному кольцу, — вы испытываете страх (редко, но заложников все же убивают), физические неудобства, унижение… Но ваши похитители в масках приносят вам еду, вы даже можете разговаривать с ними, и ужас в таких условиях, когда все или многое ясно, образоваться не может. Для того, чтобы испытать ужас, необходимы следующие условия: 1. Почти полное отсутствие информации об Опасности; 2. Ситуация, препятствующая получению информации об Опасности; 3. «Мистический момент» — непредсказуемое, нелогичное поведение Опасности (Зверя, Дракона, Монстра, Франкенштейна, Больного Ума…), преследующей нечеловеческую цель…

Я испытал именно ужас. Он (Опасность) стоял молчаливый, в светлых брюках, белой рубашке… и с ножом. (Зачем ему голый нож в руке, какова его цель?) Большой, театральный какой-то, нарочито выразительный, как коса у смерти на гравюрах, нож то бликовал, попадая под луну или звезду или далекий фонарь, то темнел, почти

исчезая. Он держал свой нож в левой руке у бедра, другая рука отклоняла ветку. Отклонив ветку, он глядел на меня.

Он мог быть бравым бизнесменом-шутником, выскочившим в ночь опасно развлечься из одного из дорогих апартмент-билдингов на Централ-Парк Вэст (маловероятно..), но что это меняло… Я застыл, как кататоник, бутылка порт-вейна едва оторвана от рта, на уровне груди…

Он молчал, придерживая ветку рукой… И нож… Это был белый человек, и даже, по всей вероятности, блондин. Вполне вероятно также, что его блондинил зеленый подсвет, исходящий от травы и деревьев. Черты лица, так как луна была у него за спиной, были мне неразличимы. Рост средний, тело полное или казалось полным от просторных рубашки и брюк… Я, словно кролик перед раскрывшим пасть боа, наблюдал за ним, загипнотизированный. Только потому, что мне не были видны его глаза, я нашел в себе силы и сказал громко: «Вуд ю лайк ту хэв а дринк (хотите выпить) со мной?» И я выпрямил руку с бутылкой в его направлении. Предложив ему выпить, я тотчас же сообразил, что совершу глупость, отдав ему бутылку — мое единственное оружие против его большого ножа.

Он отпустил ветку, повернулся и, тихо шурша травой, ушел от меня в глубину парка. Он не хотел алкоголя, он не попросил, чтоб я отдал ему «мани», он был из высшей, самой страшной категории — идеалист лунного света. Типы, не желающие ваших денег и не желающие вас изнасиловать, по всей вероятности, желают вас съесть… Иначе зачем ему нож? Такой нож. Зарезать и съесть. Как я поедал только что свинину в желе. Под этой же сосной. Я почувствовал себя кроликом в клетке, которого, понаблюдав за ним, почему-то не выбрал для своего обеда хозяин… Следя за удаляющимся силуэтом, я поднес бутылку к губами отсосал как мог много сладкой и крепкой жидкости. И попытался понять, испытывал ли я когда-либо в жизни подобное состояние. Мне пришлось спуститься к возрасту девяти лет — к возрасту раннего сознания. В большую, шумную грозу я вдруг ощутил, что умрут когда-нибудь мои родители и я останусь один. Участь человека сделалась мне понятна, ребенку, в ту грозу. Я разрыдался, помню, спрятав голову в темный шкаф в коридоре, — внутри квартиры, в нем хранились у нас старые одеяла и всякая ненужная или малонужная рухлядь. А гром сотрясал небо над харьковской окраиной. И мать явилась

с кухни меня утешать. Почему именно в, ту грозу посетил меня ужас? Но то был ужас совсем иного характера ужас судьбы человека. Ужас будущей смерти — вообще идеи смерти…

От 72-й донесло запах дыма. Костер они разожгли там, что-ли? И с той же волной воздуха передвинулись ближе барабаны. Я поднял банку и опустил пальцы в свинину. Липкое желе затрудняло удержание куска в пальцах. Вилку бы… Пожевав, я проглотил сладкое мясо… Вытер пальцы о траву. Пальцы пахли — я понюхал их… неожиданно рыбой. Очевидно, сентябрьская трава, соединившись с желе (бикарбонаты, хлоргидраты? что там?), дала запах рыбы… Централ-Парк подрагивал всеми своими глубинами и темными и светлыми пятнами, всеми оттенками зелени — от слабо-салатного до темно-елового, всеми дистанциями, всеми геометрическими формами, вернее, бесформенностями. И тихо дуло понизу по траве, мне в ноги. Словно где-то были открыты двери, как сквозит в большой квартире, квартира растянулась на полсотни улиц с севера на юг, и на десяток с запада на восток. Сквозило таким пронзительным ветерком… Ветром смерти?.. Этот тип, очевидно, безумен. Почему он бродит с… неразмерным ножом, похожим на театральный или

кухонный? Почему выставляет, а не прячет нож? Скажем, черные или пуэрто-риканские хулиганы — они любят тонкие ножи с выскакивающим изнутри лезвием. Или раскладывающимся, выталкиваемым пружиною с краю лезвием. Ножи пуэрториканцов похожи на пуэрториканцев — такие же тонкие и ловкие. Сам некрупный, я испытываю симпатию к пуэрториканцам? Может быть… Тип, он не пуэрториканец, силуэт не тот. Чокнутый белый человек, у которого в голове перепутались все проволоки. Случайно, противоестественно соединились, и, замкнувшись, он бродит по ночному парку без цели, копытным минотавром, замкнутый. Одни провода мозга подсоединились к противоположным проводам. Только и всего… Однако…

За моей спиной на холме послышался хруст. Некто наступил на ветку в траве, на пустой пакет из-под, на… Спина моя отлипла от соснового ствола сама. Не вставая, оставаясь на корточках, я совершил ловкий поворот-пируэт, как Принц в «Спящей красавице», и увидел ЕГО. Он стоял теперь надо мной, в той же позе, одна рука отводит сосновую ветвь от лица, в другой — театральный нож. Ступни у меня сделались холодными, и пот выступил, я почувствовал, — на

икрах ног… Чтоб икры потели?! Я воспринял это странное биологическое явление как последнее предупреждение озабоченного самосохранением организма, я представил себя в виде машины, которая вот-вот разорвется: все стрелки всех манометров достигли красной черты и трепещут, и дергаются. Нужно было срочно спасать свою шкуру. Я встал и, подняв бутыль, не спеша вышел из-под сосны, раздвинув ее стелющуюся по траве крону. Я знал, что, если я поспешу (спина моя чутко отмечала давление его взгляда) к выходу, к 72-й улице, тип с перепутавшимися в голове проводами бросится на меня, потому что его зрачки (или какая там часть его глаза служит ему для регистрации) зафиксируют в моей спине страх. А его реакции настроены на страх. Определенная теплота, определенное количество страха «включает» его, и он тогда режет, скрежещет зубами, вырезает печень и пожирает ее, вырезает сердце и пожирает сердце… Я почему-то вспомнил, что капитана Кука съели, когда убедились, что он не есть Бог. И подумал, что, может быть, обреченная жертва, доставленная в пещеру к минотавру, чувствовала нечто подобное тому, что чувствую я сейчас: один на один со злым (чуждым) мозгом в окружении скал, камней и деревьев… Идея

человека преступна для кролика, курицы, для овцы и коровы. Для них Человек — Злобный Дух. Минотавр преступен для человека…

Поколыхивая бутылкой, я направился не спеша в глубь парка. Туда, где было темнее и где запутанные асфальтовые тропинки медленно приведут путника через длину, равную длине тринадцати блоков, на Централ-Парк-Южную стрит. На улицу дорогих отелей и длинных лимузинов. Отец внушил мне накрепко в детстве, что от собак никогда не следует убегать. Типы с неправильно соединенными в голове нервами-проводами должны подчиняться законам инстинктов, сходным с законами инстинктов больших собак. Законам охоты.

Первые несколько минут дались мне нелегко. Когда взгляд его уже не мог достигнуть впрямую моей спины, ослаб с расстоянием, мою спину прикрыли ветви, кусты, даже скалы, углы скал (Централ-Парк находится на базальтовом плато. В дочеловеческие времена его процарапал, ползя по нему, ледник), мне сделалось легче. ОН не устремился за мной, потому что в его программе Цель, Добыча обладает другими характеристиками, Она (Цель, Добыча) мечется нервно, кричит, визжит, бежит от. Мои звуки и движения не на-

жали на его спусковой крючок. Я убежден в этом. Я убежден также, что, — если бы я повел себя иначе, если бы мой страх был пойман его средствами, лежать бы мне под той сосной, пальцы в свином желе, птицы прыгают, доклевывая булочки, бутылка портвейна скатилась на асфальтовую тропинку, моя хорошего состава кровь впиталась бы в землю и склеила бы траву в пучки-колтуны, как шоколад склеивает волосы ребенка…

Подойдя ко все еще шумной и яркой в ночи Централ-Парк-Южной, я почувствовал, что меня тошнит. Прислоняясь к ограде, я извергнул ядовитые свинину, портвейн и булочки, облученные взглядом Больного Ума…

Существует научная теория, согласно которой все возможно лишь в строго определенное время. Если объяснить инцидент в Централ-Парке согласно этой теории, получится, что я насильственно вторгся в новое время с поступком из старого времени, и несовместимость между ними едва не уничтожила меня. В 1977 году я бродил по ночному Нью-Йорку, излучая иное биологическое поле — сильное и опасное. Силы же моего сегодняшнего поля (поля парижского писателя), несмотря на всю мою храбрость и опыт, едва хватило, чтобы оттолкнуть Больной Ум. В 1977-м

минотавр бы ко мне побоялся приблизиться. Один минотавр к другому минотавру.

1989

Пьецух Вячеслав
Центрально-Ермолаевская война

На самом деле загадочность русской души разгадывается очень просто: в русской душе есть все. Положим, в немецкой или какой-нибудь сербохорватской душе, при всем том, что эти души нисколько не мельче нашей, а, пожалуй, кое в чем основательнее, композиционней, как компот из фруктов композиционнее компота из фруктов, овощей, пряностей и минералов, так вот, при всем том, что эти души нисколько не мельче нашей, в них обязательно чего-то недостает. Например, ими довлеет созидательное начало, но близко нет духа всеотрицания, или в них полным-полно экономического задора, но не прослеживается восьмая нота, которая называется «гори все синим огнем», или у них отлично обстоит дело с чувством национального достоинства, но совсем плохо с витанием в облаках. А в русской душе есть все: и созидательное начало, и дух всеотрицания, и экономических задор, и восьмая нота, и чувство национального достоинства, и витание в облаках. Особенно хорошо у нас

сложилось с витанием в облаках. Скажем, человек только что от скуки разобрал очень нужный сарайчик, объяснил соседу, почему мы победили в Отечественной войне 1812 года, отходил жену кухонным полотенцем, но вот он уже сидит у себя на крылечке, тихо улыбается погожему дню и вдруг говорит:

— Религию новую придумать, что ли?.. Надо полагать, что эта особенность русской души, в свою очередь, объясняется множеством причин самого неожиданного характера, однако среди них есть совсем уж неожиданные и малоисследованные, которые при всей их мнимой наивности представляются такими же влиятельными, как, допустим, широкое распространение лебеды, — например, топонимика, климат и пейзаж.

Топонимика в русской жизни имеет темное, но какое-то электрическое значение. Как бы там ни было, но раз человек у нас родился в городе Золотой Плес, или в поселке Третьи Левые Бережки, или в селе Африканда, или на улице Робеспьера, то это не может пройти для него бесследно. Тем более если принять в расчет, что в Золотом Плесе, предположим, существует проволочная фабрика и он совершенно заплеван шелухой от подсолнухов, что в Третьи Левые Бережки катер

ходит не каждый день, в Африканде только одна учительница английского языка знает, что такое «субъективный идеализм», а на улице Робеспьера отсутствуют фонари. Конечно, возможно, что значение топонимики отчасти преувеличено, но, с другой стороны, ни для кого не секрет, что москвичи так же отличаются от ленинградцев, как слова «губернатор» и «гувернер», которые имеют в своей основе единый корень.

Нужно признать, что в приложении к местности, где в июле 1981 года развернулась Центрально-Ермолаевская война, роль топонимики в человеческой жизни очень невелика. Правда, здесь есть городок Оргтруд, но собственно название Ермолаево пошло от Федора Ермолаева, который в двадцать втором году взорвал динамитом здешнюю церковь и, таким образом, неумышленно вписал в российскую географию свое имя; прежде деревня называлась Неурожайкой, и существует легенда, что это та самая «Неурожайка», которая помянута у Некрасова. Почему поселок Центральный называется Центральным, это неведомо никому.

Что касается климата, то в здешних местах он работает главным образом на разобщение. Например, если допустить, что в Центральном

вдруг изобрели вечный двигатель, то в Ермолаеве об этом станет известно не раньше, чем минует одна из двух дорожно-транспортных эпопей. Эта. климатическая особенность, как ни странно, имеет серьезный культурный смысл, прямо противоположный тому, который из нее логически вытекает, поскольку при богатстве характеров, поголовном среднем образовании и отсутствии под рукой то того, то другого тут постоянно что-то изобретают. Даже ермолаевский пастух Павел Егоров, в некотором роде реликтовый человек, и тот изобрел новый способ постреливания кнутом, дающий такую воинственную ноту, что ее побаивается даже финский бугай Фрегат. Прибавим сюда бесконечные зимние вечера, уныло озвученные бубнением телевизора или стуком швейной машинки, сиверко, который то и дело страшно заговаривает в дымоходе, авитаминоз по весне, а по осени взвесь ключевой воды, матово стоящую в воздухе, — и у нас получится, что климат по крайней мере значительно влияет на психику здешнего человека.

Наконец, пейзаж. Ермолаево стоит совершенно среди полей; по восточную околицу находится заброшенная конюшня, за нею поле, ограниченное речкой под уничижительным названием

Рукомойник, далее черемуховые заросли, потом опять поле с неглубокими, но сырыми оврагами, где буйствуют болиголов, крапива и гигантские лопухи, потом поле плоское, как скамейка, потом несколько кособокое, как шляпа боровика, и только далеко-далеко, возле самого Центрального, начинаются перелески. По правую околицу тоже одни поля.

Собственно Ермолаево представляет собой обыкновенную деревню в полсотни дворов со всеми приметами обыкновенной деревни: с загадочным строением без окошек, возле которого, на старинной липе, висит обрезок рельса — здешний вечевой колокол, с бревенчатыми колодцами, пахнущими болотом, с тележным колесом, валяющимся возле бригадного клуба, может быть, еще со времен конфликта на КВЖД, с металлическими бочками из-под солярки, обросшими лебедой, — одним словом, со всем тем, что роднит среднерусские деревушки между собой в гораздо большей степени, нежели единоутробие близнецов.

В свою очередь, Центральный-тоже обыкновенный поселок, даже, если можно так выразиться, минус обыкновенный, поскольку здесь нет своего клуба, но зато есть автобусная станция, столо-

вая, ремонтная мастерская и большая клумба напротив поселкового Совета, в центре которой стоит гипсовый футболист, выкрашенный серебрянкой, а какие-то мелкие розовые цветочки, расположенные вокруг него, искусно выстраиваются в надпись «Кто не работает, тот не ест».

Спору нет, пейзажи в этой местности так себе, кроткой живописности пейзажи, однако они настойчиво наводят на одну серьезную мысль, на мысль прямо-таки гоголевского полета: эти пейзажи к чему-то обязывают; к чему именно, не поймешь, но к чему-то обязывают — это точно. Говорят, Женевское озеро ни к чему не обязывает, апеннинские «дерзкие дива природы, увенчанные дерзкими дивами искусства», тоже ни к чему не обязывают, а эта околопустыня обязывает, вот только никак не поймешь к чему. Во всяком случае, она определенно обязывает призадуматься над тем, к чему она обязывает, а это уже немало.

Кроме того, российская околопустыня периодически вгоняет человека в то бесовское состояние духа, когда одновременно хочется и заплакать, и засмеяться, и выкинуть что-либо необыкновенное, огневое. Короче говоря, нет ничего неожиданного в том, что в июле 1981 года молодежь деревни Ермолаево и поселка Центральный

ни с того ни с сего затеяла между собой форменную войну.

Непосредственные причины ее темны; пожалуй, помимо обстоятельств, основательно влияющих на формирование национального образа мышления, вроде топонимики, климата и пейзажа, причин у Центрально-Ермолаевской войны не было никаких, и посему этот традиционный пункт можно безболезненно опустить. Касательно же сил, вовлеченных в междоусобицу, следует оговориться, что они были вовсе даже не многочисленны: с обеих сторон в ней приняли участие практически все тамошние юнцы, в общей сложности человек сорок, а также участковый инспектор Свистунов, зоотехник Семен Аблязов, тракторист Александр Самсонов и один работник районной конторы «Заготзерно». Силы Центрального возглавлял восемнадцатилетний слесарь-ремонтник по прозвищу Папа Карло, а ермолаевскими верховодил двадцатидвухлетний шофер Петр Ермолаев, внук того самого Ермолаева, который взорвал динамитом церковь.

Как это и случается чаще всего, поводом к началу Центрально-Ермолаевской войны послужил пустяк. 17 июля 1981 года Петр Ермолаев приехал на своем мотоцикле в Центральный, чтобы по

поручению дяди выкупить шестой том медицинской энциклопедии. Когда он выходил из книжного магазина, засовывая за борт синей нейлоновой куртки том, возле его мотоцикла стоял Папа Карло и задумчиво глядел на заднее колесо.

— Але! — сказал Папа Карло. — Сколько стоит этот велосипед?

— Я его в лотерею выиграл, — ответил Петр Ермолаев, — но вообще-то он стоит пятьсот рублей.

— Вот что, Петро: я тебе за него предлагаю пятьсот пятьдесят, и знай мою широкую душу.

— Нет, Папа Карло, машина не продается. В лотерею выиграть — это, считай, подарок.

Петр Ермолаев отказал так непоколебимо, что Папа Карло понял: ермолаевский мотоцикл ему не удастся заполучить — и с досады решил над Петром немного поиздеваться.

— Слыхал, — сказал он, — в двадцати километрах от твоего Ермолаева егерь набрел на стадо диких коров. Коровы самые обыкновенные, сентиментальской породы(т. е. симментальской прим. автора), но только дикие. — Это нереально, возразил Петр Ермолаев. — Коровы-то, между прочим, ваши, колхозные, — не обращая внимания на это выражение, продолжал Папа Карло. — Егерь говорит, что это они по лесам от

бескормицы разбрелись. Сами, небось, колбасу лопаете, а скотина у вас на хвое. До чего же вы все-таки, ермолаевские, — лоботрясы и куркули!

Петр Ермолаев от этих слов даже оцепенел. Во-первых, несмотря на то, что Центральный был обозначен на географических картах как поселок городского типа, его обитатели вовсе не считали себя городскими, а во-вторых, ермолаевские отродясь не отличались ничем, кроме необузданности и нахальства.

— Ты думай, что говоришь! — сказал Петр Ермолаев и постучал себе по лбу костяшками пальцев. — Тоже городской выискался!.. Лапоть ты, Папа Карло, и более ничего!

Теперь уже Папа Карло оцепенел, так как по дикости нрава он давненько-таки не слышал в свой адрес не только что бранного слова, но и подозрительного междометия.

— А если я тебе сейчас в рог дам?! — с ужасной вкрадчивостью спросил он. Тогда как?!

Папа Карло, несмотря на юношеский возраст, был малый крупный, мощный, снабженный от природы грознохромными кулаками, и Петру Ермолаеву было ясно, что в одиночку с ним, конечно, не совладать. Он посмотрел на обидчика вдумчиво, проникновенно, как смотрят, решая

про себя навеки запомнить то или иное мгновение жизни, потом завел мотоцикл, сел в седло, дал газ и немедленно окутался тучами желтой пыли.

— Таким лоботрясам, — крикнул ему вслед Папа Карло, — только на лотерею надеяться и остается!..

Этого напутствия тем более невозможно было спустить, и Петр Ермолаев взял с себя слово при первом же удобном случае поквитаться.

Такой случай выдался два дня спустя после того, как он сцепился с Папой Карло возле книжного магазина, — это было 19 июля, День Полевода. На праздник в Ермолаево понаехали гости со всей округи, включая весьма отдаленный городок Орпруд, несколько деревень, название которых ермолаевские даже и не слыхали. Поселок Центральный был представлен на Дне Полевода вечерней сменой слесарей-ремонтников во главе с Папой Карло и букетом девиц самого бойкого поведения.

Около трех часов пополудни правый берег Рукомойника стал заполнять народ. Мужчины явились в темных костюмах, с непременной расческой, засунутой в нагрудный карман, в белых рубашках, преимущественно застегнутых на все

пуговицы, и в сандалиях; на женщинах были бледно-пестрые платья и газовые косынки, повязанные, если так можно выразиться, отрешенно, как будто ими хотели сказать, что надеяться больше не на что, ну разве на чудеса; молодежь была одета демократично.

Вскоре на грузовике приехал буфет, потом наладили громкоговоритель и начались танцы. В первом перерыве между танцами сельсовет сказал речь о значении хлеба, во втором вручил почетные грамоты, а в третьем одна из приезжих девиц залезла в кузов грузовика и спела заразительную частушку:

Вологодские ребята
Жулики, грабители,
Мужичок говно возил,
И того обидели.

Затем гости пошли по дворам угощаться, затем ермолаевский драмкружок дал небольшой концерт, затем опять начались танцы, — словом, праздник в высшей степени удался. Правда, тракторист Александр Самсонов выехал было на бульдозере разгонять народ, но его слегка поучили и отправили отсыпаться. Однако ближе к вечеру, когда ввиду надвигающихся сумерек

танцы перенесли в клуб, а если точнее, то вскоре после того, как зоотехник Аблязов в четвертый раз завел «Танец на барабане», позади клуба разразилась крупная потасовка. Увертюрой к ней послужила следующая сцена: Петр Ермолаев подошел к Папе Карло, отвел его в сторону и сказал: — Ну что, Папа Карло, весело тебе у нас? — А то нет, — ответил Папа Карло и плюнул на пол. Сейчас будет скучно.

С этими словами Петр Ермолаев широко размахнулся и смазал своего обидчика по лицу. Тот только крякнул и пошел на выход, выбычившись, как финский бугай Фрегат.

За клубом человек пять ермолаевских немедленно приняли Папу Карло в дреколье и кулаки, однако на выручку к нему подоспела вечерняя смена слесарей-ремонтников и по-настоящему поквитаться не удалось. Впрочем, можно было с чистой совестью утверждать, что Папа Карло свое получил и парни из Центрального первое сражение проиграли. Побили слесарей, правда, не очень крепко, но в сопровождении тех унизительных выходок и словечек, которые хуже любых побоев.

Именно поэтому парни из Центрального сочли себя оскорбленными не на жизнь а на смерть и

договорились нанести немедленный контрудар. Добравшись до родного поселка на попутном грузовике, они подняли на ноги утреннюю смену слесарей-ремонтников, трех шоферов, кое-кого из учащихся средней школы и на грузовике же, но только не на давешнем, а на другом, обслуживающем ремонтные мастерские, вернулись в деревню мстить.

Было еще не так чтобы очень поздно, часов одиннадцать или начало двенадцатого, однако на дверях клуба уже висел большой амбарный замок. Деревенская улица тоже была пуста и не подавала никаких признаков жизни, если только не брать в расчет, что по дворам томно побрехивали собаки, но вдалеке, у заброшенной конюшни, теплился загадочный костерок. Ребята из Центрального были так огорчены, как если бы их обманули в чем-то большом и важном, и только предположение, что это не кто иной, как противник полуночничает у дальнего костерка, вселяло в них бодрость духа.

Возле полупотухшего костерка сидела компания ермолаевских мальчишек, которые пекли в золе картошку и вели свои обычные разговоры. Как ни сердиты были парни из Центрального, они не могли себе позволить отыграться на ме-

люзге. В результате с мальчишек всего-навсего поснимали штаны и бросили их в костер, да напоследок, чтобы как-то избыть досаду, помочились в кружок на угли, картошку и тлеющие штаны.

Поутру ермолаевские мальчишки рассказали старшим братьям о вылазке слесарей, и единодушно было решено провести ответную операцию. В ночь на 22 июля ермолаевские явились в Центральный и нанесли поселку заметный ущерб: они побили фонари вокруг автобусной станции, разорили клумбу напротив поселкового Совета, при этом обезглавив гипсового футболиста, отлупили одного подгулявшего слесаря, поломали ворота у Папы Карло и сняли карбюраторы с двух тракторов «Беларусь».

На обратном пути ермолаевские пели песни, а их вождь время от времени выкрикивал навстречу ветру следующие слова:

— Вот это жизнь, а ребята? Вот это, я понимаю, жизнь!

В дальнейшем Центрально-Ермолаевская война приняла затяжной характер, деятельно-затяжной, но все-таки затяжной. Произошло это вот по какой причине: в Ермолаеве временно поселился участковый инспектор Свистунов. Под вечер 24 июля парни из Центрального погру-

зились в автобус и поехали в Ермолаево, имея в виду дать деревенским решающее сражение, но на мосту через Рукомойник они неожиданно повстречали Свистунова и сочли за благо ретироваться. Правда, Свистунов был не в полной форме, а, просто сказать, в фуражке, майке, галифе и домашних тапочках, и тем не менее Папа Карло заподозрил подвох; больше всего было похоже на то, что ермолаевские смалодушничали и придали конфликту официальное направление. Итак, вечером 24 июля Папа Карло уговорил свою компанию отступить.

По возвращении восвояси много шумели: нарочно ермолаевские заманили к себе участкового инспектора или он оказался у них случайно? К единому мнению, разумеется, не пришли, но в результате настолько ожесточились, что, если бы не зоотехник Семен Аблязов, подгулявший в Центральном на свадьбе своей сестры, война наверняка приняла бы не позиционное, а более жестокое направление.

Зоотехник Аблязов был неожиданно обнаружен на автобусной станции, возле кассы, у которой он подремывал стоя, по-лошадиному, и, будто нарочно, для вящего сходства, время от времени всхрапывал и вздыхал. Слесари подхва-

тили его под руки и отволокли на двор к Папе Карло, положив наутро во что бы то ни стало выудить у него сведения, однозначно отвечающие на вопрос: нарочно ермолаевские заманили к себе участкового инспектора Свистунова или он оказался у них случайно.

Заперли Семена Аблязова в баньке, стоявшей позади дома. Утром он проснулся чуть свет и долго не мог понять, где он находится и зачем. То, что он сидел в баньке, было ясно как Божий день, но вот у кого в баньке, почему в баньке это была загадка. Аблязов покричал-покричал и смолк.

В восьмом часу его посетил Папа Карло; он вошел в предбанник, сел на скамейку, закурил и сказал:

— Зачем у вас в Ермолаеве околачивается Свистунов?

— Это допрос? — поинтересовался Аблязов. — Допрос, — сказал Папа Карло. — В таком случае я отказываюсь отвечать. Папа Карло с досадой понял, что он дал маху, что, верно, к Аблязову следовало подъехать не с силовой, а с какой-нибудь располагающей стороны, но было уже поздно, пленный, как выражались в Центральном, уперся рогом.

— Ну, а если мы тебя пытать будем, тогда как? —

сказал Папа Карло, хищно прищуривая глаза.

Аблязов оживился, кажется, он был этим предположением сильно заинтригован.

— Интересно, — спросил он, — как же вы меня рассчитываете пытать?

— А вот посадим тебя на одну воду, небось, сразу заговоришь! Или можем предложить раскаленные пассатижи.

В пассатижи Аблязов не поверил, а пить ему хотелось до такой степени, что перед глазами ходили огненные круги.

— Ладно, пытайте, — согласился он. — Только давайте начнем с воды.

Папа Карло плюнул и вышел вон. Некоторое время он бродил вокруг баньки, а потом присел на охапку дров и начал смекать, как бы ему вывести зоотехника на чистую воду. Из-за стен баньки послышалось невнятное бормотание.

— Алё! — громко сказал Папа Карло. — Ты чего там, Семен, бубнишь? — Ась? донеслось из баньки. — Я говорю, ты чего там бубнишь? Помираешь, что ли?

— Нет, это я стихотворение сочиняю. У меня такая повадка, пока я не отремонтируюсь, стихотворения сочинять. — Ну и чего ты там сочинил? — А вот послушай: Чем веселее на улице

пение, Тем второстепенней зарплаты значение. А что?! — сказал Папа Карло. — Законный стих!.. Жизненный, складный, политически грамотный. Тебе бы, Семен, в газетах печататься, а не телок осеменять. Ты в газеты-то посылал?

— Посылал! — донеслось из баньки вместе с протяжным вздохом. — Не печатают они, сукины дети, моих стихов. Говорят, с запятыми у меня получается ерунда.

— Дурят они тебя. На самом деле твои стихи не печатают потому, что характер у тебя пакостный, потому что их только напечатай, как ты сразу потребуешь персональную пенсию. И во всем ты такой! Например, тебя по-человечески просят рассказать, зачем у вас в Ермолаеве околачивается Свистунов, а ты из себя строишь незнамо что! Банька ответила тишиной.

Вскоре на двор к Папе Карло явилось за новостями несколько слесарей. Поскольку желанных гостей не имелось, команда посовещалась и решила-таки прибегнуть к помощи пассатижей. Папа Карло сбегал за ними в сарай, слесари тем временем затопили печь в летней кухне и после того, как пассатижи раскалили до малинового сияния, так что от промасленных концов, которыми обернули ручки, пошел вонючий дымок,

всей командой ввалились в баньку.

Увидев раскаленные пассатижи, решительные физиономии слесарей и сообразив, что дело принимает нешуточный оборот, Аблязов сразу поник лицом. Он уже рад был бы ответить на любые, самые каверзные вопросы, однако он не только не знал того, зачем Свистунов «околачивается» в Ермолаеве, но и того, что в Ермолаеве «околачивается» Свистунов. Впрочем, неведение в некотором роде облегчало аблязовское положение, ибо у него не было искуса повести себя малодушно! С отчаяния он играл желваками и даже улыбался, но все-таки руку его попортили в двух местах.

Так как толку от Аблязова парни из Центрального не добились, около обеденного времени они отпустили его пить пиво и стали советоваться, как быть дальше. В конце концов Папе Карло пришло на мысль заслать в Ермолаево своего человека, человек этот, именно один работник районной конторы «Заготзерно», приходился шурином Папе Карло. Он как раз собирался в Ермолаево по делам, и его обязали навести справку относительно инспектора Свистунова, какую он впоследствии и навел.

В свою очередь, ермолаевские были до такой

степени обеспокоены пассивностью неприятеля, что попросили тракториста Самсонова, который направлялся в Центральный менять поршневые кольца, разнюхать, не готовятся ли тамошние как-либо диковинно отомстить. Однако Самсонов никаких сведений не представил, ибо ему принципиально всучили такие поршневые кольца, что он намертво встал в двух километрах по выезде из Центрального и с горя заявился домой в невменяемом состоянии.

Между тем работник «Заготзерна» исправно донес о том, что участковый уполномоченный Свистунов просто-напросто гостил в Ермолаеве у своего двоюродного брата, что утром двадцать четвертого числа он надолго отбывает в Оргтруд и что в тот же день вечером вся ермолаевская молодежь соберется в клубе на репетицию пьесы «Самолечение приводит к беде», которую сочинил тамошний фельдшер Серебряков.

Таким образом, на 29 июля наметился переход от позиционного периода к боевому. Как оно намечалось, так и вышло: утром того памятного дня ермолаевские избили водителя поселкового грузовика, который вез продукты из Оргтруда и неосмотрительно остановился у Рукомойника освежиться, а вечером произошло, так сказать,

Ермолаевское сражение.

Около пяти часов вечера парни из Центрального погрузились в автобус, прихватив с собой велосипедные цепи, обрезки шлангов и картонный ящик, обернутый мешковиной. В седьмом часу автобус остановился возле моста через Рукомойник, команда спешилась и стала дожидаться сумерек, так как ударить было решено под покровом ночи. Чтобы скоротать время, сначала выкупались в реке, а потом развели костер, уселись и принялись за скабрезные анекдоты. Наконец на синюшном небе проступила первая, сумеречная звезда, парни из центрального затушили костер и цепью тронулись на деревню.

В это время ермолаевская молодежь, как и было обещано, репетировала пьесу «Самолечение приводит к беде». Режиссировал фельдшер Серебряков; он сидел на бильярдном столе, держа между пальцами самокрутку, и говорил:

— Вы поймите, товарищи, что тут у нас драма, почти трагедия. Потому что человек из-за этого… из-за вольнодумства, вместо того чтобы вылечиться, еще хуже заболевает. Тут, товарищи, плакать хочется, а вы разводите балаган! Давайте эту сцену сначала! Давай, Ветрогонов…

Щуплый, не по-деревенски бледный паренек,

представлявший Ветрогонова, шмыгнул носом и произнес свою реплику:

— Я признаю исключительно народные средства. Например: сто граммов перца на стакан водки. — Вступает Правдин, — распорядился Серебряков. — На такое лечение денег не напасешься, — вступил Правдин, которого изображал Петр Ермолаев. — Если, конечно, их не печатать.

— Отлично, Правдин, — похвалил его Сергей Петрович и показал большим пальцем вверх. — Теперь опять Ветрогонов.

— Мне печатать деньги ни к чему, я всегда от жены заначку имею…

— Нет, — оборвал парнишку Серебряков, — так не пойдет! Ты давай говори эти слова, как сказать… развратно, что ли, потому что в разделе «Действующие лица» у нас имеется примечание: «Роман Ветрогонов, молодой механизатор, любитель семейной свободы». А ты эти слова так говоришь, как будто прощенья просишь. Повтори еще раз!

— Мне печатать деньги ни к чему, я всегда от жены заначку имею, — повторил Ветрогонов, состроив такую дурацкую мину, что прочие действующие лица прыснули в кулак.

— Это абсурдные слова, — сказал Правдин. — В

семье все должно быть обоюдно, при полном согласии сторон. Потому что семейное счастье — явление хрупкое. Оно складывается из трех категорий: духовной, физической, материальной. И материальная база в семейном счастье занимает не последнее место, поэтому получку ложи в одно место с женой. Чем крепче семья, тем крепче отечество!..

— Так! — сказал Серебряков. — Теперь у нас идут звуки из-за кулис: «мычание коров, блеяние овец, рев быка». Пашка?! Куда подевался Пашка?

— Я тут, — отозвался пастух Павел Егоров, которому из-за придурковатости смогли доверить только «звуки из-за кулис».

— Давай, Емеля, твоя неделя, — язвительно приказал кто-то из ермолаевских.

Павел добросовестно изобразил то, что от него требовалось.

— Так! — сказал Серебряков. — Правдин уходит, остается один Ветрогонов. Эх, полечиться, что ли…

— «Берет стакан, — начал читать ремарку Серебряков, — сыплет в него перец, ромашку, ревень, ваниль, заливает водкой, размешивает, подносит ко рту». Тут у нас снова голос из-за кулис…

— Самолечение приводит к беде! — произнес Павел Егоров гробовым голосом, выглянув из-за трибуны, выкрашенной под орех, и деланно рассмеялся.

— Это ктой-то говорит?! — довольно натурально произнес Ветрогонов. Привидение, что ли?

— В привидения верят только старые бабки и дураки, — ответил ему Правдин, выйдя из-за кулис. — Это говорит голос разума…

Как раз на словах «это говорит голос разума» противник из Центрального, скрытно вторгнувшийся в Ермолаево, завершил окружение клуба широким полукольцом, и Папа Карло начал распаковывать ящик, в котором оказались бутылки с зажигательной смесью, приготовленные поселковым умельцем по прозвищу Менделеев. Разобрав бутылки, ребята из Центрального изготовились и застыли.

В клубе тем временем зажгли свет, и ярко вспыхнувшие окошки отбросили на мураву огромные бледные прямоугольники. Где-то вдалеке промычал теленок, промычал жалобно, призывно, точно пожаловался на что-то. Явственно слышался голос Петра Ермолаева, разоблачавшего народную медицину. На крыльцо вышел какой-то парень с крошечной звездочкой

сигареты, несколько раз затянулся и через минуту исчез за дверью.

— Пора! — сказал Папа Карло, и в окна клуба полетели бутылки с зажигательной смесью: зазвенело стекло, раздался надрывный визг, дробно, панически застучали по полу ноги; потом из окон повалил масляно-черный дым, погас свет, и внутренность клуба зловеще озарилась занимающимся огнем

Расчетам вопреки, ермолаевских не сломили внезапность и причудливость нападения. Повыскакивав из клуба и напоровшись на парней из Центрального, они почти сразу опомнились и оказали неприятелю жестокий отпор. С четверть часа ситуация оставалась невнятной: кто сдает, кто берет верх — этого было не разобрать. Только жутко свистели в воздухе велосипедные цепи, со всех сторон слышалось горячее дыхание, дикие возгласы, матерщина. Петр Ермолаев свирепо раскидывал слесарей, приговаривая:

— Эх, кто с мечом к нам придет!.. — Дальше он почему-то не продолжал. Папа Карло воевал молча.

Однако, когда уже сделалось так темно, что своих от чужих отличить было практически невозможно, ребята из Центрального вынуждены

были отойти сначала к заброшенной конюшне, а там и к Рукомойнику, где их поджидал автобус.

Очистив деревню от неприятеля, ермолаевские вернулись в клуб подсчитать потери. Собственно, потери были исключительно материальные, если не принимать во внимание ссадины, шишки и синяки: в клубе были побиты стекла да сгорел бильярдный стол, сундук, в котором хранили елочные украшения, и два никудышных стула. Тем не менее эти мизерные потери были приняты близко к сердцу, и ермолаевские, морщась от запаха гари, стали прикидывать, как бы опять же Центральному отомстить. Предложения были следующие: потравить дустом поселковую пасеку, которую постоянно вывозили на ермолаевскую гречиху, разобрать избу Папы Карло, взорвать ремонтные мастерские. Но ни одному из этих предложений не суждено было осуществиться, так как в силу некоего космического происшествия Центрально-Ермолаевская междуусобица неожиданно пресеклась.

На другой день рано утром, едва отзвонил обрезок рельса и путем не проспавшийся народ направился на работу, тракторист Александр Самсонов начал распространять беспокойно-любопытную весть: будто бы 31 июля ожидается

последнее в двадцатом столетии полное солнечное затмение.

Эта весть почему-то произвела на деревне смуту: старики злобно взбодрились, видимо, предвкушая исполнение библейского обещания, ермолаевские среднего возраста немного занервничали, глядя на стариков, молодежь же принялась коптить стекла. Стекла коптили буквально с утра до вечера, используя на это дело каждый досужий час. Петр Ермолаев пошел еще дальше: он взял отгул и сел сооружать маленький телескоп, на который пошла «волшебная трубка», то есть калейдоскоп, два увеличительных стекла, два дамских зеркальца и старинный светец, обнаруженный за рулоном толя на чердаке.

В пятницу 31 июля все ермолаевское население с раннего утра высыпало на улицу и, как ни бесновался бригадир, гнавший колхозников на работу, молча простояло возле своих дворов до тех пор, пока не увидело обещанного затмения. Это была по-своему пленительная картина: раннее утро, еще свежо, улица, сотни полторы ермолаевских, которые задрали головы и с самыми трогательными выражениями смотрят в небо, полная тишина; впечатление такое, что грядет какая-то небывалая общечеловеческая беда или,

напротив, обязательное и полное счастье; чувство такое, что если сверху ничего так-таки и не упадет, то это будет ужасно странно; а тут еще Петр Ермолаев забрался с телескопом на крышу своей избы и до страшного похож на жреца, который готовится к общению с небесами.

Солнце довольно долго не подавало признаков ожидаемого затмения, и вскоре среди ермолаевских пошел ропот. Но вдруг правый краешек огненного диска тронула легкая пелена, как если бы это место несколько притушили, — толпа вздохнула и обмерла. Затем началось нечто апокалипсическое, похожее на гриппозное сновидение: постепенно стало темнеть, темнеть, внезапно смолкли все звуки, кузнечики в поле — и те притихли, и только на ферме дико заревел финский бугай Фрегат; через некоторое время блеснули звезды, и даже не блеснули, а навернулись, что ли, как наворачивается слеза, и немедленно пала ночь; по земле побежал ветерок, пугающий на манер неожиданного прикосновения, затхло-холодный, как дыхание подземелья. Черное солнце смотрело сверху пустой глазницей, оправленной в золотое очко, потусторонним светом горела линия горизонта, и было несносно тихо, по-космическому тихо, не

по-земному.

В общем затмение ошарашило ермолаевских, особенно молодежь. Впечатление от него оказалось настолько значительным, что не обошлось без кое-каких капризных последствий, например, тракторист Александр Самсонов зарекся пить. Что ж касается молодежи, то она на какое-то время притихла, смирилась, как это бывает, когда дети получат заслуженный нагоняй. Собственно, никто не понял, что такое произошло, но все поняли: что-то произошло. Впрочем, во влиятельности на него топонимики, климата, пейзажа нет ничего особенно удивительного, ибо у нас почему-то ничто так не перелопачивает человека и его даже жизнь, как наиболее внешние, казалось бы, посторонние обстоятельства. Суховеи у нас подчас ставят на край могилы самою российскую государственность, как это было в начале семнадцатого столетия, необузданные пространства и эпидемии определяют направление литературы, хвостатые кометы до такой степени сбивают с толку власти предержащие, что они провоцируют соседей на интервенции; а разливы рек, уносящие целые погосты? а благословенные русские дороги, имеющие великое историческое значение, так как они испокон

веков обороняют нас от врагов? а грамматика нашего языка, которая обусловливает огромную внутреннюю работу? а, наконец, широкое распространение лебеды? Одним словом, не так глупо будет предположить, что солнечное затмение вогнало в меланхолию ермолаевскую молодежь по той самой логике, по какой даже отъявленный негодяй, встретивший похороны, на какое-то время становится человеком.

Логично также будет предположить, что дело тут отнюдь не в небесной механике, суховеях и грамматике русского языка, что просто какой-то основной закон нашей жизни строит универсальные характеры, чрезмерно богатые судьбы и разные причудливые происшествия, от которых так и тянет ордынским духом. Но это все-таки сомнительная идея, потому что сомнительно, чтобы фермер из какой-нибудь Оклахомы был нравственно организованнее механизатора из-под Тамбова, чтобы жизнь в Оставковском районе была менее содержательной, нежели жизнь в округе Мэриленд, а там деревенская молодежь все же не так изгаляется, как у нас. Следовательно, разгадка все-таки в том, что в русской душе есть все, а все в ней есть потому, что она отчего-то совершенно открыта перед

природой, в которой есть все, и, следовательно, дело именно в небесной механике, суховеях и грамматике русского языка.

Итак, сразу после солнечного затмения 31 июля 1981 года Центрально-Ермолаевская междуусобица нежданно-негаданно пресеклась. Формальный мир был заключен 4 августа, в деревне Пантелеевка, стоявшей на пути в городок Оргтруд, во время тамошнего престольного праздника, на который съехалась вся округа. Петр Ермолаев и Папа Карло столкнулись в самом начале танцев. Папа Карло уже было полез в задний карман за разводным ключом, припасенным на всякий случай, однако вид у врага был до того добродушный, миролюбивый, что на первых порах он решил ограничиться свирепым взглядом из-под бровей. Петр Ермолаев подошел к нему твердым шагом, протянул сигарету, зажженную спичку, потом спросил: — Затмение видел? — Ну видел… — сказал Папа Карло.

— Правда, впечатляет?! — Ну впечатляет… — Слушай, Папа Карло, давай мириться? Папа Карло оглянулся на своих слесарей, стоявших поблизости наготове, и произнес: — Мириться мы никогда не против. — Чтобы не быть голословным, — продолжал Петр Ермолаев, — дарю

тебе мой мотоцикл, тем более что я его все равно выиграл в лотерею.

Папа Карло порозовел и сначала наотрез отказался от мотоцикла, потом из принципа предложил за него полторы цены, но в конце концов был вынужден уступить.

— Если что, ты прости, — в заключение сказал он. — И ты прости, если что, сказал Петр Ермолаев.

Поскольку от «прости» вообще, отечественное «прости» отличается тем, что имеет самостоятельное значение, как правило, избыточное, даже чрезмерное относительно его возбудителя, наступивший мир оказался таким же отчаянным, как и давешняя война. Бывшие неприятели не на шутку сдружились, и впоследствии дело зашло так далеко, что было решено осуществить совместную постановку нового опуса фельдшера Серебрякова под названием «Внимание — бутулизм!». Тракторист Александр Самсонов, правда, предупреждал юных односельчан, что их благодушие преждевременно, так как в январе ожидается еще полное лунное затмение, и невозможно предсказать, чем оно обернется.

1988

Толстая Татьяна
Поэт и муза

Нина была прекрасная, обычная женщина, врач и, безусловно, заслужила, как и все, свое право на личное счастье. Она это очень хорошо сознавала. К тридцати пяти годам после длительного периода невеселых проб и ошибок — не стоит о них говорить — она ясно поняла, что ей нужно: нужно ей безумную, сумасшедшую любовь, с рыданиями, букетами, с полуночными ожиданиями телефонного звонка, с ночными погонями на такси, с роковыми препятствиями, изменами и прошениями, нужна такая звериная, знаете ли, страсть — черная ветреная ночь с огнями, чтобы пустяком показался классический женский подвиг стоптать семь пар железных сапог, изломать семь железных посохов, изгрызть семь железных хлебов — и получить в награду как высший дар не золотую какую-нибудь розу, не белый пьедестал, а обгорелую спичку или автобусный, в шарик скатанный билетик — крошку с пиршественного стола, где поел светлый король, избранник сердца. Ну, естественно, очень многим

женщинам нужно примерно то же самое, так что Нина была, как уже сказано, в этом смысле самая обычная женщина, прекрасная женщина, врач.

Побывала она замужем — все равно что отсидела долгий, скучный срок в кресле междугородного поезда и вышла усталая, разбитая, одолеваемая зевотой в беззвездную ночь чужого города, где ни одной близкой души.

Потом какое-то время пожила отшельницей, увлекалась мытьем и натиркой полов в своей чистенькой квартирке, поинтересовалась кройкой и шитьем и опять заскучала. Вяло тлел роман с дерматологом Аркадием Борисычем, имевшим две семьи, не считая Нины. После работы она заходила за ним в его кабинет никакой романтики: уборщица вытряхивает урны, шваркает мокрой шваброй по линолеуму, а Аркадий Борисыч долго моет руки, трет щеточкой, подозрительно осматривает свои розовые ногти и с отвращением смотрит на себя в зеркало. Стоит, розовый, сытый, тугой, яйцевидный, Нину не замечает, а она уже в пальто на пороге. Потом высунет Треугольный язык и вертит его так и сяк — боится заразы. Тоже мне Финист Ясный Сокол! Какие такие страсти могли у нее быть с Аркадием Борисычем — никаких, конечно.

А она заслужила право на счастье, она имела все основания занять очередь туда, где его выдают: лицо у нее было белое и красивое, брови широкие, черные гладкие волосы низко начинались на висках, и сзади — пучок. И глаза были черные, так что мужчины в транспорте принимали ее за молдаванку, и даже как-то привязался к ней в метро, в переходе на «Кировской», человек, уверявший, что он скульптор и чтобы она сейчас же шла с ним позировать, якобы для головки гурии, срочно: у него глина сохнет. Конечно, она не пошла по естественному недоверию к лицам творческих профессий, так как у нее уже был печальный опыт, когда она согласилась выпить кофе с одним будто бы кинорежиссером и еле унесла ноги, — большая такая была квартира с китайскими вазами и косым потолком в старом доме.

…А времечко-то бежало, и при мысли о том, что у нас в стране примерно сто двадцать пять миллионов мужчин, а ей судьба отслюнила от своих щедрот всего лишь Аркадия Борисыча, Нине иногда становилось не по себе. Можно было бы найти другого, но кто попало ей тоже был не нужен. Душа-то у нее с годами становилась все богаче, и саму себя она понимала и чувствовала

все тоньше, все больше жалела себя осенними вечерами: некому себя преподнести, такую стройную, такую чернобровую.

Иногда она заходила в гости к какой-нибудь замужней подруге и, одарив чужого ушастого ребенка шоколадом, купленным в ближайшей булочной, пила чай, долго говорила, все поглядывая на себя в темное стекло кухонной двери, где ее отражение было еще загадочнее, еще выигрышнее и выгодно отличалось от расплывшегося силуэта приятельницы. И было бы просто справедливо, чтобы ее кто-нибудь воспел. Выслушав наконец и подругу — что куплено, да что пригорело, и чем болел ушастый ребенок, рассмотрев чужого стандартного мужа — лоб с залысинами, тренировочные штаны, растянутые на коленках, нет, такой не нужен, уходила, разочарованная, уносила себя, изящную, за дверь, и на площадку, и вниз по лестнице, в освежающую ночь — не те люди, зря приходила, напрасно преподнесла себя и оставила в тусклой кухне свой душистый отпечаток, напрасно скормила изысканный, с горчинкой шоколад чужому ребенку, только сожрал, и измазался, и не оценил, вот пусть-ка его засыплет с ног до головы диатезом. Зевала.

А потом была эпидемия японского гриппа, ко-

гда всех врачей сняли с участков на вызовы, и Аркадий Борисыч тоже ходил, надев марлевый намордник и резиновые перчатки, чтобы вирус не прицепился, но не уберегся, слег, и его больные достались Нине. Тут-то, как выяснилось, ее и подстерегала судьба, лежавшая в лице Гриши на топчане, под вязаными одеялами, бородой кверху и в полном беспамятстве. Тут-то оно все и случилось. Полугруп немедленно похитил Нинино заждавшееся сердце; скорбные тени на его фарфоровом челе, тьма в запавших глазницах, нежная борода, прозрачная, как весенний лес, сложились в волшебную декорацию, незримые скрипки сыграли свадебный вальс — Ловушка захлопнулась. Ну все знают, как это обычно бывает.

Над умирающим заламывала руки омерзительно красивая женщина с трагически распущенными волосами (потом, правда, оказалось, что ничего особенного, всего лишь Агния, школьная подруга Гришуни, неудавшаяся актриса, немножко поет под гитару, ерунда, не с той стороны грозила опасность) — да, да, она вызывала врача, спасите! Она, знаете ли, зашла случайно, ведь дверей он не запирает и никогда не зовет на помощь, Гриша, дворник, поэт, гений, святой! И вот… Нина отклеила взгляд от демонически

прекрасного дворника, осмотрела комнату большая зала, пивные бутылки под столом, пыльная лепнина на потолке, синеватый свет сугробов из окошек, праздный камин, забитый хламом и ветошью.

— Он поэт, поэт, он работает дворником за жилплощадь, — бормотала Агния.

Нина выгнала Агнию, сняла сумку, повесила на гвоздь, бережно взяла из Гришуниных рук свое сердце и прибила его гвоздями к изголовью постели. Гришуня бредил в рифму. Аркадий Борисыч растаял, как сахар в горячем чае. Тернистый путь был открыт.

Вновь обретя слух и зрение, Гришуня узнал, что счастливая Нина останется с ним до гробовой доски; вначале он немного удивился и хотел отсрочить наступление нечаянного счастья или, если уж это нельзя, — приблизить встречу с доской, но после по мягкости характера стал покладистее, только просил не разлучать его с друзьями. Временно, пока он не окреп, Нина пошла ему навстречу. Конечно же, это была ошибка: он быстро встал на ноги и снова втянулся в бессмысленное общение со всей этой бесконечной оравой: тут были и какие-то молодые люди неопределенных занятий, и старик с гитарой, и поэты-девяти-

классники, и актеры, оказывавшиеся шоферами, и шоферы, оказывавшиеся актерами, и одна демобилизованная балерина, говорившая: «Ой, я еще позову наших», — и дамы в бриллиантах, и непризнанные ювелиры, и ничьи девушки с запросами в глазах, и философы-недоучки, и дьякон из Новороссийска, всегда привозивший чемодан соленой рыбы, и подзадержавшийся в Москве тунгус, боявшийся испортить себе пищеварение столичной пищей и евший только свое какой-то жир пальцем из баночки.

Все они — сегодня одни, а завтра другие — набивались вечерами в дворницкую; трехэтажный флигелек трещал, приходили жильцы верхних этажей, бренчали на гитаре, пели, читали свои и чужие стихи, но в основном слушали хозяйские. Гришуня у них считался гением, уже много лет вот-вот должен был выйти его сборник, но мешал какой-то зловредный Макушкин, от которого все зависело, Макушкин, поклявшийся, что, мол, только через его труп. Кляли Макушкина, превозносили Гришу, женщины просили читать еще, еще, Гриша смущался и читал — густые, многозначительные стихи наподобие дорогих заказных тортов с затейливыми надписями, с торжественными меренговыми башнями, стихи,

отяжеленные словесным кремом до вязкости, с внезапным ореховым хрустом звуковых скоплений, с мучительными, вредными для желудка тянучками рифм. «Э-э-э-э-э», — качал головой тунгус, ни слова, кажется, не понимавший по-русски. «Что, ему не нравится?» — тихо спрашивали гости. «Нет, кажется, это у них похвала», — мотала волосами Агния, боявшаяся, что тунгус ее сглазит. Гости засматривались на Агнию и приглашали ее продолжить вечер в другом месте.

Естественно, все это обилие народу было Нине неприятно. Но самое неприятное было то, что каждый Божий день, когда ни забежишь — днем ли, вечером ли после дежурства, — в дворницкой сидело, пило чай и откровенно любовалось Гришиной мягкой бородой убогое существо не толще вилки — черная юбка до пят, пластмассовый гребень в тусклых волосах — некто Лизавета. Конечно, никакого романа у Гришуни с этой унылой тлей быть не могло. Посмотреть только, как она, выпростав из рукава красную костлявую руку, неуверенно тянулась за каменным, сто лет провалявшимся пряником — будто ждала, что ее сейчас стукнут, а пряник отберут. И щек у нее было меньше, чем требуется человеку, и челюстей больше, и нос хрящеватый, и вообще было в ней

что-то от рыбы — черной, тусклой глубоководной рыбы, ползающей по дну в непроглядном мраке и не смеющей подняться выше, в светлые солнечные слои, где резвятся лазурные и алые породы жителей отмелей.

Нет, какой уж тут роман. Но Гришуня, блаженненький, смотрел на этот человеческий остов с удовольствием, читал ей стихи, подвывая и приседая на рифмах, и после, сам расчувствовавшись от собственного творчества, сильно, со слезой мигал и отворачивался, поглядывая на потолок, чтобы слезы втекли обратно, а Лизавета трясла головой, изображая потрясение всего организма, сморкалась и имитировала детские прерывистые вздохи, будто тоже после обильных рыданий.

Нет, это Нине было крайне неприятно. От Лизаветы нужно было избавляться. А Гришуне нравилось это наглое поклонение; да ему, неразборчивому, все нравилось на этом свете: и утреннее махание лопатой по рыхлому снежку, и житье в зале с камином, заваленным трухой, и то, что первый этаж и дверь отворена — заходи любой, и толчея, и шастанье туда-сюда, и лужа от натекшего снега в сенях, и все эти девочки и мальчики, актеры и старики, и бесхозная Агния, добрейшее якобы существо, и неизвестно зачем

приходящий тунгус, и все эти юродивые, признанные и непризнанные, гении и отверженные, и обглоданная Лизавета, и для круглого счета — заодно и Нина.

У посетителей флигелька Лизавета считалась художницей, и действительно, ее выставляли на второсортных выставках, а Гришуня вдохновлялся ее темной мазней и сочинил соответствующий цикл стихов. Чтобы изготовить свои полотна, Лизавета, как африканский колдун, должна была привести себя в необузданную ярость, и тогда в ее тусклых глазах зажигался огонь, и с криками, хрипами, с каким-то грязным гневом она накидывалась и месила кулаками на холсте голубые, черные, желтые краски и тут же расцарапывала ногтями непросохшую масляную кашу. Направление называлось — когтизм, страшное было зрелище. Правда, получались какие-то подводные растения, звезды, висящие в небе замки, что-то ползучее и летучее одновременно.

«А почему нельзя спокойнее?» — шептала Гришуне Нина, наблюдавшая как-то сеанс когтизма. «Ну вот, стало быть, нельзя, — шептал дорогой Гришуня, дыша сладкими ирисками, — это вдохновение, это дух, что ты поделаешь, он же бродит где хочет». И глаза его светились лаской и почте-

нием к бесноватой пачкунье.

Лизаветины костлявые руки расцветали язвами от ядовитых красок, и такими же язвами покрывалось Нинино ревнивое сердце, прибитое гвоздями над Гришиным изголовьем. Не хотела она пользоваться Гришей на общих основаниях; ей и только ей должны были принадлежать голубые очи и прозрачная борода красавца дворника. О, если бы она могла стать не случайной, зыбкой подругой, а полновластной хозяйкой, положить Гришуню в сундук, пересыпать нафталином, укрыть холщовой тряпочкой, захлопнуть крышку и усесться сверху, подергивая замки: прочны ли?

О, тогда — все что угодно, тогда пусть Лизавета. Пусть она живет и коптит свои картины, пусть хоть зубами их грызет, хоть на голову встанет и так и стоит нервным столбом, принаряженная, с оранжевым бантом в тусклых волосах, на ежегодных выставках у своих варварских полотен, краснорукая, краснолицая, вспотевшая и готовая заплакать от обиды или счастья, пока в углу на шатком столике, прикрывшись ладошками от любопытных, граждане пишут в богатый красный фолиант неизвестный до поры отзыв: может быть, «безобразие», или «великолепно», или

«куда смотрит администрация», или же что-нибудь слюнявое, вычурное за подписью группы провинциальных библиотекарш — как их якобы пронзило насквозь святое и вечное искусство.

О, вырвать Гришу из тлетворной среды, обчистить с него прилипших, как ракушки к днищу корабля, посторонних женщин, вытащить из бурного моря, перевернуть, просмолить, проконопатить, водрузить на подпорки в тихое, спокойное место!

А он, беспечный, готовый повиснуть на шее у любой уличной собаки, пригреть любого антисанитарного бродягу, тратил себя на толпу, разбрасывал себя пригоршнями; простая душа, брал авоську, нагружал ее простоквашей и сметаной и шел навещать заболевшую Лизавету, и приходилось идти с ним, и, Боже мой, что за берлога, что за комната, желтая, жуткая, заросшая грязью, слепая, без окон! И еле различимая на железной койке под военным одеялом Лизавета, блаженно наполняющая черный рот белой сметаной, и Лизаветина испуганная, толстая, непохожая дочь над школьными тетрадками.

«Ну как ты тут вообще?» — спрашивал Гришуня. И Лизавета шевелилась у желтой стены: «Ничего». «Тебе нужно что-нибудь?» — навязывался

Гришуня. И железная койка скрипела: «Настя все сделает». «Ну, учись», — топтался поэт, гладя толстую Настю по голове, и пятился в коридор, а обессиленная Лизавета уже спала.

«Нам бы надо с ней, это… объединиться, — неопределенно показывал руками Гришуня и отводил глаза. — Видишь, какие трудности с жильем. Она из Тотьмы, снимает чулан, а ведь какой талант, а? И дочка у нее очень к искусству тянется. Она лепит хорошо, а кто ее в Тотьме учить будет». «Мы с тобой женимся, я твоя», — строго напомнила Нина. «Да, конечно, я забыл», — извинился Гришуня. Мягкий был человек, только дурь в голове.

Уничтожить Лизавету было так же трудно, как перерезать яблочного червя-проволочника. Когда ее пришли штрафовать за нарушение паспортного режима, она уже ютилась в другом месте, и Нина посылала отряды туда. Лизавета пряталась в подвалах — Нина затопляла подвалы; она ночевала в сараях — Нина сносила сараи; наконец Лизавета сошла на нет и стала тенью.

Семь пар железных сапог истоптала Нина по паспортным столам и отделениям милиции, семь железных посохов изломала о Лизаветину спину, семь кило железных пряников изгрызла

в ненавистной дворницкой — надо было играть свадьбу.

Уже редела пестрая компания, уже приятная тишина стояла вечерами во флигеле, уже с уважением стучал в дверь случайный смельчак и тщательно, сразу жалея, что пришел, вытирал ноги под Нининым взглядом. Недолго оставалось Гришуне уродоваться с лопатой и зарывать свой талант в сугробы, он переезжал к Нине, где его ждал прочный, просторный письменный стол, покрытый оргстеклом, слева на столе — вазочка с двумя прутиками вербы, справа — в рамке с откляченным хвостом улыбалась Нинина фотокарточка, так сказать, «твое лицо в его простой оправе». И улыбка ее обещала, что все будет хорошо, сытно, тепло и чисто, что Нина сама сходит к товарищу Макушкину, чтобы решить наконец затянувшийся вопрос со сборником, она попросит товарища Макушкина внимательно просмотреть материалы, дать советы, кое-что подправить, нарезать вязкий торт Гришиного творчества на съедобные порционные пирожные.

Нина разрешила Гришуне в последний раз проститься с друзьями, и на прощальный ужин повалили неисчислимые полчища — девочки и уроды, старики и ювелиры, и пришли, вывора-

чивая Ноги, трое балетных юношей с женскими очами, и приполз хромой на костылях, привели слепого, и мелькнула тень Лизаветы, почти уже бесплотная, а толпа все прибывала, жужжала и неслась, как мусор из пылесоса, пушенного в обратную сторону, и расползались какие-то бородачи, и стены флигеля раздвигались под людским напором, и были крики, плач и кликушество. Били посуду. Балетные юноши уволокли истерическую Агнию, прищемив ей волосы в дверях, тень Лизаветы изгрызла себе руки и валялась на полу, требуя, чтобы ее затоптали, — просьбу уважили; дьякон увел тунгуса в уголок и расспрашивал его знаками, какая у них вера, и тунгус отвечал, тоже знаками, что вера у них самая хорошая.

А Гриша бился фарфоровым лбом об стену и кричал, что ладно, он умрет, но после смерти, вот увидите, — снова вернется к друзьям и уже больше никогда с ними не расстанется.

И дьякон не одобрял такие речи. И Нина тоже не одобряла.

А к утру вся нечисть сгинула, и Нина, уложив Гришуню в такси, отвезла его в свой хрустальный дворец.

…Ах, знаете, некому написать портрет люби-

мого человека, когда он, протирая заспанные голубые очи и выпростав из-под одеяла молодую мохнатую ногу, зевает во всю ширь! И смотришь на него как завороженная, и все-то в нем твое, твое: и изъян в зубном ряду, и проплешина, и чудесная бородавка!

И чувствуешь себя королевой, и люди расступаются на улице, и коллеги почтительно кивают, и Аркадий Борисыч вежливо подает руку, обернутую в стерильную бумажку.

Хорошо было врачевать доверчивых больных, хорошо нести домой полные сумки вкуснятины, хорошо было вечером проверять, как заботливая сестра, что написал Гришуня за день.

Только вот слабенький он был, много плакал, и не хотел кушать, и не хотел писать ровненько на чистой бумаге, а все подбирал по старой привычке клочки да сигаретные коробки и чертил каракульки, а то просто рисовал загогулины и закорючки. И сочинял про желтую-желтую дорогу, все про желтую дорогу, а над дорогой — белая звезда. Нина качала головой: «Подумай, солнышко, такие стихи нельзя нести товарищу Макушкину, а ты должен думать о сборнике, мы живем в реальном мире». Но он не слушал и все писал про звезду и дорогу, и Нина кричала:

«Ты меня понял, солнышко?! Не смей такое сочинять!» И он пугался и дергал головой, и Нина, смягчившись, говорила: «Ну-ну-ну» — и, уложив его в постель, поила мятой и липой, поила адонисом и пустырником, а он, неблагодарный, плакал без слез и придумывал оскорбительные для Нины стихи о том, что пустырник, мол, пророс в его сердце, и заглох его сад, и выжжены леса, и какой-то ворон склевывает, дескать, последнюю звезду с умолкшего небосклона, и будто он, Гришуня, в какой-то неопределенной избе толкает и толкает примерзшую дверь, но не выйти, и только стук красных каблуков вдалеке… «Чьи же это каблуки? — потрясла Нина листком. — Вот просто интересно знать: чьи это каблуки?!» «Ничего ты не понимаешь», — вырывал бумагу Гришуня. «Нет, я все прекрасно понимаю, — с горечью отвечала Нина, — я просто хочу знать, чьи это каблуки и где они стучат?» «А-а-а-а-а!!! Да они у меня в голове стучат!!!» — орал Гришуня, накрываясь одеялом с головой, а Нина шла в уборную, рвала стихи и обрушивала их в водяную преисподнюю, в маленькую домашнюю Ниагару.

Раз в неделю она проверяла его письменный стол и выбрасывала те стихи, которые женатому человеку сочинять неприлично. И порой ночью

она поднимала его на допрос: пишет ли он для товарища Макушкина или отлынивает? И он закрывался руками, не в силах вынести яркого света ее беспощадной правды.

Так они худо-бедно прожили два года, но он, хотя и окруженный всяческой заботой, не ценил ее любви и совсем перестал стараться. Бродил по квартире и бормотал, бормотал, что вот он умрет, и завалят его землей, глиняными кладбищенскими пластами, и мелкое золото березовых копеечек милостыней осыплется на могильный холм, и сгниет под осенними дождями деревянный крест или фанерная пирамидка — что уж там не жалко будет над ним поставить, — и все-то его позабудут, и никто не придет, только праздный прохожий минутку помучается, вычитая четырехзначные числа, — он сбивался со стихов на тяжкий, сырой, как еловые дрова, верлибр или на ритмичную, заунывную прозу, и вместо чистого пламени из злокачественных строк валил такой белый удушливый дым, что Нина надсадно кашляла, махала руками и кричала, задыхаясь: «Да прекрати же ты сочинять!!!»

Потом добрые люди рассказали ей, что Гришуня хочет вернуться во флигель, что он ходил к новой, взятой на его место дворничихе — толстой

бабе — и торговался с ней, за сколько она уступит ему его прежнюю жизнь, и баба вступила в переговоры. У Нины были связи в горздраве, и она намекнула там, что вот прекрасное трехэтажное здание в центре, можно занять под учреждение, они же как раз искали. Они благодарили ее там, в горздраве, им это подходило, и очень скоро дворницкой не стало, камин сломали, и один из медицинских институтов разместил во флигеле свои кафедры.

Гриша замолчал и недели две ходил тихий и послушный. А потом даже повеселел, пел в ванной, смеялся и себя ощупывал. «Что это ты такой веселый?» — допрашивала Нина. Он открыл и показал ей паспорт, — где голубое поле было припечатано толстым лиловым штампом «Захоронению не подлежит». «Что это такое?» — испугалась Нина. И Гришуня опять смеялся и сказал, что продал свой скелет за шестьдесят рублей Академии наук, что он свой прах переживет и тленья убежит, что он не будет, как опасался, лежать в сырой земле, а будет стоять среди людей в чистом, теплом зале, прошнурованный и пронумерованный, и студенты — веселый народ — будут хлопать его по плечу, щелкать по лбу и угощать папироской; вот как он хорошо все

придумал. И больше ничего не рассказал в ответ на Нинины крики, а предложил лечь спать, но только пусть она учтет, что отныне она обнимает государственную собственность и несет материальную ответственность перед лицом закона на сумму шестьдесят рублей двадцать пять копеек.

И вот с этого момента, говорила потом Нина, любовь их как-то пошла наперекосяк, потому что не могла же она пылать полноценной страстью к общественному достоянию и целовать академический инвентарь. Ничто в нем больше ей не принадлежало.

И подумайте, какие чувства должна была пережить она, прекрасная, обычная женщина, врач, безусловно, заслужившая, как и все, свой ломтик в жизни, женщина, боровшаяся, как нас всех учили, за личное счастье, обретшая, можно сказать, свое право в борьбе?

Но несмотря на все горе, что он ей причинил, все-таки у нее осталось, говорила она, очень светлое чувство. А если любовь получилась не такая, как мечталось, то уж не Нина в том виновата. Виновата жизнь.

И после его смерти она очень переживала, и подруги ей сочувствовали, и на работе пошли навстречу и дали десять дней за свой счет. И ко-

гда все процедуры были позади, Нина ездила по гостям и рассказывала, что Гриша теперь стоит во флигельке как учебное пособие, и ему прибили инвентарный номер, и она уже ходила смотреть. Ночью он в шкафу, а так все время с людьми.

И еще Нина говорила, что сначала очень расстраивалась из-за всего, но потом ничего, успокоилась, после того как одна женщина, тоже очень симпатичная и у которой тоже муж умер, рассказала ей, что она, например, в общем-то, даже довольна. Дело в том, что у этой женщины двухкомнатная квартира, а она всегда хотела одну комнату оформить в русском стиле, так, чтобы посредине только стол и больше ничего, а по бокам все лавки, лавки, совсем простые, неструганые. И стены все увешать всякими там лаптями, иконами, серпами, прялками — ну, всем таким. И вот теперь, когда у нее одна комната освободилась, эта женщина будто так и сделала, и это у нее столовая, и гости очень хвалят.

1986

Попов Евгений
Как съели петуха

Николай Ефимыч долгое время проживал с женой у моей тети Иры в деревянном домике на улице Засухина. В качестве постояльца, платящего за жилплощадь наличными деньгами раз в месяц.

Грустна, тревожна, зыбка и неясна жизнь людей, не имеющих квадратных метров собственной или коммунальной жилплощади. Их гложут неясные стремления и подозрения, им хочется переезжать с места на место, меняя род занятий и деятельности. Им хочется счастья, а они идут в кино, и им опять хочется счастья.

Вот, например, Николай Ефимыч. Замечательный мастер своего дела. Труженик по металлу. Что-то там всю жизнь клепал, варил и паял. Точил.

Только он ведь не всю жизнь точил. Он сначала попал в Сибирь за незначительные послевоенные преступления, а в 1954 году его амнистировали.

В те годы по улицам нашего города амнистированных бродили тыщи. Бродили, ели, спали на

чердаках и в подвалах. И через этих бывших зэков жизнь горожан во многом усложнилась. Редкий мирный смельчак выходил зимой поздним вечером из дома, потому что все знали: однажды одна дама вышла на пять минут в девять вечера, а навстречу ей — люди в телогрейках, и они сняли с нее всю верхнюю одежду и часы. А было это в Таракановке около мясокомбината. Она тогда кинулась к Суриковскому мосту, увидев, что там светло от фонарей и стоят какие-то люди. Она к ним.

— Граждане! — кричит. — Меня раздели! Ой! Вон! Вон они побежали. Я их запомнила. — Ты их запомнила? — спрашивают. — Видела! Видела! Они с меня сняли зимнее пальто и каракулевую шапку. — И как увидишь, то узнаешь? — Узнаю, узнаю! Как не узнать, — отвечала женщина, не чуя беды.

И тут ее мазнули перчаткой по глазам, и лицо ее стало цвета крови, ибо в перчатку были вделаны бритвенные лезвия. Ну, окровавленная женщина ощупью выбралась на проспект Сталина, упала, и там ее кое-кто якобы и видел. Женщина ослепла, а банда скрылась. Банда «Черная кошка». Сибирь-54.

Или еще рассказывали — поймали детей, под-

весили в лесу, изрезали ножами и собирали кровь в колбы. — Зачем?

— А затем, чтоб сдавать на станцию ее переливания, получая за это громадные деньги. — Что за чушь!

— Вот тебе и «чушь». Говорят тебе, поймали детей, подвесили в лесу, изрезали ножами и собирали кровь в колбы.

Но Николай Ефимыч такими делами не занимался, не интересовался и не участвовал. Боже мой! Да он наоборот, он если бы услышал или увидел что-либо подобное, то сразу бы поднял шум и самолично вызвал милицию.

Он вообще ничем не интересовался. По мнению Николая Ефимыча, он и в лагеря попал совершенно случайно, так как был невиновен. Не знаю. Вина это такое скользкое и неясное моему уму понятие, что я по вопросу виновности или невиновности Николая Ефимыча никак высказаться не могу, так как не понимаю и не располагаю. Не знаю. Да и не важен в конце концов факт виновности или невиновности в описываемом случае. Важно то, что после амнистии он стал очень спокойным человеком, хотел счастья и поступил на производство, желая приложить к нему свои золотые руки.

И имелась у него жена, торговавшая в промтоварной палатке на колхозном рынке. Елена Демьяновна. По прозвищу Демьян.

Сама она была глухая, то есть слышала лишь немногое и произносимое громким голосом прямо ей в ухо. Глухоту свою она иногда скрывала, делая вид, что слышит все — и громким голосом произносимое и тихим тоже.

Это сокрытие как-то веселило Николай Ефимыча. Он ее в шутку ругал матом. В шутку. А поскольку она ничего не слышала, то все шло как по маслу: Николай Ефимыч ее ругает, а Демьян не слышит, беседует о том о сем, и он беседует, а как Демьян отвернется, так он ее матом.

А чтобы описать внешний вид супругов, ни мастерства, ни вдохновения не нужно. И большого искусства тоже не требуется. Надо сказать, что парочка эта была и на вид и по содержанию довольно гнусная.

И я вижу их даже по прошествии стольких лет чрезвычайно четко.

Он — среднего роста. Мужик да и мужик. И одежда неприметная, серая. В чем все ходили, в том и Николай Ефимыч. Как все ходили — кирзовые сапоги, телогрейка, а брюки чтоб заправлены в сапоги, так и Николай Ефимыч. А когда стали

продавать брюки-дудочки и многие их купили, то и Николай Ефимыч приобрел.

Обыкновенная одежда — неприметная, серая. Обыкновенный человек — серый, неприметный.

И про Демьяна тоже можно сказать очень просто: что она, поскольку была глухая, то особенно-то и не рыпалась. Носила все самое лучшее из того, что продавалось в ее промтоварной палатке, и не верила в существование слухового аппарата. Считала аппарат обманом, выдумкой газет и журналов.

Они моей тете Ире приносили выгоду. Во-первых, как жильцы, платящие за жилплощадь, а во-вторых, как люди, имеющие отношение к дефицитам. Мне, например, Елена достала у себя в ларьке кирзовые сапоги тридцать пятого размера. Я в то время носил сапоги тридцать пятого размера и ходил во второй класс начальной школы имени Сурикова.

Жили они недружно, но спали всегда вместе. И привыкли, да и деваться им обоим было некуда, так как жилплощадь их являла собой отгороженное фанерой пространство размером два на три, равняется шести квадратным метрам. Правда, фанера была до самого потолка. Тут уж ничего не скажешь.

А жили они недружно. Видимо, потому, что их обижали имеющиеся друг у друга различные скверные привычки.

Сам Николай Ефимыч очень любил сидеть на корточках, подпирая стену и покуривая махорочку. А также пьянствовал со всеми, кто соглашался с ним пьянствовать. Почему и пропивал обычно все заработанные деньги.

Демьян же его за это не кормила, а если и кормила, то варевом, которое изготовлялось из муки, картошки, воды и пшена. И заправлялось вонючим желтым салом. Сало Николай Ефимыч получал откуда-то аккуратно, но плохого качества.

Тошнотворные ароматы плавали по кухне в процессе приготовления Демьяном семейной пищи и после. Ясно, что это обижало Николая Ефимыча. Раздражало его и то, что глухая любила бесстыдно танцевать под патефон, выпив водочки, задирала ноги и показывала краешки сиреневых панталон. Раздражало, но меньше, чем вонючая пища. Кроме того, его брала досада, что жена; через ларек имеет левые деньги и прячет их на неизвестной сберкнижке, а ему не показывает. Делает вид, что их, левых, будто бы совсем и нет.

— Такой бы змее еще одну реформу сорок седьмого года, — бормотал Николай Ефимыч. Непонимая, что сберкнижка гарантирует от всех реформ. И деньги Елены, если они у нее есть, не пропадут никогда.

Так они и жили. И временами в отношениях между супругами наблюдались жуткие взрывы нетерпимости.

На новый, 1956 год Николай Ефимыч говорит: — Демьян, давай сварим курухана. А она не слышит.

— Курухана свариймо?! — кричит Николай Ефимыч. Не слышит.

— Петуха мне свари, падла! Пожрем хоть на Новый год! — орет он ей в ухо. А она хоть бы хны. Помолчала, а потом и заявляет: — Не дам. Будет новый год, и в новом году надо кушать.

От таких слов Николай Ефимыч весь пошел по роже красными пятнами и замахнулся на Елену табуреткой.

А разговор происходил на кухне. Прыткая и маленькая Демьян проворно отскочила к плите, схватила кипящий чайник и славно трахнула им Николая Ефимыча по голове.

Обваренный заметался, матерясь. Он крушил кухонную обстановку и орал. Он тыкался по уг-

лам и пинал стены.

— Ох, убью! — рычал Николай Ефимыч. Но Демьян тихо-тихо ускользнула и была спрятана моей теткой в подполье. На крышу подполья надвинули для видимости комод. Новый, 1956 год Демьян встретила среди картошек и бочек с капустой.

А Николай Ефимыч все мыкался по квартире, жалобно повторяя, что вот как найдет, так тут же сразу и убьет.

Физиономию ему укутали ватой и обвязали марлей. Он шлялся и щелочками глаз высматривал Елену. Его можно было принять за ряженого.

Сидела Демьян в подполье, сидела. Только сколько же, спрашивается, можно там сидеть? И дождалась она 2 января 1956 года, когда Николай Ефимыч отправился на работу. И решила она, черт с ним, сварить петуха. В свой ларек она не пошла.

А у них был петух. Вернее, у них сначала были и курица и петух. Демьян думала, что курица выведет ей от петуха цыпляток. Цыплята вырастут, станут нести яйца. Демьян будет полной владелицей куриных яиц. Захочет — съест. Захочет — продаст на колхозном рынке как излишки.

Хорошо она прикинула. А ничего, к сожале-

нию, не сладилось. Потому что, во-первых, петух оказался какой-то не тот, квелый. Он и кур не топтал, а только сидел весь день на жердочке нахохлившись.

И курица взяла да в ноябре месяце и подохла вдруг неизвестно отчего. Гуляла, гуляла по курятнику, потом — лапки кверху. Подергалась, закоченела и стала синеть. Прямо удивительно, до чего быстро умерла курица!

Демьян, конечно, имела кой-какие подозрения. В частности, на тетку или на меня. Но их не высказывала. А не высказывала потому, что и сама толком не понимала: кому и зачем нужно было травить ее курицу.

И остался петух, которого Николай Ефимыч неоднократно просил съесть, но Елена не давала.

Таким образом, 2 января 1956 года она все же решила сварить петуха и стала его варить. А Николай Ефимыч в это время пошел на работу, на то производство, где он трудился по металлу.

Там он взял кольцо от подшипника, разрубил, распрямил, выколотил молотком, закалил, подправил. После чего весь день ширкал по бывшему кольцу напильником.

— Николай Ефимыч, уж не «перо» ли ты себе

мастеришь в рабочее время? Давай лучше похмелимся после праздничка, — говорили ему друзья-рабочие.

Но Николай Ефимыч, насупившись, ничего не отвечал и продолжал усердно ширкать напильником.

— Брось, Николай Ефимыч. Не точи. Ты ведь, Николай Ефимыч, ножик этот на себя точишь, — уговаривал его один рассудительный человек, который так все наперед хорошо знал, что каждую минуту опасался, как бы кто ему не присветил по роже.

Но Николай Ефимыч, увы, никого не слушал. Он твердо решился на крайние меры по избавлению себя от жены.

Николай Ефимыч с загадочной улыбкой отравился домой. Около крыльца, занесенного снегом, он немного постоял, посмотрел вокруг.

— Век свободы не видать, — пробормотал Николай Ефимыч и шагнул в дом.

И увидел, что дома, за фанерной стеной, не воняет жареным желтым салом, что там, за фанерной стеной, очень даже чисто. За фанерной стеной светло. За фанерной стеной на столе бутылка водки, хвост селедки, колбаса и огурцы. И кастрюля, а из кастрюли — пар петуха.

И по пару понял Николай Ефимыч, что он одержал полную и окончательную победу над женой. Что, возможно, и сберкнижка будет его, если она, конечно, есть. А обваренная физиономия — это чушь и мелочь. Хмурясь, он сел за стол и заорал:
— Демьян!

Тотчас и она точно как из-под земли. — Здесь. Я здесь. Тихая и робкая Елена. — Садись! Давай выпьем!

И точно — сели, и точно — дали. Выпили. И точно — сели, пили, ели. Выпили пол-литру и стали пить вторую. И уже дело дошло до петуха. Он был вынут из кастрюли, и он был прекрасен.

Тогда Николай Ефимыч достал из кармана ножик, показал жене и объяснил, что ей угрожало. Жена отнеслась к зловещему предмету с той степенью искренности и уважения, которая была приятна Николаю Ефимычу. И он отдал ножик жене, и она стала отрезать ножку да ножку, крылышко да крылышко, шейку да гузку.

И они жрали петуха до полуночи, а когда пробило двенадцать, супруги окончательно были пьяны и завалились спать, не сняв одежды.

Сейчас они оба уже старые и ходят еле-еле. У моей тетки они больше не живут. Теткин дом сломали, и их всех расселили по разным квар-

тирам. Демьян и Николай Ефимыч получили однокомнатную в пятом микрорайоне.

Я их иногда встречаю. Они идут еле-еле и держатся друг за друга.

Да ведь сейчас оно, конечно, и жизнь не та: старые дома поломаны, кругом многоэтажье, кругом газ, свет, цвет, лифты, кафельные ванные, лоджии и горячая вода. Подполья и погреба исчезли, петухов и кур в городе никто не держит, в магазинах продают товары, асфальт кругом. Свободно идешь вечером по улице, встречаешь друзей и знакомых.

Вот и я их иногда встречаю. Они идут еле-еле. Они идут еле-еле и держатся друг за друга. Вот так и съели петуха…

1987

Анатолий Гаврилов
История майора Симинькова

…Есть некая общая идея, которая придает порою всем этим собранным воедино суровым людям красоту подлинного величия, — идея Самоотречения.

Альфред де Виньи. «Неволя и величие солдата»

История гвардейского офицера Николая Ивановича Симинькова, которую я сейчас намерен рассказать, в свое время вряд ли имела какой-либо резонанс в высших кругах кадровой элиты ракетных войск, однако сейчас, по прошествии лет, представляется мне весьма поучительной и печальной.

В середине шестидесятых годов в наш ракетный дивизион, в котором я в звании капитана командовал ротой минирования и заграждения, прибыл молодой, щеголеватый офицер Николай Иванович Симиньков. Прекрасно сшитый костюм, чемодан из натуральной кожи, серебряный портсигар с монограммой и эмблемой ракетных войск, папиросы «Герцеговина флор», тонкий

аромат дорогого одеколона, походка, речь — все выдавало в нем человека светского, в себе уверенного и незаурядного.

Теперь я позволю себе в нескольких словах обрисовать расположение нашего дивизиона и уклад его жизни.

Стояли мы в болотистых лесах, окруженных по периметру танталовыми нитями сигнальной системы, стальной паутиной ловушек и электрозаградительной сеткой, а квартировали с семьями в деревне Глыбоч, отстоявшей от дивизиона в сорока километрах.

Командиром дивизиона в ту пору был Федор Степанович Супрун, кадровый военный, прошедший нелегкий путь от старшины роты до полковника, человек весьма крутой и, как говорится, не без перегибов. Ему ничего не стоило без особой нужды в течение нескольких часов продержать дивизион под дождем и снегом, отдать приказ провести политзанятия в противогазах или унизить офицера при солдатах… Свои пробелы в техническом образовании — а техника у нас была не из простых — он компенсировал фанатическим рвением в вопросах порядка и дисциплины. Он, имея семью, мог неделями, месяцами не выезжать из расположения диви-

зиона, докапываясь до каждой мелочи. Впрочем, солдаты его, кажется, любили, да и он, помня, вероятно, с чего начинал сам, тоже по-своему любил их. А вот офицеров, особенно молодых, образованных и пытавшихся каким-то образом проявить независимость суждений и взглядов, он терпеть не мог и презрительно именовал «балеринами».

Итак, принимая во внимание некоторую однообразность нашей жизни и характер Супруна, мы не без оживления и любопытства явились в штаб на церемонию представления новенького, чей внешний облик и манеры, без всякого сомнения, подпадали под статью «балерины».

Деталей, к сожалению, я уже не помню, могу только сказать: первое испытание молодой Симиньков выдержал достойно. Ни один мускул его красивого лица не дрогнул в ответ на грубости и насмешки командира. «Щеголь, а крепок, — подумали мы, — но что-то дальше будет?»

А дальше, как и должно было ожидать, последовали новые испытания. Молодой и неопытный офицер был назначен командиром самого неблагополучного во всех отношениях заправочного отделения пятой стартовой роты. Ход мысли полковника Супруна был прост и понятен: по-

смотрим-ка теперь, балерина, твои антраша!

И теперь не было, наверное, такого дня, чтобы Супрун не заглянул в пятую роту и не покуражился над Симиньковым по поводу тех или иных недостатков, а было их там предостаточно. Командовал пятой ротой тогда капитан Евгений Петрович Наумчик, предававшийся чрезмерным возлияниям гидролизным спиртом и по сей причине не могший хоть как-то постоять за Симинькова.

Симиньков же своей невозмутимостью только подливал масла в огонь, и как-то за обедом, когда мы остались вдвоем, я посоветовал ему не злить старика и каким-нибудь образом смягчить его.

«Ву компрене, мон шер, — отвечал Николай Петрович, постукивая папироской по крышке своего замечательного портсигара. — Моя твердыня — устав, а посему я не намерен потакать грубостям Супруна, препираться же с ним мне, поверьте, безмерно скучно… Супруны покидают сцену, а мы остаемся. Свой долг я вижу в служении Отечеству, а все остальное, право, не стоит и выеденного яйца, но се па, мон шер?»

Тут я должен пояснить, что Симиньков являлся выпускником одного из самых престижных закрытых военных заведений, питомцы кото-

рого получали блестящее образование и самые прекрасные виды на будущее, и мы, узнав об этом, были немало удивлены тому, что такой офицер получил назначение в наше захолустье. Слухи и догадки по этому поводу в нашем дивизионе ходили самые разные, но наиболее упорно муссировалась версия, что он сюда сослан — за масонство… Сам же Николай Иванович тайн своих никому не раскрывал, образ жизни вел обособленный и, казалось, ничего, кроме службы, знать не хотел.

Через какое-то время ему удалось вывести свое отделение из отстающих, на учениях его заметил сам Черный Кот — командир дивизии генерал Бондаренко, и дальнейшее его восхождение шло уже по знаку свыше и вопреки воле и желанию Супруна.

Спустя полгода он был назначен заместителем командира пятой роты по технической части, а еще через год — он уже капитан и командир этой же роты вместо совсем спившегося и переведенного в хозяйственный взвод незадачливого Наумчика, и все это происходило, как я уже упоминал, через голову Супруна.

Супрун пребывал в ярости, но то была уже ярость бессилия — не мог же он перечить во-

ле Черного Кота… И тогда от выпадов прямых он перешел к выпадам косвенным, в которых тоже был мастак. Симиньков же по-прежнему держался хладнокровно, подчеркнуто строго, придерживался буквы устава, вызывая наше восхищение и тем, что ни разу, никогда и ничем он не подчеркнул своего особого положения под светом генеральской звезды.

Наследство ему от Наумчика досталось не из легких, пятая рота отличалась и бесшабашным гусарством, и сибаритством, и тем не менее Николай Иванович за весьма короткий срок сумел ее не только приструнить, но и вывести в образцовые. Переходящий красный вымпел надолго прописался в его ленинской комнате, а сама эта комната при нем совершенно преобразилась и могла служить образцом высшего армейского дизайна, политической зрелости и почти домашнего уюта. Да и казарма со всеми ее каптерками, подсобками и прилегающей территорией — все сияло чистотой и порядком. А какие политзанятия проводил Николай Иванович! Всегда своими словами, без обычных наших шпаргалок, натуги и косноязычия — любо-дорого и посмотреть, и послушать, что мы и делали, напрашиваясь к нему в гости…

С солдатами он был неизменно приветлив, хотя за этой приветливостью, думаю, они не могли не ощущать некоторой холодности, свойственной его натуре, а посему они вряд ли его любили, а скорее всего, побаивались. Вполне допускаю, что что-то их могло раздражать в этом типе командира и даже вызывать порой ненависть, как то же слово «голубчик», с которым он неизменно обращался и за которым обыкновенно могли последовать разнос и наказание. Слово это, кстати сказать, самого Супруна очень злило и приводило в натуральное бешенство и часто служило причиной всевозможных разбирательств и даже апелляций к высшему командованию, остававшихся, впрочем, для Симинькова без каких-либо серьезных последствий…

Что же до прочего всего, то должен заметить, что герой наш был холост, наши дамы проявляли к нему любопытство, он же отвечал им вежливыми любезностями, отнюдь не вступая с ними в те отношения, которые мы, офицеры, между собой называли «сучить дратву».

Помню, на юбилее полка, в концерте с участием наших дам, жена замполита Ткачевского, майора, солируя с песней «Колокольчики-бубенчики звенят», бросала ему со сцены столь пламенные

взгляды, что это, пожалуй, было уже почти неприличным. Однако Симиньков оставался холоден и погружен в себя. И после концерта, на нашем импровизированном балу, он ни разу не подошел к ней, не пригласил на танец и даже не взглянул на ее великолепное декольте, к которому мы, прочие сирые, никогда не могли привыкнуть: оно, это декольте, часто являлось предметом наших разговоров, тайных надежд и зависти к счастливчику Ткачевскому, майору и замполиту…

Я уже, кажется, упоминал о том, что образ жизни Николай Иванович вел несколько обособленный, в обычных наших попойках не участвовал, анекдотов и сальностей избегал.

По утрам мы часто бывали помяты, хмуры и раздражительны, тем более что предстояла сорокаверстная тряска по разбитой, бог весть когда проложенной в наших лесах какими-то пленными дороге, он же всегда в одно и то же время бодро подходил к автобусу, легко в него вскакивал и, с улыбкой оглядывая наше пасмурное общество, неизменно спрашивал: «Кес кесе, други?»

Как-то раз, будучи на дежурстве и изрядно употребив с капитаном Постоем, я перепутал двери в нашей офицерской гостинице и оказался в комнате Симинькова, который в ту неделю тоже

нес дежурство. В комнате никого не было, и я, приняв ее за свою, уже приготовился было лечь и задать храповицкого, как вдруг случайно бросил свой взгляд на освещенный стол и тут же понял, что нахожусь в чужой комнате. На столе были портсигар с монограммой «SNIR», что означало «Симиньков Николай Иванович, ракетчик», гипсовая пепельница в форме черепа, изготовленная нашим дивизионным умельцем, солдатом срочной службы Прокатовым, и какая-то толстая книга, на обложке которой я, приблизившись к столу, прочитал — «Буонапарте». «Так вот оно в чем дело!» — быстро трезвея и ретируясь из чужой комнаты, подумал я…

И в комбатах Николай Иванович не засиделся, на учениях рота его показала необыкновенные слаженность и выучку, и, когда условный противник был условно накрыт ядерной головкой, Черный Кот ласково похлопал Симинькова по плечу, на котором вскоре и засияла майорская звезда, а вслед за тем он был назначен начальником штаба нашего дивизиона вместо вышедшего в отставку Виктора Митрофановича Мозжука.

Мы уже не удивлялись столь стремительному продвижению молодого офицера, рисуя в своих фантазиях и более высокие сферы его возвыше-

ния. Наиболее дальновидные из нас уже давно искали с ним дружбы. Ему льстили и заискивали перед ним, и только Супрун был мрачен, не без оснований предполагая, что следующим повышением Симинькова будет уже его, Супруна, командирское место.

Понятно, что теперь он был вынужден отказаться даже от косвенных выпадов против Николая Ивановича, и только затаенные презрительно-враждебные взгляды выдавали его чувства к молодому выдвиженцу и как бы говорили: еще посмотрим…

Симиньков же был с ним прост, естествен, называл его по имени-отчеству и, казалось, вовсе не помнил зла, хотя за всей его простотой все же угадывалась некоторая снисходительность к старику — Супрун это чувствовал и с каждым днем мрачнел все более…

И в новой должности Николай Иванович показал себя с лучшей стороны, и мы уже с каким-то нетерпением ожидали очередного его повышения, как вдруг случилось падение…

Произнося это слово и вкладывая в него некий общий смысл, я все же в первую очередь имею в виду действительное падение Симинькова на плацу во время торжественного марша и в

присутствии высокого армейского начальства во главе с самим Черным Котом генералом Бондаренко…

А дело было так. После трехдневных учений и предварительного подведения итогов, на котором мы были оценены весьма положительно, дивизион построился на плацу для смены боевого дежурства. Погода была скверная, из тяжелых облаков, ползших над осенним лесом, сыпались то дождь, то снег, то крупа, за три дня мы основательно измотались и были в ожидании тепла и вкусного офицерского обеда, за которым, учитывая наши старания, генерал Бондаренко мог неофициально позволить нам расслабиться рюмочкой-другой чего-нибудь согревающего. Да уже и сверхсрочник Бруй из хозяйственного взвода промелькнул на крыльце столовой со своею заветной канистрой, что еще более укрепило и обнадежило нас. Тем временем церемония смены боевого дежурства шла своим обычным ходом: звучали команды, принимались доклады, под звуки гимна на мачту был медленно поднят флаг, после чего дивизион повернулся направо и под бравурный марш, побатарейно, одного линейного дистанции, равнение налево, пошел к трибуне, где среди своей свиты выделялся тяжелой папа-

хой и прожигающим взглядом Черный Кот, а по левую руку от него, на некотором расстоянии, мрачно горбился наш Супрун…

А вел дивизион Николай Иванович Симиньков, и тут я должен сказать, что равных ему в фигуре, выправке и шаге не было не только в нашем дивизионе и полку, но, полагаю, и во всей дивизии: в его строевом шаге высшая армейская четкость удивительным образом сочеталась с аристократической легкостью и изяществом, это был шаг высшего класса, этот шаг мог бы украсить парад любого, самого высокого ранга, и было грустно сознавать и видеть, как этот шаг пропадает в нашем захолустье, — так тяжело и грустно бывает увидеть на раскисшей от непогоды колхозной ниве, среди изможденных баб в грязных сапогах и фуфайках, какую-нибудь молодую деревенскую красавицу…

Однако вернемся к делу… Итак, печатая свой отменный шаг, Николай Иванович повел за собой дивизион, как вдруг у самой трибуны, уже приняв стойку равнения налево, он вдруг зашатался, взмахнул руками и рухнул на заднее свое место… Поскользнулся ли он, неожиданная ли судорога свела его члены, сказалась ли усталость трехдневных учений, вдохнул ли где случай-

но паров ракетного топлива — бог его знает… тяжелый вздох прокатился по нашим рядам, генерал Бондаренко отвернулся, на мрачном лице полковника Супруна промелькнула злорадная усмешка…

Падение это, впрочем, произошло в считанные секунды, Николай Иванович тут же вскочил, поправился и пошел печатать свой шаг дальше, но именно с этого момента мы заметили в нем какой-то надлом…

А в тот злополучный день он так был расстроен, что даже не явился на обед с украинским борщом, отменными котлетами с картофельным пюре и неофициальной порцией спирта, закрепленной впоследствии вишневой наливкой из личных запасов сверхсрочника Бруя…

А вечером того же дня, уже дома, в Глыбоче, открыв на звонок дверь, я с изумлением увидел его на пороге. Вид Николая Ивановича выражал крайнее смущение, в руках же он держал штоф «Столичной». Я засуетился, пригласил его в дом, просил быть непринужденным и извинялся за свой внешний вид, поскольку мы с женой как раз расположились у телевизора перед программой «Время» и находились неглиже. Стол наш был тут же раздвинут и накрыт праздничной скатертью,

появились закуски, милая моя Нина, понимая необычность визита, была особенно приветлива и внимательна. Через некоторое время, придя в себя и освоясь с ролью душеприказчика, назначенной мне Симиньковым, я как мог стал его успокаивать и утешать и даже напомнил ему его же слова, сказанные мне как-то в столовой, что главное — это служение Отечеству, а все остальное не стоит и выеденного яйца, — так нужно ли хандрить из-за какой-то нелепой случайности, о которой все уже и забыли! А для примера я рассказал ему, как еще до прибытия его в наш дивизион на одной из инспекторских проверок, утром, после ночного служения Бахусу, капитан Придыбайло не смог доложить проверяющему своей фамилии. «А ничего, служит ведь! — говорил я. — Поди, и майора скоро получит!»

Я взял в руки гитару, моя Нина, раскидав по плечам свои пышные, вьющиеся волосы, спела для нас романс, не забывал я и рюмки наполнять, и анекдоты какие-то вспомнил — старался то есть как мог, — и постепенно наш Николай Иванович оживился, повеселел, хохотал, называл мою жену Людмилой Зыкиной и даже танцевать хотел… Провожал я его уже глубокой ночью, шли в обнимку и громко пели что-то, кажется, из

Высоцкого…

Событие, о котором я намерен теперь рассказать, произвело решительный поворот в судьбе Симинькова, и даже мы, дивизионное офицерство, не имевшие прямого касательства к этому делу, и то были потрясены и сделались как-то совершенно потерянными.

Случилось же вот что. Перед самой Октябрьской годовщиной Николай Иванович был вызван в штаб полка для получения бумаг особой важности. Утром с необходимой охраной выехал он в полк, к вечеру благополучно вернулся в дивизион, пакет с бумагами спрятал в сейф и опечатал его. Теперь уже трудно гадать, каким образом случилось, что на следующее утро, разбирая бумаги по описи, он обнаружил недостачу одной. По инструкции ему было положено о случившемся немедленно доложить в полк, но он этого не сделал, прекрасно понимая, что звонок этот уже сам по себе был бы приговором его судьбе. В те времена у нас в ракетных войсках на многое смотрели сквозь пальцы, многие грехи отпускались, и только одно каралось неукоснительно и беспощадно — нарушение режима секретности. Тут уже не миндальничали и давали на всю катушку. И вообще, пятно такого рода считалось несмы-

ваемым и приравнивалось к потере офицерской чести. Кажется, легче было быть уличенным в пьянстве или даже воровстве — не скажу, что все это воспринималось как должное, но все же со временем забывалось, стиралось как-то, — нарушение же режима секретности делало офицера в глазах начальства и даже друзей-сослуживцев парией. Такому человеку и руку-то подать бывало уже непросто.

Легко поэтому понять растерянность и отчаяние Симинькова. Наверное, он бы застрелился, если бы не опасение тем самым еще более запятнать свое имя, саму память о нем, ибо наверняка в таком случае он был бы заподозрен не только в трусости, но, возможно, и в связях с иностранной разведкой.

Защитить свою честь, найти утерянную бумагу было теперь единственным смыслом жизни Симинькова. Он настолько потерял власть над собой, что в первый момент в кровь избил штабного писаря Ромашко, который, как ему показалось, имел касательство к пакету. Далее он поднял дивизион по тревоге, и весь день, разбившись по квадратам и не разгибая спины, обшаривали мы все углы и закоулки, рылись в прелых листьях, золе, мусоре и пищевых отходах, обращая

внимание на каждую бумажку. И хотя было совершенно очевидно, что утерянной бумаги нам не найти, Симиньков упорствовал в безумии своем, вызывая ропот солдат и смущая даже нас, его доброжелателей.

К вечеру он обратил свои усилия на отхожее место и приказал подогнать к нему передвижную электростанцию, прожектора и насосную установку. Мы вскрыли бункер, опустили в него насосные рукава и стали откачивать и процеживать его содержимое. Симиньков лично проверял откачиваемую жижу на фильтровой сетке, перебирал и рассматривал под светом прожекторов каждую бумажку.

К полуночи, когда все мы буквально валились от усталости, он приказал подать к бункеру стрелу установщика 89-208, облачился в серебристый защитный костюм для ракетных учений, натянул противогаз и в люльке стрелы опустился на дно бункера, чтобы лично удостовериться в том, что все уже откачано и что злополучной бумаги там нет.

Вверху, освещая осенние леса, стояла луна, внизу, под ослепительным светом мощных прожекторов, бродил среди зеленой жижи и бетонных стен несчастный Симиньков. Он пытался

еще подавать нам из бункера какие-то команды, но к нам долетали лишь жалобные звуки, стон и мычание. Вдруг он остановился, сорвал с себя противогаз и затравленно посмотрел по сторонам и вверх. В тот момент, помню, мне вдруг подумалось, что бункер этот в случае атомной беды может послужить хорошим убежищем, но тут же, взглянув на Симинькова, я с отвращением отверг эту мысль. Мы поспешили поднять Николая Ивановича из бункера, омыли его в лучах прожекторов под брандспойтами и, уже совсем невменяемого, на руках отнесли в офицерскую гостиницу.

С ним приключилась горячка. Дней десять лежал он потом в нашей дивизионной санчасти под присмотром доброго нашего эскулапа Степы Лынзаря, большого охотника до женского полу и анекдотчика. Он и сюда, в санчасть, бог весть какими правдами и неправдами сумел пристроить свою пассию на должность санинструктора. Так и ходила она среди нас в туго натянутой юбке защитного цвета, поочередно назначая нас своими чичероне. Оба они, Степа, то бишь старший лейтенант Лынзарь, и красавица Любаша, выхаживали нашего Симинькова.

Между тем был он совсем плох, тосковал и все

говорил, что следовало бы ему получше искать в бункере…

В те же дни получил я назначение в Н-скую часть и уехал, не дождавшись конца печального этого события. А оттуда, в звании уже майора, вышел я в отставку и навсегда уехал в приморский городишко М. О Симинькове я долгие годы ничего не слышал и даже стал забывать его за повседневными заботами и семейными неурядицами своей новой, теперь уже штатской жизни.

А прошлым летом, будучи в столице и толкаясь в ГУМе в надежде купить жене простые чулки, вдруг наткнулся я на Любина, бывшего нашего дивизионного бильярдиста, поэта и вольнодумца. Он первым меня узнал, мы обнялись и прослезились.

— Да, а помнишь ли Симинькова? — вдруг спросил он и рассказал конец этой истории.

После утери документа Симинькова не только не лишили свободы, но даже и не разжаловали, а лишь понизили в должности. В результате многодневного следствия особистами штаба армии было установлено, что утеряна всего-то была инструкция к картофелечистке для солдатской столовой, и все же оставаться после этого в штабе полка ему было уже никак нельзя, и он вернулся

в свою пятую роту комбатом, но это, по словам Любина, был уже совсем не тот Симиньков: и командирствовал он уже как-то вяло, и даже попивать и сквернословить стал, и от всего блестящего его прошлого горьким напоминанием оставался лишь знаменитый портсигар с эмблемой и монограммой…

При первой же возможности он подал в отставку, районное начальство предлагало ему возглавить в Глыбоче новый свинооткормочный комплекс, но он от предложения этого отказался наотрез и выехал навсегда…

— А не хочешь ли его посмотреть? — спросил Любин.

Я изумленно взглянул на него.

— Да здесь он, в Москве, в Сокольниках! Тиром заведует! Потолстел, подобрел и рюмки не чурается. Зайдем, поговорим, пивка по-стариковски выпьем, былое вспомним?

Но я, сославшись на недомогание и нехватку времени, отклонил его, впрочем, не настойчивое приглашение и быстро сменил тему разговора.

Сорокин Владимир
Заседание завкома

К заводскому клубу Витька Пискунов пришел в девятом часу, — два фонаря уже горели, возле облупившихся десятиметровых колонн толпились парни. Заметив его, они перестали разговаривать, повернули к Витьке свои хмельные лица: — Привет, Пискун. — Здорово… — Ну что — готов?

— Готов. Морально и физически, — Витька достал папиросу, приблизился к широколицому парню. — Дай-ка…

Парень вынул изо рта сигарету, протянул Витьке: — Собрались уж. Тебя дожидаются. — Черт с ними. — Витька прикурил. — С ними-то с ними, а попотеть тебе придется, это точно.

— А что ты волнуешься? Мне ж потеть, не тебе. — Запрокинув голову, Витька выпустил вверх дым, посмотрел на звезды.

— Да я не волнуюсь, я так. — Парень затушил окурок о колонну. Другой парень, высокий и горбоносый, оскалясь, хлопнул Витьку по плечу:

— Ничего, робя, Витьку с кашей не съешь! Он

сам кого хочешь слопает! Правда, Витьк? Пискунов молча курил, привалившись к колонне.

— Да, Пискун, дозашибался ты, — качнул головой другой парень. — Не завидую. — Ладно, Жень, не расстраивай его… — А чего это они в клубе надумали? — Зал на ремонте. — А-а-а-а-а… Понятно.

Пискунов докурил, щелчком послал окурок в клумбу и, отстранив широколицего, двинулся к двери. — На танцы придешь? — Не знаю…

— В общем, Витек, бутыль с тебя по случаю такого случая, — хмыкнул горбоносый в спину Пискунова.

— Бутыль? — оттянув дверь, Витька обернулся. — Хуиль! Бутыль сам поставишь, за футбол еще задолжал… А за мной не заржавеет, не бойсь… Хлопнув дверью, он вошел в вестибюль. Внутри было пусто. Окошечко кассы не горело. На вешалках висел халат уборщицы, три чьих-то пальто и серый плащ Клокова.

«Приперся, — подумал Пискунов, проходя по вестибюлю. — Этого хлебом не корми, дай позаседать».

Дверь в зал была открыта. Пискунов вошел. На слабо освещенной сцене, прямо под громадным портретом Ленина, сидели люди. Они занимали

середину длинного стола, покрытого красным сукном.

— Можно войти? — негромко спросил Пискунов. Его голос гулко разнесся по пустому залу.

— Входи, входи, — откликнулась Симакова. Она сидела в центре стола и перебирала какие-то бумаги.

— Он и здесь без опоздания не может, — сидящий рядом с ней Хохлов посмотрел на часы. — Пятнадцать минут девятого.

— Привычка, — рассмеялся Клоков. — В кровь вошло уж. Как ни день — так Пискунов. Кто опоздал — Пискунов. Кто напился — Пискунов. Кто мастеру нагру…

— Сергей Васильевич, — перебила его Симакова, — о Пискунове после. Давайте с путевками закончим. А ты, Пискунов, сядь, посиди пока.

Витька не торопясь прошел меж кресел и сел с краю, поближе к двери.

— Если дать сто кузнечному и сто десять литейному, как Старухин предлагает, тогда механосборочному останется всего восемьдесят четыре путевки. А гаражу вообще двенадцать… то есть четырнадцать, — зашелестел бумагами Хохлов.

— Ну и правильно, — спокойно проговорила Звягинцева, постукивая карандашом по столу, —

механосборочный никогда план не выполняет, всегда завод подводит. Кузнечный с литейным поднажмут, а сборщики все на тормозах спустят: то станки у них ломаются, то текучесть кадров… Поэтому и завод-то не балуют — ни квартир, ни заказов, ни путевок.

— Ну, положим, квартир нет не только поэтому, — нахмурился Клоков. — У строителей не все ладится. Квартиры будут. В Ясеневе три дома заложили, в Медведкове два. А сборщиков тоже понять нужно. У нас ведь и ответственность больше, и условия потяжелее. И платят нашим рабочим негусто…

— Да ну вас! — Звягинцева распрямилась, отчего два ордена, прикрепленные к ее серому жакету, слабо звякнули. — Платят негусто! Платят всем одинаково. Работать нужно. План выполнять. Тогда и платить хорошо будут, и заказы появятся, и путевки. Весь завод горит из-за сборщиков. Весь!

— Но ведь надо понять, что работать на конвейере тяжелее, а за сто сорок рублей никто особенно не горит жела…

— Понять! Вон сидит, поймите его! — Звягинцева показала карандашом в полутемный зал, где меж круглых кресел маячила голова Пискунова. — Ваш ведь фрукт, из механосборочного.

Поймите его! Он зашибает, прогуливает, а мы его понять должны.

— Татьяна Юрьевна, хватит об этом, — проговорила Симакова. — Давайте путевки распределять. У меня завтра отчет в ВЦСПС, ночь еще сидеть… В общем, или дать всем поровну, или как Старухин предложил.

— Поровну нельзя, — вставил Урган. — Татьяна Юрьевна права. Лучше всех работают литейщики. Им и дать надо больше всех. А сборщики пусть на турбазу едут. Вон, под Саратовом я был прошлый год — любо-дорого посмотреть. И питание хорошее, и Волга рядом. Не хуже юга.

— Точно, — Звягинцева повернулась к нему, — пусть туда и едут. А то всем на юга захотелось. Пискунов вон тоже, небось, заявление писал. Писал, Пискунов? — Я? — Витька поднял голову. — Ты, ты. Я тебя спрашиваю. — Эт что — в Ялту, что ль? — Да.

— Чего я там не видел. Я лучше у тетки в Обнинске, тихо-мирно…

— Сознательный, — усмехнулась Звягинцева, — тихо-мирно. Все бы так — тихо-мирно! А то вон, — она толкнула пальцем пачку листов, — четыреста заявлений!

— Значит, распределим, как Старухин предло-

жил? — спросила Симакова. — Конечно. — Давайте так… — Удобно и правильно.

— А главное — стимул. Хорошо поработал — путевка будет.

— Правильно. — Голосовать будем? — Да не надо. И так все ясно. Симакова записала что-то в своем блокноте. — Оксана Павловна, — наклонился вперед Хохлов, — у нас в цехе работает одна женщина, мать троих детей, активистка, общественница. Из старой рабочей семьи. Очень хотелось, чтоб ей дали путевку.

— И у меня тоже двое есть. Молодые, но общественники хорошие, — добавил Клоков.

— Всех общественников, ветеранов войны и инвалидов мы обеспечим, как всегда, — ответила Симакова, — но это все потом, товарищи. Главное — распределили по цехам. А там уж сами решайте. Давайте перейдем к вопросу о Пискунове. Встань, Пискунов! Иди сюда.

Витька неторопливо приподнялся, подошел к сцене. — Поднимайся, поднимайся к нам. По деревянным ступеням он поднялся на сцену и стал возле трибуны. С минуту сидящие за столом разглядывали его.

— А поновей брюк ты что — найти не смог? — спросил Клоков.

— Не смог, — Витька рассматривал метровый узел на галстуке Ильича.

— Хоть бы почистил их. Вон грязные какие. Не на танцульки ведь пришел, не в винный магазин.

— На танцы бы у него нашлись другие, — вставила Звягинцева, — и брюки, и рубашка. И галстук нацепил бы, не забыл. И поллитру с дружками раздавил бы. Симакова положила перед собой два листка: — На завком поступили две докладные записки. Первая — от мастера механосборочного цеха товарища Шмелева, вторая — от профячейки цеха. В обоих товарищи просят завком рассмотреть поведение Пискунова Виктора Ивановича, фрезеровщика механосборочного цеха. Я их зачитаю… Вот мастер пишет:

«Довожу до сведения заводского комитета профсоюза, что работающий в моей бригаде Виктор Пискунов систематически нарушает производственную дисциплину, что пьяным является на свое рабочее место, и что не выполняет производственной нормы, и что грубит начальству, рабочим и мне. Начиная с июня сего года Пискунов опять запил, он приходит на завод и сильно шатается, а также выражается грубыми нецензурными словами. Я много раз предупреждал его,

просил и даже ругал, но он все как с гуся вода — пьет, ругается, грубит, хулиганит. Шестнадцатого июля, работая на фрезерном станке и фрезеруя торцы корпуса, он закрепил деталь наоборот, что вызвало крупную поломку станка. Когда же я накричал на него, он взял другую деталь и кинул в меня, но я увернулся и пошел к начальнику цеха. Пискунов и до этого не следил за своим станком, на реле он нацарапал матерное слово, а рядом нацарапал матерную картинку. А когда я просил его стереть, он говорил, что ему нужен стимул. А десятого июля в раздевалке он избил Федора Барышникова так, что того повели в медпункт. Из-за Пискунова наша бригада никогда не выполняла план, так как он больше двухсот корпусов никогда не фрезеровал, а норма — триста пятьдесят. Я много раз говорил начальству, но оно говорит, что и так у нас текучка, так что надо воспитывать, а не выгонять. И Пискунов, когда я его ругаю, ручку вынет и говорит: „Давай бумагу, сейчас заявление напишу, и не нужен мне ваш завод“. И плохо говорит о своей заводской семье. И ругается. Я проработал на нашем заводе двадцать три года и как член партии требую, чтобы к Пискунову применили эффективные меры, чтобы поговорили с ним эффективно, как следует. Его

ведь два раза на завком посылали, а он хоть бы что. Весь наш коллектив присоединяется ко мне и требует эффективного разговора с Пискуновым. Мастер Андрей Шмелев».

В приоткрытую дверь зала вошла уборщица с ведром и щеткой. Поставив ведро на пол, она сняла со щетки тряпку и стала мыть ее в ведре. Симакова взяла в руки другой листок. — А это от профячейки… Члены цехового профсоюзного комитета просят заводской комитет рассмотреть на очередном заседании поведение фрезеровщика Виктора Пискунова. В течение последнего месяца Пискунов регулярно нарушал производственную дисциплину, являясь на работу в нетрезвом виде и не выполняя производственных норм. Шестнадцатого июня Пискунов нанес в пьяном состоянии сильное повреждение своему станку, тем самым на целый день задержал работу всей бригады. Снятие с Пискунова прогрессивки никак не повлияло на него, — он по-прежнему продолжает нарушать дисциплину, грубит цеховому начальству и товарищам. Симакова отложила листок в сторону: — Да, Пискунов. Год ты на заводе не проработал, а все тебя уж знают. И не как ударника, а как тунеядца и алкоголика.

— Я что — алкоголик? — Пискунов поднял го-

лову. — А кто же ты? — спросил Клоков. — Самый натуральный алкоголик.

— Алкоголиков в больнице лечат, а я работаю. Я не алкоголик.

— Конечно! Конечно, он не алкоголик! — притворно-серьезно заговорила Звягинцева. — Какой он алкоголик?! Он утром стакан, в обед стакан и вечером полбанки! Какой же он алкоголик? — Сидящие за столом засмеялись.

Уборщица отжала тряпку, намотала ее на щетку и стала протирать проход между креслами. Симакова вздохнула:

— Ты понимаешь, Пискунов, что работать в пьяном виде не только опасно для тебя, для твоего станка, но и для окружающих? Понимаешь? — Понимаю.

— Ну так что ж? Понимаешь, а пить продолжаешь? — Да не пью я… Было один раз, так раздули, — он качнулся, тряхнул головой, — раздули, будто я каждый день, а я на самом деле один раз у шурина, на дне рождения…

— Да что ж ты врешь, бесстыжие твои глаза?! — крикнула Звягинцева, — Как не стыдно врать тебе! Ты каждый день на бровях, ка-а-аждый! Вот, — она кивнула на Клокова, — профорг твой сидит, его бы постыдился!

Витька посмотрел на Клокова и только сейчас заметил сидящего возле него Сережу Черногаева, расточника из соседней бригады. Серега смотрел на Витьку пугливо и настороженно.

— Один раз, — подхватил Клоков, — он, может, трезвым один раз за это время был! Я с ним каждое утро в раздевалке встречаюсь, в глаза погляжу — снова пьяный. А глаза, как у кролика, красные. — Чего это красные? Какие это у меня красные? — Такие и красные. А морда белая, как молоко. И шатает из стороны в сторону. — Да когда меня шатало-то? Чего вы врете-то? — Ты, друг дорогой, не дерзи мне! — Клоков шлепнул рукой по столу. — Я тебе не собутыльник твой. Не Васька Сенин! Не Петка Круглов! Это с ними ты так разговаривай! И встань-ка как следует! Чего привалился к трибуне! Это тебе не стойка пивная!

— Встань нормально, Пискунов, — строго проговорила Симакова.

Витька нехотя оттолкнулся от трибуны и выпрямился, прищурясь. Уборщица кончила протирать пол и, опершись на щетку, с интересом уставилась на сцену.

Звягинцева брезгливо посмотрела на Пискунова, покачала головой:

— Да-а-а… Противно смотреть на тебя, Пискунов. Жалкий ты человек. — Эт почему ж я жалкий? — Любой алкоголик жалок, — вставил Старухин. — А ты не исключение. Ты бы посмотрел на себя в зеркало. Ты же опух весь. Лицо лиловое какое-то, черт знает что… Смотреть неприятно.

Дверь скрипнула, в зал вошел высокий милиционер с виолончельным футляром в руке. Сидящие посмотрели на него. Потоптавшись на месте, милиционер медленно прошел по проходу и сел с краю четвертого ряда. Черный футляр он прислонил к соседнему креслу, снял фуражку с лысоватой головы и повесил на футляр.

— Сейчас он присмирел еще, — пробормотал Клоков, покосившись на милиционера. — А что он в цехе творит, в раздевалке. — Вы что, видели?

— Тебе сказали, не пререкайся! — качнулась вперед Симакова. — Ты лучше расскажи, как ты Барышникова избил. Или, может, это опять Клоков придумал?

Пискунов тоскливо вздохнул, заложил руки за спину. Милиционер, прищурившись, смотрел на него.

Уборщица оставила ведро со щеткой в про-

ходе и села недалеко от милиционера. — Чего молчишь? Рассказывай. — Да чего рассказывать… Сам он первый полез. Ругался, грозил… А я усталый был, не в духе. — И пьяный к тому же, да? — Ну, может, немного… Пива утром выпил. — И к вечеру не выветрилось? — спросил Клоков. — Хорошее пиво!

Члены завкома засмеялись.

Уборщица показала головой, поправила сползший на глаза платок.

Милиционер, по-прежнему сощурившись, смотрел на сцену. Симакова взяла карандаш, перебирая его, спросила:

— Значит, свое плохое настроение ты выместил на товарище? — Так он первый полез. Обзывался. — Не ври, Пискунов, — перебил его Клоков. — Не он к тебе полез, а ты, ты напился в раздевалке с Петькой Кругловым и стал приставать ко всем. А Барышников тебя одернул. А ты его избил. Вот — свидетель сидит, — он качнул головой в сторону Черногаева. Все посмотрели на свидетеля. Черногаев покраснел. Витька взглянул на красное лицо Сергея и отвернулся.

— Молчишь? То-то. Правда глаза колет. Скажи спасибо Барышникову, что не заявил на тебя. А он имел право. За тот синячище пятнадцать суток

дали бы тебе, не меньше.

— А действительно, почему он не пошел в милицию? — спросил Урган.

— Да вот парень хороший оказался. Замял, как будто и не было ничего. — Повезло тебе, Пискунов.

— Таким, как он, всегда везет. — Точно, точно. Везет! — уборщица поднялась со своего места. — Я извиняюсь, конечно, да только вот ведь, — она развела руки в стороны, — сосед у меня точно такой, точно! И как их, паразитов, земля носит!

Она выбралась из кресел, подбежала к сцене и стала загибать узловатые пальцы:

— Не работает нигде! Пьет каждый день! Девок к себе таскает, хулиганит, дерется и хоть бы что! И вот ведь не выселит его никто! Я уж в милицию, и туда, и сюда — нет! Как пил, так и пьет!

Члены завкома сочувственно покачали головами. Уборщица вздохнула и села в первом ряду. Симакова посмотрела на Пискунова:

— Тебя ведь третий раз на завком таскают, Пискунов. Неужели совесть совсем потерял? Ты ведь коллектив подводишь, завод позоришь. О себе не думаешь — о других подумай. Бригада из-за тебя план не выполняет, значит, всем — ни прогрессивки, ни премии. Ты это понимаешь? Или тебе

все равно? Чего молчишь?! Все равно, да?!

— А для него, Оксана Павловна, что в лоб, что по лбу, — вздохнула Звягинцева. — Он выпил — хорошо! Подрался — еще лучше! На работу не пришел — совсем прекрасно! А до бригады ему и дела нет.

— Ты знаешь, Пискунов, во сколько поломка твоего станка обошлась государству? Не знаешь? — спросил Клоков. Витька покачал головой. Клоков приподнялся, опираясь руками о стол: — Была б моя воля, я бы вычел бы все с тебя! Вот тогда б ты узнал! Узнал. А то сломал станок и хоть бы что — сидит, курит в проходе! Ты что, Витя, делаешь? Я покуриваю! А станок чинят. Хоть бы помог наладчикам! Нет, наплевать! И вообще ему наплевать на работу, на цех, на товарищей. Вот Черногаев, рабочий, в одном цехе с ним, вот ты хоть расскажи нам, как о Пискунове товарищи отзываются! Расскажи! А мы послушаем.

Черногаев неуверенно встал, качнулся. Все смотрели на него.

— Ну я… я в общем… — он провел рукой по лбу. — Да ты смелее, Сереж, расскажи все как есть, — подбодрил его Клоков.

— Ну, я, товарищи, работаю в одном цехе с Пискуновым, вижу, значит, его каждый день.

Мы с ним в разных бригадах работаем, но вижу его я каждый день. И в раздевалке, и в столовой. Вот. Ну и в общем здесь уже говорили. Пьет он. Выпивает регулярно. И утром приходит пьяный, и вечером пьяный. Вот, значит. И станок его я вижу. Грязный он, неубранный. После работы иду — а на его станке — стружка. И щетка на полу валяется. И почти каждый день так. И вообще он ведет себя нехорошо, грубит. Вот Барышникова избил.

— Как это случилось? — спросила Симакова.

— Ну, Пискунов с Петькой Кругловым раньше всех в раздевалку пошли, значит. Еще шести не было, а они подались. А когда остальные стали приходить и я пришел — они уже пьяные сидят, матерятся, курят. А с Федей они еще раньше столкнулись. Федя Пискунова ругал за то, что план всей бригаде сорвал. А тут Пискунов как Федю увидел, так сразу задираться стал, значит. «Эй, — говорит, — ударник-стахановец, иди сюда, я тебе рожу профрезирую».

— Чего ты врешь, Черногай, я такого…

— Замолчи, Пискунов! Продолжай, Черногаев.

— Ну вот. А Федя ему говорит — веди, говорит, себя прилично. А Пискунов выражаться. А Федя, значит, говорит ему, что будет, вот, собрание,

я, говорит, скажу о тебе и мы, говорит, в завком на тебя напишем. Ну, тут Пискунов на него бросился. Разняли их. У Феди лицо разбито. Ребята в медпункт пошли с ним. А Пискунов еще долго в раздевалке сидел. Выражался О заводе нехорошо говорил…

— Эт что я нехорошего-то говорил?

— Не перебивай, Пискунов! Тебя не спрашивают.

— А чего он врет-то?

— Я не вру. Он говорил, что все у нас плохо, платят мало. Курить, говорит, нечего, пойти некуда.

— Еще бы! Он ведь, кроме винного магазина, никуда не ходит! А кроме пол-литры ничего не покупает.

— Эт почему ж я не хожу-то?

— Потому! Потому что алкоголик ты! Аморальный человек! — тряхнула головой Звягинцева.

Черногаев продолжал:

— А еще он говорил, что вот на заводе все плохо, купить нечего, еда плохая. Поэтому, говорит, и работать не хочется.

Все молчаливо уставились на Пискунова. — Да как же… да как же у тебя язык повернулся сказать такое?! — уборщица встала со своего места, подошла к сцене. — Да как тебе не совестно-то?! Да как

же ты, как ты посмел-то! а?! Ты. ты… — Ее руки прижались к груди. — Дак кто же тебя вырастил?! Кто воспитал, кто обучал бесплатно?! Да мы в войну хлеб с опилками ели, ночами работали, чтоб ты вот в этой рубашке ходил, ел сладко да забот не знал! Как же ты так?! А?!

— Плюешь, Пискунов, в тот же колодец, из которого сам пьешь! — вставил Хохлов.

— И другие пьют, — добавила Симакова. — На всех плюешь. На бригаду, на завод, на Родину. Смотри, Пискунов, — она постучала пальцем по столу, — проплюешься! — Проплюешься!

— Ишь, плохо ему! Работать надо, вот и будет хорошо! А лентяю и пьянице везде плохо.

— А таким людям везде плохо. Такого в коммунизм впусти — ему и там не по душе придется. — Да. Гнилой ты человек, Пискунов. — Ты комсомолец?

— Нет, — Витька тоскливо смотрел на портрет. — И вступать не думаешь? — Да поздно. Двадцать пять… — Таким в комсомоле делать нечего. — Точно! Таким вообще не место среди рабочего класса.

— Третий раз вызывают его на завком, и все как с гуся вода! Вырастили смену себе, нечего сказать! А все мягкотелость наша. Воспитываем все!

— Действительно, Оксана Павловна. — Звягинцева повернулась к Симаковой. — Что же это такое?! Мы ж не шарашкина контора, а завком! Значит, опять послушает он нас, послушает, выйдет, сплюнет в уголок, а завтра снова в одиннадцать — за бутылкой? Мы же завком! Заводской комитет профсоюза, товарищи! Профсоюзы — это кузница коммунизма! Это ведь Ленин сказал! Так почему же мы так мягки с ними, с ними вот?!

— И правда! Пора наконец перестать лояльничать с ними! — вставил Старухин! — В конце концов у нас производство, советское производство! И мы несем ответственность за эффективность нашего завода перед Родиной! Сняли с него прогрессивку — мало! Сняли тринадцатую зарплату — мало! Увольнять нельзя, значит, надо искать какие-то новые меры! И не гуманничать! А то догуманничаемся!

— Правильно, Оксана Павловна, с такими, как Пискунов, надо бороться. Бороться решительно! Что с ними цацкаться?!

— Ему ведь наши нотации — как мертвому припарки.

— Ну а что мы можем, кроме снятия премий и прогрессивки? Выгнать-то нельзя…

— Тогда вообще зачем заседать?! Это ж из-

девательство над профсоюзом. — Форменное издевательство... — И пример дурной подаем. Сегодня он пьет, а завтра, гляди, и вся бригада. — Ну, а действительно, что мы можем?! Милиционер вздохнул, встал и одернул китель: — Товарищи!

Все повернулись к нему. Он подождал мгновенье и заговорил:

— Я, конечно, человек посторонний, так сказать. И к этому делу отношения никакого не имею. Но я как советский человек и как работник милиции хочу, так сказать, поделиться простым опытом. Я, товарищи, с такими, как этот парень, почти девятнадцать лет работаю. С двадцатилетнего возраста с ними сталкивался. Эти люди — тунеядцы, алкоголики, хулиганы и более крупные, так сказать, матерые преступники надеются только на одно — чтоб мы с ними мягко, так сказать, обходились. Как только мы с ними мягче и обходительней — так они сразу хуже. Сразу чувствуют! И выводы делают, и становятся опаснее для общества. Я здесь сидел, слушал, ну и в общем мне все понятно. Я вас, товарищи, хорошо понимаю. И по-моему, не надо вам бояться новых мер. Вы ведь, в конце концов, не за себя отвечаете, а за предприятие. И думаете о нем. И болеете за него. А завод ваш не зря орденом награжден. Не зря!

Надо помнить об этом. Он сел, сцепив руки.

— Правильно! — проговорил Урган. — Вот товарищ хоть и не работает на нашем заводе, а целиком прав. Поощряя таких, как Пискунов, мы вредим своему заводу! Сами себе же вредим! Значит, что же, выходит, мы с вами сами виноваты?!

— Конечно, виноваты! — подхватила Звягинцева. — Еще как виноваты! Из-за нашей близорукости и завод страдает!

Уборщица снова приподнялась со своего места: — Да кабы моя воля, я б с этими вот, такими, как он, прямо не знаю, что б сделала! Ведь житья от них нет никакого! Ведь во дворе вот с утра деньденьской до вечера бренчат, пьют, дерутся!

— Но опять же, что мы можем поделать? Мы же обыкновенный завком, полномочия у нас крайне ограниченные.

Милиционер вздохнул:

— Товарищи, вы меня не поняли. Я же сказал, вам не надо бояться новых, более эффективных мер. Вы же не о себе думать должны, правильно?

— Да, правильно, конечно, — отозвалась Симакова, — но факт остается фактом, у нас, товарищ милиционер, действительно нет полномочий…

— Товарищи! — милиционер шлепнул руками

по коленям, — мне прямо горько слушать вас! Нет полномочий! Да кто же виноват в этом?! Вы сами и виноваты! Все от вас, от вашей инициативы зависит! Если б были у вас конкретные предложения, были б и полномочия. Законы, что, по-вашему, с неба валятся? Нет! Народ их создает! Все от вас зависит, от народа. А то сами перед собой барьер поставили и ждете, чтоб вам полномочия дали. Это просто несерьезно. Вы так ничего не дождетесь. А вот эти, — он ткнул пальцем в Пискунова, — действительно вам проходу не дадут! И тогда и полномочия не помогут. А сейчас, когда это еще не поздно, — предлагайте! Пробуйте! Чего вы боитесь? Вы что, думаете, с такими, как этот парень, уговорами да беседами бороться? Напрасно. Их не уговаривать нужно. С ними совсем по-другому нужно. А как — это уж ваше дело. И инициатива должна от вас идти. Есть инициатива, есть предложения — значит, будут и полномочия. А если нет инициативы, нет деловых, так сказать, предложений, — значит, и полномочий не будет. Он сел, достал платок и вытер вспотевший лоб. Минуту все молчали. Потом Клоков вздохнул, вобрал голову в плечи:

— Вообще-то у меня, то есть у нас… ну, в общем, есть одно предложение. Насчет Пискунова.

Правда… я не знаю, как оно… ну… как… В общем, поймут ли меня, то есть нас, правильно…

— А вы не бойтесь, — ободрил его милиционер, пряча платок, — если оно деловое, конкретное, так сказать, значит, поймут. И одобрят.

Клоков посмотрел на Звягинцеву. Она ответила понимающим взглядом.

— Ну, в общем, мы предлагаем… — Клоков рассматривал свои руки, — в общем, мы…

Все выжидающе смотрели на него. Он облизал губы, поднял голову и выдохнул:

— Ну, в общем, есть предложение расстрелять Пискунова.

В зале повисла тишина. Милиционер усердно почесал висок и усмехнулся:

— Ну-у-у… товарищи… что вы глупости говорите. Причем тут расстрелять…

Собравшиеся неуверенно переглянулись. Милиционер засмеялся громче, встал, поднял футляр и, посмеиваясь, пошел к выходу.

Все провожали его внимательными взглядами. Возле самой двери он остановился, повернулся и, сдвинув фуражку на затылок, быстро заговорил:

— Я тебе, Пискунов, посоветовал бы побольше классической, хорошей музыки слушать. Баха, Бетховена, Моцарта, Шостаковича, Про-

кофьев, опять же. Музыка знаешь как человека облагораживает? А главное, делает его чище и сознательней. Ты вот, кроме выпивки да танцев, ничего не знаешь, поэтому и работать не хочется. А ты сходи в консерваторию хоть разок, орган послушай. Сразу поймешь многое… — Он помолчал немного, потом вздохнул и продолжал: — А вы, товарищи, вместо того чтоб время вот таким образом терять и заседать впустую, лучше б организовали при заводе клуб любителей классической музыки. Тогда б и молодежь при деле была и прогулов да пьянства убавилось… Я б распространился еще, да на репетицию опаздываю, так что извините… Он вышел за дверь.

Уборщица вздохнула и, подняв ведро, двинулась за ним. Но не успела она коснуться притворившейся двери, как дверь распахнулась и милиционер ворвался в зал с диким, нечеловеческим ревом. Прижимая футляр к груди, он сбил уборщицу с ног и на полусогнутых ногах побежал к сцене, откинув назад голову. Добежав до первого ряда кресел, он резко остановился, бросил футляр на пол и замер на месте, ревя и откидываясь назад. Рев его стал более хриплым, лицо побагровело, руки болтались вдоль выгибающегося тела.

— Про… про… прорубоно… прорубоно… — ревел он, тряся головой и широко открывая рот.

Звягинцева медленно поднялась со стула, руки ее затряслись, пальцы с ярко накрашенными ногтями согнулись. Она вцепилась себе ногтями в лицо и потянула руки вниз, разрывая лицо до крови.

— Прорубоно… прорубоно… — захрипела она низким грудным голосом.

Старухин резко встал со стула, оперся руками о стол и со всего маха ударился лицом о стол.

— Прорубоно… про… прорубоно… — произнес он, ворочаясь на столе.

Урган покачал головой и забормотал быстро-быстро, едва успевая проговаривать слова:

— Ну, если говорить там о технологии прорубоно, о последовательности сборочных операций, о взаимозаменяемости деталей и почему же как прорубоно, так и брака межреспубликанских сразу больше и заметней так и прорубоно местного масштаба у нас не обеспечивается фондами и сырьем по-разному по сварочному а наличными не выдают и агитируют за самофинансирование…

Клоков дернулся, выпрыгнул из-за стола и повалился на сцену. Перевернувшись на живот, он заерзал, дополз до края сцены и свалился в пар-

тер зала. В партере он заворочался и запел что-то тихое. Хохлов громко заплакал. Симакова вывела его из-за стола. Хохлов наклонился, спрятав лицо в ладони. Симакова крепко обхватила его сзади за плечи. Ее вырвало на затылок Хохлова. Отплевавшись и откашлявшись, она закричала сильным пронзительным голосом: — Прорубоно! Прорубоно! Прорубоно! Пискунов и Черногаев спрыгнули со сцены и, имитируя странные движения друг друга, засеменили к входной двери. Приблизившись к неподвижно лежащей уборщице, они взяли ее за ноги и поволокли по проходу к сцене.

— Прорубоно! Прорубоно! — хрипло ревел милиционер. Он изогнулся назад еще сильнее, красное лицо его смотрело в потолок зала, тело дрожало.

Пискунов с Черногаевым подволокли уборщицу к ступенькам и затащили на сцену. Звягинцева отняла руки от своего окровавленного лица, сильно наклонилась вперед и подошла к лежащей на полу уборщице. Урган тоже подошел к уборщице, бормоча:

— Если говорить о технологии прорубоно, граждане десятники, они никогда не ставили высоковольтных опор и добавляли битумные окислители, когда процесс шлифования необхо-

дим для наших ответственных дел и решений, и странное чередование узлов сальника и механопровода…

Черногаев, Пискунов, Звягинцева и Урган подняли уборщицу с пола и перенесли на стол.

Старухин приподнял свое разбитое, посиневшее лицо.

— Прорубоно, — четко произнес он распухшими губами.

Симакова отпустила Хохлова и, не переставая пронзительно выкрикивать, подошла к столу.

Хохлов опустился на колени, коснулся лбом пола и стал подгребать руками к лицо разлившиеся по полу рвотные массы. Черногаев, Пискунов, Звягинцева, Урган, Старухин и Симакова окружили лежащую на столе уборщицу и принялись сдирать с нее одежду. Уборщица очнулась и тихо забормотала: — Та и прорубо… так-то и прорубо… — Прорубоно! Прорубоно! — кричала Симакова. — Прорубоно… — хрипела Звягинцева. — Но прорубоно по технически проверенным и экономически обоснованным правилам намазывания валов… — бормотал Урган.

— Прорубоно! — ревел милиционер. Вскоре вся одежда была содрана с тела уборщицы. — (Эта… ота-та… — бормотала она, лежа на столе. — Про-

бо! Пробо! Пробо! — закричала Симакова.

Уборщицу перевернули спиной кверху и прижали к столу.

— Пробо… ота-то… — захрипела уборщица. — Пробойно! Пробойно! — заревел милиционер. Пискунов и Черногаев, приседая и делая кистями рук быстрые вращательные движения, спрыгнули со сцены, подняли лежащий у ног милиционера футляр, поднесли и положили его на край сиены. — Пробойное! Пробойное! — ревел милиционер. Пискунов и Черногаев открыли футляр. Внутри он был разделен пополам деревянной перегородкой. В одной половине лежала кувалда и несколько коротких металлических труб; другая половина была доверху заполнена червями, шевелящимися в коричневато-зеленой слизи. Из-под массы червей выглядывали останки полусгнившей плоти.

Черногаев взял кувалду, Пискунов забрал трубы. Труб было пять.

— Проболело! Прободело! — заревел милиционер и затрясся сильнее.

— Патрубки, патрубки пробойные общечеловеческие ГОСТ 652/58 по неучтенному, — забормотал Урган, вместе со всеми прижимая тело уборщицы к столу. — Длина четыреста двадцать

миллиметров, диаметр сорок два миллиметра, толщина стенок три миллиметра, фаска 3х5.

Пискунов поднес трубы к столу и свалил их на пол. — Прободело… так-то и проб… — бормотала уборщица.

Пискунов взял одну трубу и приставил ее заостренным концом к спине уборщицы. — Убойно! Убойно! — заревел милиционер. — Убойно! Убойно! — подхватила Симакова. — Убойно… убойно… — повторял Старухин. — Убойно… — хрипела Звягинцева. Пискунов держал трубу, схватив ее двумя руками. Черногаев стал бить кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пискунов взял вторую трубу и приставил к спине уборщицы. Черногаев ударил по торцу трубы кувалдой. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пискунов взял третью трубу и приставил к спине уборщицы. Черногаев ударил кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пискунов взял четвертую трубу и приставил ее к спине уборщицы. Черногаев ударил кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пискунов взял пятую трубу и приставил ее к спине уборщицы. Черногаев ударил кувалдой по торцу

трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол.

— Вытягоно… вытягоно… — забормотал Хохлов в кучку сгребенных им рвотных масс.

— Вытягоно! Вытягоно! — закричала Симакова и схватилась обеими руками за торчащую из спины уборщицы трубу. Старухин стал помогать Симаковой, и вдвоем они вытянули трубу. — Вытягоно! Вытягоно! — ревел милиционер. Старухин и Симакова вытянули вторую трубу и бросили на пол. Урган и Звягинцева вытянули третью трубу и бросили на пол. Пискунов и Черногаев вытянули четвертую трубу и бросили на пол. Урган и Звягинцева вытянули пятую трубу и бросили на пол. Из-под тела уборщицы обильно потекла кровь.

— Сливо! Сливо! — закричала Симакова. Быстро стекая по красному сукну, кровь разливалась на полу тремя большими лужами. Хохлов пополз на коленях к раскрытому футляру. — Нашпиго! Набиво! — заревел милиционер. — Напихо червие! Напихо червие! — закричала Симакова, и все, кроме милиционера и лежащего в партере Клокова, двинулись к футляру.

— Напихо червие, — повторял Старухин. — Напихо…

— Напихо в соответствии с технологическими картами произведенное на государственной основе и сделано малое после экономического расчета по третьему кварталу, — бормотал Урган.

Каждый из подошедших зачерпнул пригоршню червей из футляра и понес к столу. Подойдя к трупу уборщицы, они стали закладывать червей в отверстия в ее спине. Как только они закончили, милиционер перестал выгибаться и реветь, достал из кармана платок и стал тщательно вытирать мокрое от пота лицо.

Клоков поднялся с пола и принялся отряхать свой костюм. Пискунов и Черногаев собрали разбросанные по полу трубы и кувалду, сложили в свободное отделение футляра, закрыли его и стали застегивать.

— Ну чаво ш вы тама возитеся? — недовольно спросил Клоков. — То-то попотворилеся абы как…

Черногаев и Пискунов застегнули футляр, подняли и спустились в зал. Все, кроме Хохлова, спустились вслед за ними. Хохлов скрылся за кулисами.

— Ну чаво, чаво топчитеся? — окликнул Клоков Черногаева и Пискунова. — Швыряйте, швы-

ряйте!

— Попрошу вас не кричать, — произнес Черногаев, глядя в глаза Клокову. — Извольте вести себя подобающе.

Клоков раздраженно махнул рукой и отвернулся. Черногаев и Пискунов раскачали футляр и бросили его в середину зала, где он с шумом исчез между креслами.

Из-за кулис, согнувшись, вышел Хохлов. На спине его лежал большой куб, изготовленный из полупрозрачного желеобразного материала. От каждого шага Хохлова куб колебался. Хохлов пересек сцену, осторожно спустился по ступенькам в зал и направился к выходу. — Стоять! — произнес милиционер. Хохлов остановился. Милиционер подошел к нему и сказал что-то шепотом.

Звягинцева раскрыла свою коричневую сумочку и достала из нее пистолет. Милиционер что-то шепнул Хохлову. Тот кивнул головой, отчего куб мелко затрясся.

Звягинцева вложила дуло пистолета себе в рот и нажала спуск. Глухой выстрел вырвал затылочную часть ее головы, забрызгав кровью и мозговым веществом Старухина и Ургана. Звягинцева упала навзничь.

Милиционер опять что-то шепнул Хохлову.

Хохлов вздохнул и произнес:

— Хочу сделать заявление господам потерпевшим. Дело в том… дело в том, что я… — Он замялся. Куб на его спине задрожал.

— Пошел, пошел! — прикрикнул на него милиционер.

Хохлов подошел к двери, толкнул ее головой и вышел. Милиционер вышел следом. Клоков подбежал к двери и скрылся за ней.

— Беги, беги, козел, — презрительно произнес Черногаев.

— Ну что, пошли? — Симакова достала сигареты и закурила.

— Пошли, — кивнул Черногаев, и все двинулись к выходу.

1998

Пригов Дмитрий
Игра в чины

Предуведомление

Предлагаемая игра является результатом последних достижений в сфере общественных развлечений, а также исследований в области культуры и логически вытекает из всего объема социально-общественных явлений и может использоваться как регулятор в этой области.

Игра на самом первом, начальном уровне способствует выявлению и закреплению некоторых культурно-исторических сведений, но основной ее целью является упрочение духа коллективизма, осознание гражданской ответственности, осмысление на личном опыте принципа социальной стратификации и принципа осознанной необходимости, а также активное участие в общественной жизни.

Привлекательность игры состоит в том, что она рассчитана на все возрасты, она азартна, связана с определенной степенью риска, она максимально приближена к реальным жизнен-

ным ситуациям. Для игры не требуется никаких специальных приспособлений, кроме четырех нижеприводимых текстов.

Текст N 1

Александр Сергеевич Пушкин является гордостью русской и мировой литературы. В его произведениях нашли отражение мечты и чаяния русского народа. В своих произведениях он резко критиковал мерзости современного ему строя. Имя Пушкина вечно будет жить в сердцах благодарного человечества.

Текст N 2

Лев Николаевич Толстой является титаном русской и мировой литературы. В его произведениях нашли отражение величие и стойкость русского народа. В своих произведениях он резко критиковал мерзости современного ему строя. Имя Толстого будет вечно жить в сердцах лучшей части человечества.

Текст N3

Алексей Максимович Горький является класси-

ком русской, советской и мировой литературы. В его произведениях нашли отражение революционный дух русского и советского народов. В своих произведениях он резко критиковал мерзости современного ему строя. Имя Горького будет вечно жить в сердцах прогрессивного человечества.

Текст N4

Владимир Владимирович Маяковский является знаменем русской, советской и мировой литературы. В его произведениях нашли отражение созидательный дух и гордость русского и советского народов. В своих произведениях он резко критиковал отдельные мерзости современного ему строя. Имя Маяковского будет вечно жить в сердцах передового человечества.

Привила игры

В игре принимают участие 6 человек, которые разбиваются на 2 команды, по 3 человека в каждой. Команды выбирают себе руководителей и их заместителей.

По жребию или по взаимной договоренности какая-либо из команд начинает «водить», т,е. она должна по очереди воспроизвести все че-

тыре вышеприведенных текста. Происходит это следующим образом: руководитель свободной команды в согласии со своей командой определяет порядок воспроизведения текстов, последовательность текстов. Затем он сообщает это руководителю «водящей» команды, но так, чтобы о том не услыхали остальные члены «водящей» команды. После этого начинается собственно игра.

Руководитель свободной команды дает сигнал «Начали!», и руководитель «водящей» команды начинает про себя читать первый назначенный текст. В любой момент руководитель свободной команды говорит «Стоп!» и просит водящего назвать последнее слово, на котором он кончил чтение текста про себя. Затем руководитель свободной команды указывает на любого из двух оставшихся членов «водящей» команды, и тот про себя продолжает текст, который, как он представляет, начал его руководитель. В любой момент руководитель свободной команды снова командует «Стоп!», просит назвать последнее слово и предлагает последнему члену «водящей» команды продолжить. Затем он снова прерывает и просит руководителя «водящей» команды закончить текст, либо определить, что текст

закончен, либо, если последний член команды кончил текст и начал его заново, дочитать до конца лишнее начатое предложение этого текста. Во время произнесения текстов заместитель начальника свободной команды опрашивает каждого члена «водящей» команды сразу после прочтения им своего отрывка, какой текст он читал, и записывает на специальную бумагу. «Водящая» команда пытается воспроизвести в последовательности, определенной свободной командой, все четыре текста. Потом команды меняются местами и «водящей» становится свободная команда.

По воспроизведении текстов обеими командами кончается 1-й круг. Затем члены команд меняются местами так, чтобы каждый сыграл в одной команде с каждым во всех возможных сочетаниях. В обшей сумме подучится 10 кругов.

Каждый из шести человек, принимающих участие в игре, имеет свой личный листок, куда записываются результаты его игр во всех командах в 10 кругах.

После окончания 10-го круга кончается игра и начинается подсчет.

Комбинация, воспроизводящая в строгой последовательности 1-й текст, называется Гене-

ралиссимус.

Комбинация, воспроизводящая в строгой последовательности 2-й текст, называется Маршал.

Комбинация, воспроизводящая в строгой последовательности 3-й текст, называется Генерал.

Комбинация, воспроизводящая в строгой последовательности 4-й текст, называется Полковник.

Комбинация, воспроизводящая в строгой последовательности следующий текст: 1-е предложение 1-го текста + 2-е предложение 2-го текста + 3-е предложение 3-го текста + 4-е предложение 4-го текста, — называется Военный Министр.

Комбинация, воспроизводящая комбинацию, обратную комбинации Военный, т. е.: 1-е предложение 4-го текста + 2-е предложение 3-го текста + 3-е предложение 2-го текста + 4-е предложение 1-го текста — называется Милицанер. Любые иные комбинации в расчет не берутся.

По окончании игры все игроки просматривают свои листки (личные дела) и вычеркивают одинаковые комбинации, встречающиеся хотя бы у двух игроков. В соответствии с оставшимися у каждого игрока в личном деле комбинациями ему присваивается звание. Игроки, оставшиеся без звания, объявляются рядовыми. При наличии у какого-либо игрока двух чинов, он может от-

дать ненужный ему чин какому-либо рядовому, но при условии, что он не выше самого низшего чина игрока, получившего его в результате игры. В противном случае можно произвести перемещение, т. е. отдать чин низшему офицеру, а тот, в свою очередь, отдает свой чин рядовому. Оба в дальнейшем обязаны в случае, когда будет решаться вопрос о его первенстве в чем-либо, отдать один ранг своего чина своему жертвователю.

Звание Военный Министр, в отличие от чинов, дает преимущество только при равенстве чинов, несмотря даже на то, что у кого-либо из игроков оказалось бы два чина Генералиссимуса. То же и со званием Милицанер — оно дает преимущество, но только при равенстве низших из разыгрываемых чинов — Генерал и Полковник.

Тут надо сказать, что играющие строго хронометрируют время игры. Если в результате игры старшим чином оказывается Генералиссимус, то он имеет право быть во главе игравших (со всеми вытекающими из этого главенства обстоятельствами) до следующей игры в течение времени, равного десятикратному отрезку времени, зафиксированному во время игры. Маршал имеет право быть главным в течение времени,

равного восьмикратному отрезку захронометрированного времени. Генерал — в течение шестикратного отрезка времени. Полковник — в течение четырехкратного. Милицанер — в течение двукратного. Звание Военного Министра без чина такого права не дает. В случае равенства высших чинов у двух человек, офицерский состав определяет, кому из них быть главным, и ему соответственно повышается на один ранг его чин.

Надо сказать, что, по правилам игры, высший чин во время своего правления обладает всеми правами и обязанностями, которыми обладают соответствующие чины в реальной жизни. Эта игровая ситуация позволяет членам маленького коллектива полностью имитировать обстоятельства реальной жизни, воспитывая и подготавливая себя к подобным ситуациям.

По истечении времени правления проводится новая игра, где высший чин предыдущей игры сохраняет за собой право, в случае неудачного для него исхода, сохранить за собой чин не ниже, чем на три ранга меньше его предыдущего. Он также имеет право набрать себе первую команду для следующей игры, второй по старшинству чин возглавляет вторую команду.

Новый победитель имеет право прибавить к

своему чину один ранг, если его предыдущий чин был не ниже Генерала, а также прибавляет к своему сроку правления половину срока, полагавшегося бы ему по предыдущему чину. В случае повторной победы одного и того же игрока с чином Генералиссимус, он имеет право на четырехкратный генералиссимусный срок правления. При этом он в любой момент своего правления назначает переигровку низших чинов. Но теперь высший возможный чин за 1-ю комбинацию становится — Маршал, а низший за 4-ю комбинацию — Подполковник. Во время своего правления он имеет право повысить одного человека из офицерского состава до чина Маршала и понизить одного до чина Лейтенанта. В конце срока правления по добровольному решению двух высших за Генералиссимусом чинов срок его правления может быть продлен еще на два генералиссимусных срока, с условием, что до конца срока правления не будет производиться переигровка низших чинов, с единственным правом Генералиссимуса повысить третий по старшинству чин до второго, что играет большое значение при последующей игре, когда победитель будет определяться по сумме чинов за все игры и к своему сроку правления прибавит

полный срок, полагавшегося ему за предыдущий чин, и полсрока, полагавшийся ему за первый чин. В силе остается и условие, что в случае равенства чинов предыдущего правителя и нового победителя получивший в предыдущее правление от правителя повышение обязан отдать ему один ранг для победы. В случае же поражения предыдущего правителя, разжалованный в его правление офицер имеет право отнять у него один ранг в свою пользу.

Теперь рассмотрим случай, когда играющих больше, чем шесть человек. Тогда возможна комбинация из четырех команд, с правом включения неудачников первой пары во вторую двойку команд. По завершении раздельных игр в двух парах команд, высшие три чина из каждой пары разыгрывают между собой старшинства. При этом срок правления главы будет уже кратен совместному сроку двух предварительных игр и одной финальной. Тот же порядок и для любого возможного количества играющих. Вся игра может состоять из большого числа предварительных игр, четвертьфинальных, полуфинальных и финала. Срок правления всегда будет кратен совокупному времени всех игр. Большое количество игроков значительно повысит интерес, а

также ценность первого места. Учитывая большую сложность получения в данном случае двукратного срока правления, высшим чинам предоставляется право присвоить двукратному победителю или сразу же победителю первой игры звание Генералиссимуса, самим, соответственно, передвинувшись вверх по лестнице рангов, чтобы не было вакантных мест. Им же предоставляется право заполнить всю лестницу рангов и вниз, вплоть до ефрейторского состава. В конце срока правления Генералиссимус выбирает 6 человек для следующей игры по своей воле, хотя он ограничен одним условием: на две команды не может быть более одного рядового при наличии свободных офицерских чинов.

При этом открывается возможность и для прочих игроков. Она называется Военный переворот. Инициатор Военного переворота может выбрать любых 3 человек и бросить вызов главе. Глава назначает команду, возглавлять которую должен офицер, чин которого на один ранг выше, чем у руководителя Военного переворота. В данном случае игра идет в один круг. Условием победы участников Военного переворота является сумма чинов большая, чем у регулярной команды. В случае равенства или поражения, они раз-

жалуются в рядовые с запретом участвовать в каких-либо дальнейших перемещениях по лестнице чинов. При повторном неудачном участии в Военном перевороте участник его переводится в штрафной батальон, а при особо отягчающих обстоятельствах — приговаривается к расстрелу. В случае успеха руководитель Военного переворота получает следующий по порядку чин и Глава государства назначает новую команду, начальником которой опять является офицер, чин которого на один выше руководителя Военного переворота. Вся дальнейшая игра происходит по тем же правилам, пока очередь не доходит до самого Главы государства. В случае успеха Военного переворота, все бывшие офицеры разжалуются в рядовые, а три высших чина, включая Главу государства, приговариваются к расстрелу. Притом разжалованные офицеры имеют право на повторный Военный переворот, ход которого определяется теми же вышеизложенными правилами. Главе победившего Военного переворота сразу же присваивается чин Генералиссимуса. Он назначает четырех своих заместителей с присвоением им любых чинов и званий. Они, в свою очередь, назначают весь остальной офицерский состав.

Надо сказать, что в процессе разрастания игры и включения в нее все большего числа играющих, по мере возрастания ее серьезности, правила игрового определения чинов и должностей утрачивают смысл, становятся тормозом и приобретают реакционную окраску. Рациональнее было бы перейти к практике назначения на должности и присвоения чинов самими выделившимися в этом процессе и проверенными жизнью и борьбой руководителями. В этом случае, конечно, повышается и ответственность руководителей, которые в своих назначениях и решениях должны руководствоваться общественной пользой и благом. Они должны серьезно, внимательно, честно и разносторонне рассмотреть все хозяйственные и общественные нужды и выбрать наиболее подходящие кандидатуры для замещения руководящих постов. Если эти мероприятия будут проводиться в жизнь в соответствии с вышеизложенными принципами и при единодушной поддержке масс, то, несомненно, все это будет способствовать благоденствию и прогрессу.

Пригов Дмитрий
Описание предметов

Предуведомление

Задачей этого текста было дать точное описание предметов с их портретной узнаваемостью, а также с целью их демистификации с привлечением всего многовекового социально-культурно-духовного опыта человечества и последних научных данных.

В выборе предметов мы руководствовались принципом наибольшей значимости их и распространенности в социально-трудовой и бытовой практике человека. Выработанная нами методология описания позволяет со временем продолжить труд и провести полную инвентаризацию окружающего мира.

Яйцо

Товарищи! Яйцо является одним из наиболее распространенных предметов в социально-трудовой и бытовой практике человека.

Оно представляет собой сложную кривую за-

мкнутую поверхность со сложным органическим наполнением; размером от 20 мм до бесконечности в длину.

Изображается посредством сведения двух рук, сложенных каждая как полусфера. В быту используется как корм для всех видов домашнего скота и человека в сыром виде, в виде яичницы, омлета, в вареном виде и т. п. Историческое возникновение яйца связывают с появлением на Земле вида яйценесущих, что неверно, так как находят гораздо более ранние яйца естественного происхождения.

Часто используют образ яйца как духовно-мистический символ начальной космологической субстанции, что абсолютно неверно с научной точки зрения, так как более правильным было бы считать представление о возникновении мира как акта творчества демиурга в течение 7 дней.

Иногда ассоциируют образ яйца с образом социального класса как некоего вещества и жесткой формы классовой идеологии, что неверно с марксистской точки зрения, так как механизм взаимодействия классов и идеологии принципиально иной.

Из-за сложности кривой замкнутой поверхности и тонкости оболочки предмет практически

невоспроизводим. Реальное существование его по вышеуказанным причинам считается маловероятным.

Крест

Товарищи! Крест является одним из наиболее распространенных предметов в социально-трудовой и бытовой практике человека.

Он представляет собой абсолютно перпендикулярное пересечение двух узких плоскостей; размером от 20 мм до бесконечности в длину. Изображается посредством перпендикулярного наложения друг на друга двух пальцев разных рук.

В быту используется для распятия, ношения на шее, укрепления на культовых зданиях, сушки белья, изображения системы координат и т. п.

Историческое возникновение креста связывают с возникновением института права в древнем Риме и практикой пресечения преступлений, что неверно, так как находят гораздо более ранние кресты естественного происхождения. Часто используют образ креста как духовно-мистический символ мирового дерева, что абсолютно неверно с научной точки зрения, так как более правильным было бы считать символом мирового дерева

столб.

Иногда ассоциируют образ креста с образом пересечения индивидуальной воли и воли государства, что неверно с марксистской точки зрения, так как механизм взаимодействия личности и государства принципиально иной.

Из-за сложности достижения абсолютно перпендикулярного пересечения двух плоскостей предмет практически невоспроизводим. Реальное существование его по вышеуказанным причинам считается маловероятным.

Подушка

Товарищи! Подушка является одним из наиболее распространенных предметов в социально-трудовой и бытовой практике человека.

Она представляет собой два сшитых лоскута материи с внутренним наполнением при соблюдении точной меры между проминаемостыо и упругостью; размером от 20 мм и до бесконечности в длину.

Изображается посредством наложения двух рук ладонями друг на друга.

В быту используется для подкладывания под голову, под локоть, под бок, под спину, под ягодицы и т. п.

Историческое возникновение подушки связывают с моментом классового расслоения первобытного общества, что неверно, так как находят гораздо более ранние подушки естественного происхождения.

Часто используется образ подушки как духовно-мистический символ женской половой энергии, женского полового органа или лона, что абсолютно неверно с научной точки зрения, так как более правильным было бы считать представление о земле как о женском лоне.

Иногда ассоциируют образ подушки с образом загнивания общества в пределах устаревших производственных отношений, что неверно с марксистской точки зрения, так как механизм взаимодействия производственных отношений и загнивания общества принципиально иной.

Из-за сложности достижения точной меры между проминаемостыо и упругостью предмет практически невоспроизводим. Реальное существование его по вышеуказанным причинам считается маловероятным.

Столб

Товарищи! Столб является одним из наиболее распространенных предметов в социально-тру-

довой и бытовой практике человека.

Он представляет собой чистую цилиндрическую форму, установленную вертикально относительно земной поверхности; размером от 20 мм и до бесконечности в длину.

Изображается посредством одного пальца, направленного свободным концом вверх.

В быту используется для линий электропередач, в заборах, в воротах, посередине какого-либо места и т. п.

Историческое возникновение столба связывают с возникновением общинно-родового строя, что неверно, так как находят гораздо более ранние столбы естественного происхождения.

Часто используют образ столба как духовно-мистический символ мужской половой силы фаллического плана, что абсолютно неверно с научной точки зрения, так как более правильным было бы считать представление об андрогенной механике половой энергии.

Иногда ассоциируют образ столба с образом роли личности в истории, что неверно с марксистской точки зрения, так как механизм роли личности в истории принципиально иной.

Из-за сложности достижения чистой цилиндрической формы и абсолютной перпендику-

лярности при установке предмет практически невоспроизводим. Реальное его существование по вышеуказанным причинам считается маловероятным.

Коса

Товарищи! Коса является одним из наиболее распространенных предметов в социально-трудовой и бытовой практике человека.

Она представляет собой насаженный на деревянную ручку железный брус, одна сторона которого сведена к абсолютному нулю; размером от 20 мм до бесконечности в длину.

Изображается посредством руки с раскрытой ладонью, оттянутой под углом к оси предплечья.

В быту используется для косьбы, резки, заточки, драки, народной войны и т. п.

Историческое возникновение косы связывают с переходом человека к регулярному животноводству, что неверно, так как находят гораздо более ранние косы естественного происхождения.

Часто используют образ косы как духовно-мистический символ атрибута смерти, что абсолютно неверно с научной точки зрения, так как более правильным было бы считать представление о смерти как о реке с лодочником.

Иногда ассоциируют образ косы с образом диктатуры пролетариата в переходный период от капитализма к социализму, что неверно с марксистской точки зрения, так как механизм действия диктатуры пролетариата принципиально иной.

Из-за сложности достижения абсолютного нуля одной из сторон предмет практически невоспроизводим. Реальное существование его по вышеуказанным причинам считается маловероятным.

Колесо

Товарищи! Колесо является одним из наиболее распространенных предметов в социально-трудовой и бытовой практике человека.

Оно представляет собой кусок дерева, железа или другой материал в виде абсолютной окружности; размером от 20 мм до бесконечности в длину.

Изображается посредством смыкания указательного и большого пальцев свободными концами.

Употребляется в быту в телегах, машинах, паровозах, пароходах, самолетах и т. п.

Историческое возникновение колеса связы-

вают с началом социально-трудовой практики человека, что неверно, так как находят гораздо более ранние колеса естественного происхождения.

Часто используют образ колеса как духовно-мистический символ функционирования жизни на Земле, что абсолютно неверно с научной точки зрения, так как более правильным было бы считать представление о жизни как о свете, который и во тьме светит.

Иногда ассоциируют образ колеса с образом постоянного процесса товар-деньги-товар-деньги-товар-деньги, что неверно с марксистской точки зрения, так как механизм товар-деньги-товар принципиально иной. Из-за сложности достижения абсолютной окружности предмет практически невоспроизводим. Реальное существование его по вышеуказанным причинам считается маловероятным.

Обезьяна

Товарищи! Обезьяна является одним из наиболее распространенных предметов в социально-трудовой и бытовой практике человека.

Она представляет собой абсолютно последний этап эволюции от прочего звериного мира к

человеку; размером от 20 мм до бесконечности в длину.

Изображается посредством сжатия руки в кулак с выдвиганием среднего пальца чуть вперед относительно прочих.

В быту используется как экспонат в зоопарке, для научных исследований, для обзывания и т. п.

Историческое возникновение обезьяны связывают с эволюцией последнего перед ней биологического вида в нее, что неверно, так как находят гораздо более ранних обезьян естественного происхождения.

Часто используют образ обезьяны как духовно-мистический символ случайности и обманчивости жизни, гримасы жизни, что абсолютно неверно с научной точки зрения, так как более правильным было бы считать представление об эфемерности жизни в виде майи — миражности реального мира.

Иногда ассоциируют образ обезьяны с образом перехода каждого, прогрессивного в свое время, социального класса в реакционный, что неверно с марксистской точки зрения, так как механизм регресса социального класса принципиально иной.

Из-за сложности определения абсолютно по-

следнего этапа эволюции предмет практически невоспроизводим. Реальное существование его по вышеуказанные причинам считается маловероятным.

Женщина

Товарищи! Женщина является одним из наиболее распространенных предметов в социально-трудовой и бытовой практике человека.

Она представляет собой сумму идеальных качеств женственности; размером от 20 мм до бесконечности в длину.

Изображается посредством установления двух пальцев, обозначающих ноги, на какую-либо поверхность.

В быту используется для любви, деторождения, домохозяйства, танцев и т. п.

Историческое возникновение женщины связывают с периодом возникновения человека, что неверно, так как находят гораздо более ранних женщин естественного происхождения.

Часто используют образ женщины как духовно-мистический символ любви, что абсолютно неверно с научной точки зрения, так как более правильным было бы считать представление о любви как о безличной и всепроникающей

энергии или поле.

Иногда ассоциируют образ женщины с образом аморфности народных масс, что неверно с марксистской точки зрения, так как механизм аморфности народных масс принципиально иной. Из-за сложности достижения абсолютной женственности предмет практически невоспроизводим. Реальное существование его по вышеуказанным причинам считается маловероятным.

Серп и молот

Товарищи! Серп и молот является одним из наиболее распространенных предметов в социально-трудовой и бытовой практике человека.

Он представляет собой абсолютно неразъединимое совмещение серпа и молота; размером от 20 мм до бесконечности в длину,

Изображается посредством перекрещения двух рук, одна из которых сжата в кулак, а другая — с раскрытой ладонью. В быту используется как серп и молот. Историческое возникновение серпа и молота связывают со временем осознания единства класса рабочих и класса крестьян, что неверно, так как находят гораздо более ранние серпы и молоты естественного происхождения.

Часто используют образ серпа и молота как духовно-мистический символ вечных перемен, что абсолютно неверно с научной точки зрения, так как более правильным было бы считать представление о вечной перемене в виде умирающего и возрождающегося бога.

Иногда ассоциируют образ серпа и молота с образом механического соединения интересов рабочих и крестьян, что неверно с марксистской точки зрения, так как механизм соединения интересов рабочих и крестьян принципиально иной.

Из-за сложности достижения абсолютной неразъединяемости предмет практически невоспроизводим. Реальное существование его по вышеуказанным причинам считается маловероятным.

Пригов Дмитрий
Расчеты с жизнью

Предуведомление

Как неверны, мучительны, а порой и просто трагичны наши с жизнью расчеты. А все из-за того, что неправильно найден и неверно прилагаем эквивалент. Собственно, нынешний мир рыночных расчетов породил, дал нам прямо в руки, абсолютный и чистый эквивалент прозрачного перевода всего во все с небольшими затемнениями по краям в маргинальных зонах, могущими быть и непринимаемыми во внимание. Я, конечно же, под этим эквивалентом понимаю деньги. Если отнестись к ним как к генеральному мировому медиатору (наподобие средневекового философского камня), то жизнь предстанет нам тотально конвертируемой и совсем в иных стоимостно-оценочных категориях.

Жизнь станет на твердое основание. Все станет на свои места.

В кафе Британского музея

Я выпил кофе с каким-то маленьким пирож-

ным

Потянуло на 2 с половиной фунта

По вкусу же едва дотягивало до полутора фунтов

Но как по уровню несомненного удовлетворения выглядело как 2 фунта 30 пенсов

Результат оказался лишь в 20 центов

Небольшой убыток

В музее Стедлик в Амстердаме

В полукафе-полустоловой

Ел овощной суп, какое-то второе, кофе и колу

Все в сумме оказалось на 15 гульденов

По вкусовым качествам так и было — 15 гульденов

Но впечатлений была уйма — гульденов на 60

Тем более что платил за все не я Так что прибыль можно было бы прикинул как 100–150 гульденов

В Кельне, в музее Людвига

В кафе пил черный кофе

Запивал прохладной колой

Вышло точно 5 марок 70 пфеннигов

Было достаточно вкусно — что-то около 5 марок

Однако же общее благоприятное впечатление заходило за пределы 6 марок

Так что итог был почти нулевой с едва заметным моим прибытком

Рядом с Будапештским музеем

В охотничьем ресторане

Откушали грибного супа с кусочками кого-то

Затем зайца в сметане

Пиво и прочие запивки.

На троих потянуло 3 с половиной тысячи форинтов

Я выложил 2 тысячи

Но было вкусно, даже очень вкусно — тысяч на 5

К тому же обстоятельные собеседники, шутки, национальный антураж -10 тысяч

Итого, разделив на три, получаем 3 с небольшим

Прибытку оказывается не меньше чем 1 тысяча форинтов

В Тейт-галерее в Лондоне

С женой вдвоем взяли немного, на 5 фунтов

Но вкусно, вкусно, на 4 фунта 60 пенсов где-то

Впечатления прекрасные, прохладность и соседство высокого присутствия фунтов на 7

Тут пришел замдиректора и угостил еще на 9 фунтов

При том ценность и легкость беседы с уважи-

тельными интонациями в мой адрес

В общем, в итоге сумма трудно суммируется, но поимел где-то фунтов на 20–25

В Москве, поблизости от галереи Гельмана,

Перекусил тысяч на 50

Надо сказать, у нас тоже умеют

Ощущение даже на 70–75 тысяч

И вообще приятно — Москва, центр, умиление и почти слезы — уже на 90 тысяч

А в итоге положительный баланс в 60–65 тысяч

Да ладно! Родные края все-таки

На вернисаже угощали абсолютно бесплатно

При интересе, ажиотаже и совсем неплохой пище — 40 тысяч

Скажем, в Кельне это было бы марок на 30

В Лондоне угостили бы фунтов на 7

Так что прибыль практически исчисляема

В Дании, в Реккебринке

Во временном артцентре

Взял на 30 крон не ахти чего

Не понравилось абсолютно

К тому же узнал позже, что как участник проекта

Мог есть и пить абсолютно бесплатно

Да вот опростохвостился

Расстроился ужасно
Итог — убыток материальный и моральный порядка 300 крон
Шел по улице Стокгольма
Рядом с Кунстхуссетом
Никуда не зашел
Вообще-то сэкономил
Но не было случая иметь прибыль
Хотя и не потерял своих тоже
Смотрел, как один известный московский художник
В Мюнхенской Пинакотеке
Уплетает за обе щеки пишу ценой марок в 100–150
По удовольствию, написанному на его лице
Было ясно, что это тянет на 150 марок
К тому же на него смотрели, узнавали
К тому же в музее
К тому же праздничная атмосфера
Можно было только угадывать общую набежавшую сумму марок в 400
Итого домой привезет примерно прибыток в 280–300 марок
В Метрополитен-музее в Нью-Йорке
Легкой и освежающей осенью
Я сидел в кафе с девушкой

Это стоило порядка 15 долларов

Что и соответствовало качеству и вкусу

Но приятность соседства, беседа, пожатие рук, прекрасность окружения повышали стоимость до 50 долларов

А предстояло мне и вовсе нечто, что трудно оценить

Но все-таки рискнем назвать сумму в 200–300 долларов

Итого, по прошествии всего, за вычетом начальных 15 долларов оставалось 235 или 325 долларов сверху

Вот старушка а галерее Уффицы

Кушает буквально за гроши, за 5 тысяч лир

Но по ее быстрому косящему взгляду

Видно, что она старается заставить себя оценить еду лир в тысяч 50

А значимость обстановки, вмещающая в себя резко возросший ее уровень самосознания и того больше — 500 тысяч

Старушка ошибочно скалькулировала уже свою возвращенную молодость в миллион лир

Ничего не выйдет, старая!

Не обманешь!

Я все вижу и оцениваю беспристрастно по прямому факту поедания тобой фактической пищи

Все так и будет — 5 тысяч лир — ни больше ни меньше

Не всегда итог, казавшийся прибыльным, оказывается таковым

По прошествии времени и по трезвой оценке

Качество еды понижалось в своем первоначальном ошибочном денежном эквиваленте

Да и полезность или приятность беседы резко падали в цене

Так что прибыток оборачивался своей противоположностью

То есть страшным, страшным убытком

Были у меня случаи и прямой выгоды

Когда без всяких обедов

И всяких дополнительных подсчетов

В руки попадали прямые деньги

Но как бы не отмытые культурным обиходом и редукцией

И последовательностью квазирыночных операций

Они не обладали как бы очарованием и величием

Однако же все-таки доходили до ума и сердца

Они так и были — деньги

Я просчитывал оптимальный вариант на каждый день

В более-менее устойчивом долларовом эквиваленте

Обед 5–6 долларов

Желательно очень вкусный, превышающий номинальную стоимость на 10 долларов

В компании интересных, значительных и полезных людей, что прибавляет еще долларов 50

Итого имеешь в день где-то 55–60 долларов

В месяц — около 1800

В годовом расчете — 21600

Не Бог весть что, но жить можно

Рубинштейн Лев
Мама мыла раму

1. Мама мыла раму.
2. Папа купил телевизор.
3. Дул ветер.
4. Зою ужалила оса.
5. Саша Смирнов сломал ногу.
6. Боря Никитин разбил голову камнем.
7. Пошел дождь.
8. Брат дразнил брата.
9. Молоко убежало.
10. Первым словом было слово «колено».
11. Юра Степанов смастерил шалаш.
12. Юлия Михайловна была строгая.
13. Вова Авдеев дрался.
14. Таня Чирикова — дура.
15. Жених Гали Фоминой — однорукий.
16. Сергею Александровичу провели телефон.
17. Инвалид сгорел в машине.
18. Мы ходили в лес.
19. У бабушки был рак.
20. Бабушка умерла во сне.
21. Я часто видел бабушку во сне.

22. Я очень боялся умереть во сне.
23. Игорь Дудкин был похож на грузина.
24. Сергей Александрович шутил с папой.
25. У Сорокиных были сливы, но был и Джек.
26. Ребята играли в волейбол на полянке.
27. Глеб Вышинский приносил мышь.
28. Володя Волошенко врал.
29. Елена Илларионовна знала Сашу Черного.
30. То и дело падало напряжение.
31. В кино шел интересный кинофильм.
32. Брат заводил проигрыватель.
33. Папа громко кричал.
34. Буян гремел цепью.
35. Саша Смирнов завидовал, какие у меня марки.
36. Он умел шевелить ушами.
37. Потом и я научился.
38. Полина Мироновна сказала, что ее Борька — тупица.
39. Мужа Клавдии Ефимовны звали Михаил Борисович.
40. Раиса Савельевна работала в сороковом гастрономе экономистом.
41. Юрка Винников был ее сыном.
42. Ксения Алексеевна была совсем простая, но очень хорошая женщина.

43. Дом, где жили Павлик и Рита Ароновы, был соседним.

44. Таня Чирикова, кстати говоря, тоже жила в этом доме.

45. Имени мужа Райки Гусевой я, к сожалению, не запомнил.

46. Дул ветер.

47. Брат рассказал, что делают мама и папа в соседней комнате.

48. Также росли щавель, редиска и лук-порей.

49. У Славы Новожилова был шрам от проволочной клюшки.

50. Пошел дождь.

51. Я боялся куклы Тани Белецкой.

52. Отец Юры Степанова был беззубый, мать толстая, а сестра придурочная.

53. Сестру звали Юля.

54. У меня не было сестры, а был брат.

55. Брат сказал, что сегодня умер Сталин.

56. Брат меня ударил, потому что я смеялся и кривлялся.

57. Папа бросил курить.

58. Мы мечтали, чтобы скорее была война.

59. Мы любили китайцев.

60. Мне не разрешали переходить через дорогу.

61. Однажды я чуть не угорел.

62. Галя Фомина училась в Педагогическом институте. Когда я спросил ее, почему идет дождь, она стала объяснять и начала так: «В нашей стране много морей и рек…» Дальше я не понял и не запомнил.

63. Саша Смирнов имел привычку пердеть в помещении.

64. Слышно не было, но очень воняло.

65. Он не признавался, что это он.

66. Я учился кататься на велосипеде.

67. Я стеснялся сказать, как меня зовут.

68. Однажды я увидел такую огромную гусеницу, что не могу забыть ее до сих пор.

69. Меня укачивало и рвало.

70. Однажды, войдя без стука в комнату Гали Фоминой, я увидел впервые.

71. Однажды, одержимый ужасными предчувствиями, стремительно вбежал.

72. Пришли, но с большим опозданием.

73. Всю ночь бушевал ветер, также была и гроза.

74. Была ужасная погода, все изменялось и текло.

75. Из-за угла повеял ветер, принес прохладу и тоску.

76. Ударил гром, возникла скука, смятенье пе-

нилось в груди.

77. Во тьме свистело и сверкало, град в крышу страшно колотил.

78. Верхушки елей трепетали, повисли тучи над крыльцом.

79. Вначале было как в начале, но все закончилось концом.

80. Все было надо мной как прежде, но подо мной шаталась твердь.

81. Кружили, падали и плыли, и уходили кто куда.

82. В тот день все было как обычно.

83. Я встал, оделся…

Рубинштейн Лев
Шестикрылый Серафим

1. И ангелы бывают разные.
2. Ну и семейка!
3. Серьезный разговор.
4. Серьезный разговор (продолжение).
5. Да или нет?
6. Георгий Назарыч.
7. Тревога не бывает напрасной.
8. Долгие проводы — лишние слезы.
9. Непредвиденные обстоятельства.
10. В Москве.
11. Вот это встреча!
12. Перстами легкими, как сон…
13. Попытка не пытка.
14. Да и вы не Пушкин.
15. Опять проклятые вопросы.
16. Тень отца Гамлета.
17. Прощай, свободная стихия.
18. Отец.
19. Новое лицо.
20. Сенька-Самурай.
21. Приливы и отливы.

22. Есть шанс.
23. Так близко и так далеко.
24. Ночной переполох.
25. На кладбище.
26. Песня без слов.
27. Запутался, совсем запутался.
28. Пусть он уйдет.
29. Перемирие.
30. Смотря откуда посмотреть.
31. Еще одно испытание.
32. Потею, сил моих нет!
33. Неудачное сватовство, или Любовь к кукурузным палочкам.
34. Сто восемьдесят на девяносто.
35. Мама! Он пришел!
36. Не уходи — мне страшно.
37. Еще трое — и все с засученными рукавами.
38. И утро не принесло облегчения.
39. Рассказ лодочника.
40. Рассказ лодочника (продолжение).
41. И смех и грех (окончание рассказа лодочника).
42. Не удивляйтесь, это я.
43. Как пробиться в одиночку?
44. Сын своих родителей.
45. Намечаются перемены.

46. Что с нами со всеми будет?
47. Если сможешь, забудь.
48. Vox clamantis in deserto.
49. Человек с секретом.
50. Левушка, иди к нам!
51. Ожидание.
52. По самому краю.
53. Разлука ты, разлука.
54. Вполне обычный визит.
55. Ничего, кроме усталости.
56. Опять мимо!
57. О неприятном — потом.
58. Чудак-человек.
59. Миша, ужин на столе.
60. Внезапные откровения Игоря Андреевича.
61. Что сделано — то сделано.
62. Устройте так, чтобы я его больше не видел.
63. Томление духа или погоня за ветром.
64. Снова реплики и умолчания.
65. Снова бессонница и тревога.
66. Заманчивое предложение.
67. От пятницы до воскресенья.
68. Нет, вы уж теперь, пожалуйста, помолчите.
69. Одно неприятное поручение.
70. Александр Маркович, а мы к Вам!
71. Вечер телефонных звонков.

72. Нас счастье ищет, а найти не может.
73. Жан-Пьер делает выбор.
74. Алексеев волновался не зря.
75. Анна Арнольдовна предостерегает.
76. И в Париже люди живут.
77. И хочется, и колется…
78. Не провожайте, мне не далеко.
79. Неужели наступит лето?
80. Вопрос лишь в том, кто выпил молоко.
81. Крадемся на кошачьих лапах, распространяя трупный запах.
82. Не по чину берешь, Розвальнев.
83. Дедушке стало хуже.
84. Поэзия — она, брат, повсюду.
85. Не то свадьба, не то поминки.
86. Ох уж эти противоречия.
87. Пока сам не убедишься, помалкивай.
88. Устами младенца.
89. Мисюсь не Мисюсь — но что-то есть.
90. Как будто ветер с четырех сторон.
91. Не уследишь — обязательно вляпается.
92. Есть много, друг Гораций, различных ситуаций.
93. В этом же месте и в это же время.
94. И виждь, и внемли.
95. — Неправда. Вы не любите и никогда не лю-

били его, — неожиданно произнес все это время молчавший Кузьмин, — вы выдумали это, чтобы только мучить и себя, и его…

96. — Катитесь вы все с вашими утешениями знаете куда! — вспыхнула Надя, и было видно, что вся горечь и боль, все страшное напряжение последних дней…

97. — Вам некуда торопиться. Вас там ждут меньше всего, можете мне поверить. — Микки встал, закурил, подошел к окну, не оборачиваясь, повторил: Вам некуда торопиться.

98. — Олег, я давно ищу случая поговорить с тобой. Скажи мне, что произошло? Ты стал какой-то… Ну какой-то… Не знаю — какой-то не такой. О чем ты все время думаешь? Я все время ловлю себя на ощущении, что вот ты здесь — и тебя нет.

Что с тобой? Я измучилась. Я теряюсь в догадках. Ты что-то от меня скрываешь. Ты думаешь, я не вижу?

Что случилось? Ну что случилось? — Света подошла к нему вплотную, положила руки ему на плечи, заглянула в глаза.

99. — Пацаны! Айда раков ловить! — звонко закричал Вадька, самый младший из Веденяпиных.

— Хорош орать-то! Не видишь, что ли? — строго

осадил его рассудительный Славик, который хотя и был всего на полтора года старше брата, но уже чувствовал себя взрослым и степенным мужиком и хозяином в доме.

100. — Верк, а Верк!

— Ну чего тебе?

— Верк, давай, а?

— Вот дурак-то!

— А чего, Верк?

— Да отстань ты. Не видишь, что ли, — все руки в мыле?

Вера отвернулась, пряча улыбку. — Вот дурак-то, — ласково повторила она. Но уже тихо.

101.-А не потрафишь чем — опять ногой в зубы. Все тело, бывало, исщиплет. Озорная была, царствие ей небесное. — Баба Катя перекрестилась, захотела еще что-то добавить, но передумала и надолго замолчала.

102. Через несколько дней между нами установился тот особый уровень взаимопонимания, когда и вопросы казались излишними, и молчание казалось многозначным и нисколько не тягостным.

103. Невольно вскрикнув от внезапной боли, он повернулся на спину, затих…

И все вокруг затихло. Тишину

Ничто не нарушало, кроме капель
Дождя и голосов на переправе,
Торгующихся с лодочником. Тот,
Ссылаясь, очевидно, на погоду,
Накинуть требовал. Другие голоса
С ним спорили. И эта перебранка
Не кончится, казалось, никогда.
Потом он снова потерял сознанье.
И сколько так он пролежал — минуту,
Неделю, год, столетие — никто
Сказать не может. Но сияло солнце,
Когда он вновь открыл глаза и понял,
Что вновь родился…

Кисина Юлия
Полет голубки над грязью фобии

Глава 1: Крушение

Крушение было назначено на тринадцать часов. Оставалось два с половиной, но, как сейчас помню, время это растянулось очень надолго. Тогда мне показалось, что прошло целое лето. Впрочем, растягивать времена — это обычное состояние людей, обреченных смерти, тем более, если на эту смерть они обрекают себя добровольно. В этом есть некоторое наслаждение и чудовищная развязность обывателя.

Вагон, в который всех нас поместили, выглядел, пожалуй что, довольно чисто: глаженые шторки на окнах, содержательные пейзажи за окнами; мелькание пальм, синего моря, часовен, степей, акведуков — словом, всего, чего может пожелать усталый взгляд путешественника и что не даст ему ни расслабиться до конца, ни вновь напрячь свой блуждающий ум.

Пассажиры все до одури приятные: милейшая Розита в суровом сарафане, несколько молодых

людей — школьников-бобриков, которые ведут себя довольно сносно — дань романтизму — в поезде, обреченном на крушение. Рядом с круглым радио пенсионер в целлулоидовой шляпе. Потом еще в других купе — девочки-одна другой краше-Валя и Люся и Валя вновь. Проводник тоже ничего себе — «из бывших патриотов», и, наконец, — я.

Никогда раньше я не видела в лицах столько торжественной доброжелательности. В общем мне было, ах, как хорошо. В Красно-железно-Моторске вошли новые пассажиры — несколько старичков и один весьма милый молодой человек с обезьянкой в руках. Он все время к ней ластился.

Поезд тронулся. Вначале ехали молча. После чая начались любопытствующие разговоры о крушении. Подробностей никто не знал. Все знали только время. Пенсионерка в зеленом жакете жаловалась, что узнала из газет: «Вроде бы для всех, а билет с огромным трудом доставала и переплатила».

Вдруг молодой человек с обезьянкой, а его лицо все время вытягивается: губы — в острый угол, почти что в хобот, так он шевелит губами, в манере Чорбы; он спрашивает: «А мы погибнем?»

Ну конечно, об этом никому ничего не известно, но я безапелляционно заметила, что, разумеется, погибнем, а для чего же еще тогда крушения устраивать, да еще на таком высоком уровне.

Вскоре все эти разговоры мне наскучили и я вытащила журнал. Это была «Америка». Проводник — он тут как тут: ходит с колокольчиком на палочке и металлическим голосом сообщает правила: «Читать разрешается только в ватерклозете».

Я уже сидела со снятыми штанишками на стульчаке. Воняло, но не так, как во всех поездах. Я перелистывала журнал. Снаружи он был нормальный, но, может быть, вы помните журнал с голографическим орлом на обложке, так вот, этот был еще более странный. Внутри это пластиковая сумка, такие бывают у стюардесс. На пластике — поры. Действительно, они как на коже: дышат, сжимаются и расходятся ярко-оранжевыми дрожащими поверхностями. В пакете — кассета. Я поставила кассету, и на ней была полная и подробная запись «Лета, которого м.б. никогда не было». Страницы журнала с легкостью перелистывались. Фотографии отменного качества.

Все было необычайно ярко. Непонятным образом откуда-то накатилась синяя волна. Пробежал

кто-то не узнанный мною, но до боли знакомый. Впрочем, лица я так и не разглядела, только до боли родной след промелькнувших рук, ног движения — давал мне основания помнить об этом всегда. Я еще не успела разглядеть следы на песке, чтобы понять, мужчина это был или женщина, как море смыло следы и передо мной снова лежал сухой песочный пирог. В туалет постучали. Я, мгновенно застеснявшись потаенного изображения, перелистнула страницу. За дверью было тяжелое сопение: «Этот ветер остался от войны», просипело за щелью. «Я ветеран войны… — послышалось кругом. — Я, понимаешь ли…» Открывать я не собиралась. «Просраться-то дадите перед концом?» отмороженно хихикнула я. «Там — беременная», — послышалось за дверью. Возня продолжалась. Все что-то шуршало. Вещи я видела из-за этого не целиком, а только фрагменты. Они наплывали большими размытыми деталями и отплывали куда-то в туннель. Наконец рука моя завозилась с замком, и дверь открылась. Снова все приобрело свои масштабы. В дверь просунулась пожилая дама вроде Розиты — вся в орденах… ветер войны… «Я боюсь крушения», — сказала она мне жирным красивым курсивом (полушепотом), озираясь на звук

колокольчика. Вытащила капитанский погон, протянула: «Я единственная боюсь. Что делать? Помоги, Дочка».

Унитаз раздвоился и удобно предлагал свое второе очко, и урчал, и шуршал, и был необычайно услужлив. Мы не заперлись и озирали весь длинный желтый коридор. Она уселась рядом со мной. Мы следили за дрожанием коврика и книжек в стеклянных мешочках. Из купе никто не выходил. Я перелистнула страницу. «Эпизод рождения Венеры». Бабка наклонилась, руки у нее дрожали: «Как фильм-то называется?» — «Астенический синдром, или Детство дьявола», — прокуренными губами шептала режиссерша. И вдруг из воды выходит Йохананов в черных трусах и в кирзовых, черных же сапогах и с видеокамерой, закапанной остатками моря. И на пляж прибежали вдруг, откуда ни возьмись — куча маленьких знакомых и незнакомых девушек. Все они в ярких купальниках. «Родился! Родился! — кричат они. — Вскипела морская пена!» Я вглядывалась, но так и не нашла нас среди этой пестрой орущей компании.

На следующей странице ко мне подошел весь желтый от налипшего песка журналист. Интервью для журнала «Америка»: — Ваш любимый

город? — Рим, — а про себя думаю: «Не город Рим живет среди веков, а место человека во Вселенной…» Он повторил это вслух, получилось сипло. — Откуда вы знаете, что я подумала? Просто я опытный Журналист. Он куда-то убежал, вероятно, в свою Америку. До крушения оставалось полчаса. На кухне кто-то кричал сипло и весело: «Ну как помирать-то будем?» Звуки радио все усиливались. Незабвенная и полная ностальгических амбиций песня «Мастер и Маргарита» звучала сегодня как-то особенно сладко, как это бывает в последний раз. Из кухни вприсядку выскочил мужик, и его швыряло по желтому коридору. Иногда он залетал в купе, и тогда там визжали девчата: Валя, Люся, и тоньше всех — Валя.

По пояс голая аккордеонистка спокойно и тантаториально плескалась в движении посада, и немецкие слова, убаюканные ее голосом, редуцировались в глубокое поясное «Р».

Мужик в очередной раз сделал «вприсядку». Из кухни выпросталась рука и затянула его обратно. «Эх мать!» — «Сейчас по кумполу!» Наконец скукожившаяся за час пенсионерка грязно завыла: «Уведите куда-нибудь сирот. Хоть сирот пожалейте, не губите!» Но все остальные с нетерпением

и с торжественностью на лицах ждали. Молодой человек к тому времени был уже чисто выбрит. Розита надела свою шубку и повесила ордена. Впрочем, все ветераны к тому часу были уже в орденах. Я тоже вытащила из чемодана свое лучшее платье — голубое в желтую полоску. Оно было немного помято, но я думала, что никто не заметит, хотя потом все заметили, и грузная дама сделала мне неприятное замечание. Наконец все стали целоваться. И мы целовались с тем юношей, у которого была обезьяна, но она мешала нам целоваться, все мешала! До крушения уже было десять минут. Поезд заехал в туннель, и туннельная тьма поглотила пейзажи моря, кипарисы, беседки. На столе торчал смятый журнал…

И тут все опомнились, и вдруг замолчали, и поняли, что да, крушение должно произойти. Но уже было поздно.

Мы услышали нечеловеческий скрежет и дикие крики из передних вагонов. Потом все поглотила тьма и невыносимая, кружащая голову боль…

Вот что рассказала мне моя Пегги. Она осталась жива, но налет смертельного страха и усталости навсегда запечатлелся в ее голосе. Позднее она никак не могла объяснить мне, зачем она села в этот поезд, равно как и все остальные, но,

вспоминая день перед крушением, она говорила о каком-то подъеме духа, о приливе необычайной гордости за себя и за страну. И так же и все остальные. Впрочем, все остались живы. Ее голос, записанный на магнитофон, мы слушали иногда. Под конец бедняжка всегда всхлипывала и просила воды. То есть это выглядело так: «И потом все поглотила тьма и невыносимая, кружащая голову боль… Воды, поскорее принесите мне стакан воды, а то я сейчас раз-ры-да-а-юсь!»

Весной мы всей семьей уехали в Каховку, а Пегги осталась одна в городе. Когда мы приехали — на столе снова стоял магнитофон и лежала записка, написанная на не известном нам языке. Кассета была старая, предыдущая запись была стерта. Голос Пегги, потрескавшийся, быть может, от качества записи или от курения, то исчезал, то снова возникал из шипения. Там было довольно странное описание ее последнего приключения.

Вообще Пегги рассказывала все так, как будто все это необычайно странное с ней происходит и будто это всем интересно.

Дело было так: море мгновенно затвердело. То есть не успела я слезть со скалы, товарищ мой крикнул: «Берегись!» Теперь, конечно, я могу стать достойным членом географического обще-

ства, но тогда мне не до того было. Я чувствовала себя Амундсеном, спускающимся на Южный полюс. «Но вот и Пи-з-дец», — сказал «Амундсен».

Волны до самого горизонта похожи на пыльный ледник. То есть в этот момент я села в лодку, и лодка вдруг оказалась в полной неподвижности. Самое ужасное, что пляжники, которые купались, и человек, который прыгал со скалы, навеки застряли в твердой пучине и, палимые солнцем, еще долго умирали на поверхности соли. Некоторые купальщики застряли по пояс. В основном дети, которые выпрыгивали из воды. Прыгающий со скалы оставил на поверхности только ноги.

Если идти по кривой поверхности, все время спотыкаясь о кривые волны, все время спотыкаясь и падая, дотрагиваешься языком до липкой, скользкой поверхности, вся она — соль. Так я дошла до места предполагаемого края земли: до горизонта. Линия эта ничем не отличалась от остальной поверхности, собственно говоря, ее вообще не было. Зато в центре моря блестел закрученный, витой столб, похожий на колонну. Только теперь я поняла, что своды в мечети поддерживали четыре кривых смерча (и вот это был затвердевший в одночасье и засолив-

шийся смерч). В его стеклянной поверхности и запечатлена многая смерть: кривые островные деревца, вырванные с корнем, птицы, чьи перья распластаны по стеклу, и человеческая одежда: почему-то сто тысяч халатов. Когда я пошла прочь, по дороге мне встретились двое с бензопилой. По их словам я поняла, что они пошли вырубать халаты.

Я скоро заблудилась в волнах и заснула. По-видимому, еще долго стоял день — ведь я шла за солнцем, но я уснула в тени волны, не боясь размокания затвердевших вод, и мне приснился сон, будто мы на берегу искусственного моря снимаем фильм о том, как умер Висконти-Рейвич.

На веранде стоит экран, на котором видно, что происходит в закоулках огромного дома. Опоясывающий нижний холл выходит своими окнами то на море, то на оскольчатую гряду сонных гор. Камеры сами блуждают по дому, и увиденное мною происходит теперь только на экране. Постоянное раскачивание, беготня вещей. Срывается трюмо. Бежит, как у Пастернака. Певица тоже грузно бежит, задыхаясь, волоча свою арию. Сегодня она красавица! «Каста дива» дом, который кружится, кружится, и у меня кружится голова. С верхних перилец кто-то роняет пенсне, и оно

хрустит, сминая партитуру — так просто: хрясь — певица вся в слезах. Торопливые чьи-то шаги гнут балюстраду. — Какое-то светское пение, доносится тенор из рукомойника: «Какое-то…», но шум воды поглощает критическое замечание. Певица, теперь уже переодевшись к вечеру в красное платье, облегающее все складочки моложавой прыткой и смеющейся геронтологии. Как хороша!

Море на закате металлически поблескивает панцирными чешуйками, отливает увядающей сиренью. Диагональное трюмо, покачиваясь, останавливается, и в нем угасает почти последний блик дня. Снова начинается пение. Визг. Дива, распластавшись на зеркале, берет верховные аккорды, и зеркало немедленно лопается, как пенная пленка. Осколки выплескиваются из сонной рамы, и в доме начинается суматоха. Экран выключается. Все мы бежим вниз. Плетеные стулья летят через перильца. По дороге, отставая от суматошного потока, я останавливаюсь, пораженная зрелищем солнца, почти что потонувшего в мягкой податливой морской чешуе. Темные кармины и кобальты клубятся в глубине.

Пока все копошатся, я решаю спуститься к воде.

На пляже уже никого нет, кроме убирающего штативы фотографа. Так хочется с разбегу окунуться в еще теплые от полдня воды, но под ногой что-то твердое задерживает мой порыв: вместо моря — аккуратно уложенная брусчатка встречает меня своим почти что металлическим блеском. Брусчаткой здесь выложено до горизонта, и днем камни блестят на солнце, создавая ощущение трепещущей водяной глади. Теперь я понимаю, почему море называется искусственным. Что-то движет мною. Пить. Я в поисках воды. Пить. Ухожу вглубь. Солнце уже почти что село. Я иду за ним. Мои шаги в резиновых тапочках почти не слышны. Особняк остается далеко под горизонтом. Где-то на юге различаю далекую колонну грузовиков — они возят брусчатку. Позднее я узнала, что море — это бесконечное наслоение брусчатки и что каждый год рабочие, которые обслуживают море, укладывают новый слой…

Надо сказать вам, что самой Пегги мы так никогда и не увидели. Она приходит всегда не замеченная никем, быть может, выслеживает нас у ворот и, когда все уходят, проникает в дом.

Первый раз мы нашли магнитофон с записями Пегги в прошлом году, когда вернулись в наш старый дом. Вещи были не тронуты. Только

магнитофон стоял посреди стола. Мы услышали впервые ее голос. Она сообщала, что она Пегги и что ей необходимо наговаривать на магнитофон разные записи, которые она оставляет в нескольких домах время от времени. О Пегги мы догадывались по записям. Иногда она жаловалась на жизнь.

Только раз она появилась у нас, да и то мы все ее так и не увидели. Это было в тот день, когда разразилась страшная гроза и во всем городе погас свет. Мы услышали ее голос. Она беспокойно шептала: «Сюда, сюда», и мы шарили в темноте. Когда свет зажегся — Пегги уже не было. Она лишь оставила свой платочек, который мы бережно храним.

Третья история Пегги, которую мы прослушали всей семьей, была история продажи алтарей.

Пегги пошла на базар. Когда она возвращалась, на краю базарной площади она увидела сияние. Когда Пегги подошла ближе, она поняла, что сияние исходит от позолоченных алтарей. Вдоль огромной кривой базарной стены стояли грязные стареющие торгаши и из рваных тряпок вынимали знаменитейшие в Европе алтари или их фрагменты. Был среди них и кусок Гентского алтаря, и алтарь Песочного собора и т. д. Некоторые

торгаши вынимали из тряпок полуобгоревших, но все так же прекрасно улыбающихся херувимов. Подъехал грузовик для дешевой распродажи пинаклей и крестоцветов. Ну и вакханалия началась!

— Я подошла к одной старой перечнице, — рассказывала, почти что задыхаясь от возмущения, наша милая Пегги, — и она продавала деву Марию из знаменитого Хверского монастыря рыб!

Однажды мы сделали запись специально для Пегги. Мы приглашали ее появиться у нас, не таиться. Говорили, что любим ее необыкновенно и страшно жаждем видеть ее, как бы она ни выглядела и из какой бы семьи ни происходила, но Пегги так и не пришла.

Самая удивительная из историй Пегги — рассказ об ее встрече с Гитлером. Вообще в искренности Пегги мы не сомневались. Она была знакома со многими поразительными людьми и никогда не задирала нос по этому поводу. Но история с Гитлером была какая-то особенная. Пегги с такой нежностью и с таким сожалением рассказывала ее нам. И было в этом столько боли, и раскаяния, и лиризма… Вот послушайте: я сижу в мастерской и приходит ко мне маленький и робкий молодой человек, быть может, и не такой уже молодой,

но в глазах и молодость, и свет, и смертельная усталость. А главное — страх! И я хотела спросить его имя, но вдруг меня осенило. Это был молодой Адольф Гитлер. «Убирайтесь немедленно! сказала я злым полушепотом. — Мои моральные установки не позволяют мне с вами разговаривать». И я разразилась пылкой речью в защиту человечества: «Вы погубили столько евреев!» — кричала я, почти что осипнув. Гитлер жался к выходу. «Я ненавижу фашизм! — завершила я. — Но к тому же, если кто-нибудь узнает, что я разговаривала с вами, меня все запрезирают и отвернутся от меня, поэтому, пожалуйста, уходите», — сказала я. Бедняга жался к стене, но потом через силу заставил себя говорить. Глазки у него бегали, как у загнанной старой крысы. Он умолил меня выслушать его, и я, заперев дверь на ключ, согласилась его слушать, но не более пятнадцати минут.

— Ведь вы, вероятно, помните из истории, — сказал он виновато, — я учился в художественной школе и был довольно способным. А мне так нравятся ваши рисунки, я только посмотрю и уйду.

И мне пришлось показывать свои рисунки Адольфу Гитлеру — кровавому палачу!

И Адольф Гитлер рассказал мне самое страшное воспоминание его жизни.

Была ранняя весна, и парк вокруг нашей школы был в свежей холодной зелени. Мы вышли из школы вместе с Юлией Блюменталь и некоторое время шли молча по желтой песчаной дорожке и размахивали громоздкими папками с рисунками. В то время моими кумирами были мастера Возрождения, и я сам чувствовал себя таким мастером. Мне казалось, что природа повинуется мне. Ветер слушал мои желания и прекращался или дул сильней. Солнце по одному мановению моей руки выкатывалось из-за деревьев. Словом, все подчинялось мне, но это была великая тайна, и я впервые открылся об этом Юлии. Вдруг из-за куста выскочила мышь, и Юлия завизжала. Я схватил папку с рисунками, бросился по дорожке вперед, накрыл мышь папкой и придавил. Мышь пискнула. Я раздавил ее. Когда я поднял голову, Юлия Блюменталь уходила в другую сторону, и, когда я попытался ее догнать, она убежала от меня.

Больше мы никогда не разговаривали, хотя проучились в одном классе еще три года. Я проклинал себя, проклинал мышь. Я казался себе жалким убийцей, неуклюжим и маленьким. Иногда я представлял эту сцену до малейших подробностей, все время испытывая одно непри-

ятное чувство. Казалось, что это краткий писк преследует меня. В конце концов это стало наваждением, и я не мог больше смотреть на Юлию. Я перестал ходить в классы, чтобы не встречаться с ней и чтобы снова не испытывать это воспоминание. Закончилось тем, что я возненавидел Юлию Блюменталь, а вместе с нею и весь еврейский род.

Так он закончил свой рассказ. «Идите», — сказала я ему. Собираясь уходить, он остановился в дверях: «Вы только никому этого не рассказывайте». Когда дверь за ним закрылась, я еще долго сидела в оцепенении, представляя прелестную раннюю весну, парк со скульптурами и юную пару…

Под конец Пегги даже всплакнула. И мы грустили вместе с ней.

Глава 2

Через год магнитофон исчез и больше не появлялся. Мы решили, что с нашей Пегги что-то случилось, и может быть, это было так, но случайная встреча в поезде успокоила меня.

Я должна была ехать на каникулы, и мне купили билет в вагон первого класса, то есть в тот вагон, где в каждом купе едут два человека, а не

восемь, как обычно. Я была крайне довольна и думала о том, что поеду как девушка из богатой семьи. К тому же я с нетерпением ждала того, кто будет ехать со мной, но миновало три станции, а спутницы не было. Когда мы проезжали Красиловку, в купе постучались. Это была женщина в возрасте- она и передала мне знакомый магнитофон. Я хотела задать ей несколько вопросов, но женщина оказалась иностранка. Она ничего не понимала по-русски и только улыбалась. Когда я осталась наедине с моим дорогим магнитофоном, я его включила тут же и, хотя стук колес мешал мне, я услышала вот что:

— Я хочу извиниться, — оправдывалась Пегги, — что я так долго не разговаривала с вами и с вашим семейством, но обстоятельства трагические и безысходные надолго повергли меня в депрессию, и я промолчала несколько месяцев, пока доктор Громов не отругал меня. Потом я уехала в Швецию и долгое время жила в Стокгольме. И вот что там со мной произошло!.. — голос Пегги, всегда такой веселый, теперь, казалось, стал каким-то взрослым и умудренным. Итак, — продолжала Пегги, — в Стокгольме я была приглашена на детский королевский прием.

В шесть часов вечера все собрались у королев-

ского дачного приюта. Все дети были веселы, празднично одеты, и у каждого в руках были игрушки или леденцы.

Нас провели в круглую комнату, и Король прочел нам инструкцию о дегустации мяса и пользовании засохшими карликами. Конечно, никто ничего не понял, но все покорно проследовали в следующую круглую комнату, которая была застеклена снизу доверху. Надо сказать, что мы так и не разглядели потолка этой комнаты, потому что он уходил куда-то далеко вверх и виден не был. По сторонам круглой комнаты шли полки, в которых стояли маленькие фигурки карликов, и чем выше, тем размер карликов становился меньше. Я не знаю, был ли это эффект перспективы или выхлопная труба так действовала на карликов, что они уменьшались от приближения к небу. На мягком ковре поместилось сто детей, и они сидели, поджав коленки и требуя игрушек. Король приказал внести тарелочки с мясом. Несколько слуг с усталыми порочными лицами внесли тарелочки и огромные оладьи с засохшими цветами. Король пояснил, что эти цветы засушенный сад его прабабушки. Потом принесли землю. Потом лесенки. Мы взбирались по лесенкам и разглядывали карликов на по-

лочках. Это был пантеон карликов, которых не хоронили, как всех нормальных людей, а после смерти засушивали в специальных сушильных шкафах, поэтому кожа у них достаточно хорошо сохранилась. Засохшие мумии наряжали в очень дорогие одежды и ставили на полки, снабжая подробными аннотациями. Вскоре король указал на некую маленькую дверцу у основания пола. Эта дверца как раз находилась между двумя наиболее древними карлами и приходилась нам всем впору. Но никто из детей не решился войти туда. Так все мы на долгие годы и остались в неведенье: что же там, за этой дверцей.

На этом странный и короткий рассказ Пегги заканчивался. На кассете была надпись: «Мои путешествия по Швеции».

Потом Пегги снова надолго исчезла, и следующий рассказ мы прослушали всей семьей только через год. К тому же на Рождество мы впервые получили фотографию Пегги, сделанную каким-то американским журналистом, который, как мы узнали, погиб от СПИДа. Пегги на фотографии можно было дать примерно лет сорок. У нее было довольно истерзанное потерями лицо. Пегги была выбрита совершенно наголо и, как мы поняли, содержалась в одной из женских колоний. На

ухе у бедняжки была железная бляха с номером 23. Посреди груди красовалась ужасная татуировка: «Что касается приватных искусств, все они подчинены центральной психопатической ситуации, которая производит дозор в женских сферах замасленности и дисбаланса».

Вот такая была наша Пегги. После того как к нам попала эта самая фотография, вся корреспонденция, предназначенная Пегги, стала приходить на наш адрес. Это были многочисленные документы из прокуратуры, в которых мы ничего не понимали, письма незнакомых нам людей, которым Пегги тоже, по-видимому, оставляла магнитофон. Судя по письмам, она везде являлась сладчайшей любимицей, хотя никто никогда ее не видел. Из прокуратурных и судебных бумажек мы узнали, что Пегги была виновницей нескольких тягчайших преступлений, но этому не поверили. Оказывается, бедняжка совершила ряд насильственных убийств. Медицинские эксперты давали оценку этим поступкам как приступам душевной болезни, постигшей Пегги еще в двенадцатилетнем возрасте. Из тюрьмы нам прислали еще несколько записей. Встречаться с нами Пегги отказалась, хотя в записях она обращалась к нам исключительно ласково и

просила не беспокоиться о ней и о ее дальнейшей судьбе. По словам Пегги, все уже было решено в лучшую сторону — ее отправят на исправительные работы.

По словам следователя, к которому не раз обращалась моя мать, Пегги написала книгу под названием «Замедление простых разговоров».

Вот последний рассказ, полученный нами от бедняжки.

В пустыне сидят двенадцать детей, сложив ноги по-турецки. Перед каждым ямка из песка. У каждого в ямке клад. Клад — это детский секрет — стекло. Под ним фольга и мальва и кусочки Торы. По команде учителя все дети зарывают свои клады, поливают их из сосуда и изгоняют меня из круга. Потом они переходят вброд ручей. Пока они переходят ручей, каждый из них принимает обличье зверя. Я иду вслед за ними лисицей. Мы выходим на чистое место. Дети куда-то исчезают. — Передо мной огромный до неба белый фарфоровый алтарь со зверями. В алтаре белые восковые фигуры собак, подтаявшие от свечей. Перед алтарем четыре камня, каждый из них характеризует одну из церквей. Под каждым камнем источник. Мне надо выпить воду из источника. Когда я подхожу к одному из них вода

исчезает, зато бьет сильней в остальных. Так я мечусь между четырьмя церквами — четырьмя источниками. Я вся в слезах!

Глава 3: Из которой мы узнаем печальную историю Пегги

Из прокуратурных документов и заключений психиатра мы узнали и почти восстановили в целом, опуская всякие подробности, историю Пегги. Дело в том, что Пегги было действительно уже сорок лет к тому моменту, когда ее посадили. За это время она успела совершить множество преступлений, и каждое ее преступление сопровождалось подобным рассказом. Из психиатрического анализа стало ясно, что еще в двенадцать лет нормальную девочку Пегги — имя, выдуманное ею самой (настоящее ее имя Мария Ливанова-Пьютер), так вот, девочку Пегги стали посещать странные миры, то есть она западала в эти миры. В этот момент она совершала аморальные и безнравственные действия. В действительности ей представлялось это прекрасными путешествиями или прекрасными происшествиями. Чистая, незапятнанная душа Пегги не могла и подозревать о том, что она творит, но при этом все ее ужасные поступки совершались со всей

тщательностью продуманности и скрытности. Позднее, когда Пегги узнала об этой психической своей особенности, она не верила, и поверила только тогда, когда один следователь спровоцировал видение и заснял на видеопленку момент кровавого изнасилования. Пегги была вне себя от горя, ведь ей казалось, что в эти минуты она находилась в Монастыре рыб. Бедняжка никак не могла соединить такое раздвоение своей души. Позднее, пребывая в этих мирах, она что-то смутно подозревала, но остановить видение была не в силах. Потребность записывать это на магнитофон появилась не сразу. Вначале девочка писала свои видения в альбоме, свято веря, что то, что с ней происходит, — не психоделическое видение, а самая реальность. Родители Пегги, с самого начала наблюдавшие за дочерью, никогда так и не решились открыть Пегги ее поведение. Сами они погибли от яда, брошенного ею в рождественский обед. Долгое расследование их смерти ни к чему не привело. От горя девочка чаше стала западать в миры. Она видела странное отношение к себе окружающих. Бесконечные приводы в милицию и отсидки, а также помещения ее в сумасшедшие дома сделали ее недоверчивой и замкнутой. Часто Пегги выслеживала дома, из которых жильцы

часто отлучаются. По семейным письмам, фотографиям она и определила своих избранников, которым она стала относить свои странные записи. Так был выбран и наш дом. Позднее Пегги призналась следователю, что она подолгу жила у нас во время наших длительных отлучек на дачу. Она жила среди наших фотографий, писем, вещей. Иногда она надевала и мои платья, хотя многие из них были тесны ей. Пегги любила нас всей душой и боялась, что потеряет эту любовь в тот момент, когда жизнь столкнет ее с нами.

У Пегги была маленькая комната в коммунальной квартире, куда ее выселили после смерти ее родителей. Там нашли множество магнитофонных записей, и моя мать захотела выдать книгу видений Пегги. К тому же моя мать, будучи психиатром, хотела изучать странный феномен Пегги, но люди, занимавшиеся следствием по ее делу, не разрешили моей матери до конца исследовать ее архив.

Надо добавить, что в молодости Пегги была очень хороша собой, и многие люди западали на ее красоту, но, удостоверившись в опасности Пегги, а она действительно была опасна для окружающих, ее покидали. У нее даже было краткое замужество, закончившееся ночным покушени-

ем на мужа во время сна. Как Пегги рассказывала позднее, в ту ночь ей снились деньги в виде белесоватой жидкости, которую она отказывается выпить. Муж бежал, и Пегги не могла опомниться от горя. Она была в глубокой депрессии, когда запала в историю, которую я приведу ниже.

История также была записана на магнитофон, но воспроизводилась не в нашей семье, а в семье Крошко.

Сегодня весь день шел слепой дождь. Я была в отличном расположении духа. Чувствовала себя счастливой как никогда. Я была сегодня хороша собой. Целый день лучи, играя, переливались на моей коже и на спицах моего велосипеда. Мне казалось, что я намотала целый клубок света. Двое теннисистов, встреченных мною на дорожке, показались мне очень любезными молодыми людьми, они проводили меня в дом барельефов, который то ли рушили, то ли реставрировали. Дело в том, что лестницы и перекрытия этого дома составляли сплетенные каменные руки и торсы слившихся в один поток людей. Сюжет дома представляли дантовы круги ада, и в доме было девять этажей. Кольцевая лестница без перилец, по которой мы поднимались, ступая по спинам грешников, вела нас наверх, а в середине

был столб пустоты. Надо было вести себя осторожно. Квартир же в доме тоже было немного. Была одна бывшая коммунальная квартира. Пол ее представлялся застывшим адским пометом. Иногда старая позолота отставала от своих оснований и скульптуры на стенах представлялись как бы раздетыми. В какой-то момент мне даже стало стыдно.

Вскоре на улице начался, по-видимому, густой летний туман, который проник в дом. В одной из комнат мы обнаружили прикрученный к полу железный стол на львиных лапах. К столу были навсегда припаяны чугунные шесть приборов, супница, несколько соусниц и все, что полезно для обеда. В другой комнате мы нашли такой же стол с приборами для завтрака. Мои спутники были крайне удивлены и захотели скорее покинуть это странное место. Когда мы спускались, навстречу нам вышли такие же любопытные. Их тоже было трое, и двое из них несли с собой теннисные ракетки. Как только мы вышли из дома, спутники мои исчезли и я оказалась в полном одиночестве. Вдруг я услышала странный щелчок это репортеры заходили в дом. На лестнице что-то произошло. Я снова забежала внутрь. Теперь уже одна. С самой вершины лестницы

сорвалась старая женщина, но повисла, ловкой рукой уцепившись за одну из скульптур. Это было лицо дьявола. Она удержалась и, немного отдышавшись, сказала репортерам: «Не пугайтесь, я старая акробатка и чувствую себя здесь как мартышка в лесу. Еще в прошлом веке моя мать носила в этот дом яйца и молоко здешним хозяевам».

Когда я все-таки вышла из дома, оттуда все еще доносились шлепки и грохот. Репортеры скрылись в соседней улочке, а я некоторое время слышала, как в глубине дома в одиночестве прыгает по уступам рельефов старая акробатка. Иногда она выла от одиночества и потом совершала новый головокружительный прыжок, так что платье ее и бидон виднелись в пролетах окон. И я выла одна на пыльной улице…

На следующий день снова шел слепой дождь, но настроение мое упало. Отец разыскивал меня в городе. Иногда я видела, как в кафе мелькает его старый желтый пиджак и маленькая седая голова. Мне было жаль его, но я была вынуждена скрываться: я горячо любила отца и мне не хотелось огорчать его моей глупой депрессией. Когда он почти настиг меня, я вскочила в холодильный фургон: в таких обычно возят мясо. На сей раз там

висела одна только туша и было немного зябко. Зато в заднее полупрозрачное стекло, которое оттаяло от моего дыхания, я могла видеть улицу. Я видела близко лицо отца, жалкое и растерянное, но не в силах была выйти. Шофер заглянул внутрь — вероятно, он услышал мое всхлипывание. Это был парень лет двадцати пяти, в белом грязном халате с кровавыми подтеками. Я пожала плечами.

— Поехали в палаццо сумасшедших, — сказал он, — мне тушу туда надо.

Я кивнула. Шофер дал мне какой-то грязный плед, чтобы не было холодно. Я укуталась рядом с тушей и наблюдала в окно. Мы проезжали вначале по площадям, а потом выехали на окраину города. Я знала, что психиатрическая больница находится за городом и помещается в бывшем роскошном палаццо, неизвестно кому принадлежавшем. Дождь скользил по стеклу, и теплые сумерки освещали дорогу, уходящую в какую-то вечную точку. Наконец после долгого путешествия машина остановилась в каком-то чудном парке. Я увидела сам Палаццо. Раньше я никогда не видела дома без фасадов. Внутри шла широкая лестница, на которой возлежали больные. Иногда они лежали по двое. Все это были люди,

изуродованные душевными недугами. Многие из них были в халатах и в шапочках. Некоторые — в старой одежде. Санитара сразу же можно было отличить от больного: все санитары, рослые, здоровые ребята, были одеты в такие же халаты, как и у моего водителя. Люди метались по роскошному зданию, которое все так и сияло пространством. Весь дом от неухоженности зарос какими-то бурьянными цветами. То ли это был дикий шиповник, то ли еще что-то, но благоухание доносилось даже в фургон. Пока мой водитель разгружался, я рассмотрела палаццо. Самое удивительное, что я увидела, было то, что, когда дождь на улице прекратился, он продолжал идти на роскошной лестнице, поливая бедных умалишенных и сад, так хорошо разросшийся внутри. Иногда до меня доносились нечеловеческие крики. Сквозь муть я видела барахтанье тел в крепких объятьях санитаров. Перед палаццо находился давно не действующий фонтан, но мутная дождевая вода заполнила до краев его сосуд, и несколько стариков барахтались и плескались в воде. Вдруг один из них разглядел в стекло мое лицо и долго полуслепо смотрел на меня, а потом бросился пальцами на стекло и, сдерживая голос, закричал: «Доченька, забери

меня отсюда, умоляю!..» В этот момент машина тронулась и бедняга ничком свалился в грязную лужу. Вскоре в тумане сумасшедший дом исчез, и холодильник въехал в город. От усталости и пережитых впечатлений я уснула. Утром водитель растолкал меня и увез домой.

Бедняга Пегги, как она все переживала! Быть может, в своих видениях она предвидела и свою судьбу и оплакивала в них в первую очередь себя. Запись этого рассказа совпадает с изуверским убийством двух маленьких девочек. Их матери проклинали беднягу, и моя дорогая Пегги проклинала себя вместе со своими видениями.

Архивы с записями хранятся в помещении Государственного судебного Архива СССР. Многие из них, наиболее удивительные, уничтожены. Семья Крошко сохранила рисунок Пегги: это красное поле по белому рваному изгибу с гнилыми пеструхами и с соболями по бокам.

Она долго умоляла следователя написать ложное заключение о том, что она психически здорова, чтобы попасть под статью расстрела. Пегги добилась своего. Ее расстреляли, и прах ее, как и прах всех умерших в заключении, развеяли над океаном.

1988

Яркевич Игорь
Солженицын, или Голос из подполья

Если бы я был Александр Исаевич, Галина Вишневская и Мстислав Ростропович дали бы мне возможность пожить на своей даче, а мимо бы шли люди как люди, и каждый говорил бы: — Страдалец!

Иногда ко мне как бы невзначай подходили делегации сердобольных евреев и предлагали эмигрировать в Израиль, а я бы им отвечал, что место писателя рядом с койкой его народа, и разносился бы привкус оскомины. По ночам мне бы снились апельсины в Яффе и горький запах пустыни, но утром я бы ни о чем не жалел.

Если бы я был Солж, ко мне в Рязань приехал бы Твардовский и увез бы мою рукопись в Москву — там меня печатают и принимают в Союз писателей, а так меня, просто онаниста, отовсюду гонят и левые и правые, хотя я сочувствую народному горю ничуть не меньше, чем Солж. Многие известные люди — не только Галя и Слава — гордились бы знакомством со мной, а так

все поскорей стараются забыть бедного онаниста, меня. В конце концов, будь я Солж, к голосу моему прислушивалась бы Россия и, когда меня (т. е. Солжа) пытались бы оболгать нехорошие неврастеники, им бы отвечали:

— Не трогай, это святое. Он первый, кто расставил точки над i.

Никто меня не любит — а вот в том случае, если бы я был Солж, — девочки, юные совсем, груди еще не сформировались, попки торчат в разные стороны, засыпают с моими книжками под подушкой, им звонят, их зовут — а они отвечают:

— Я не могу, я занята, у меня… — и таинственно дышат в трубку, бедные козочки.

Был бы я Солж, дружил бы я с Беллем и мы бы с ним презрительно морщились при аббревиатуре КГБ, ненавидели бы тоталитаризм в любом его проявлении, даже в латентном. Тысячи диссидентов — а каждый из них неоднозначен — искали бы в моих книгах Путь и каждый день, по многу раз напиваясь, называли бы меня Лев Толстой нашей эпохи.

Если бы я был Солж — у меня бы родился сын, и его бы крестили в церкви на Кропоткинской, и многие, проходя потом мимо, шептали:

— Здесь! — и показывали бы пальцем. Затем

шли бы в метро, забывали — но все равно это что-нибудь да значило.

Когда бы я был Солж, меня бы представили к награде, и все равно — получил бы я ее или нет — это, безусловно, было бы событием. А так — в детстве я выиграл соревнование по настольному теннису, и никто не обрадовался, и меня даже обидели потом, сказав: — Опять онанисты обошли честных. Вот если бы я был Солж, ко мне приходило бы много молодых писателей, еще румяных, со своими первыми произведениями. Да и вообще много бы людей приходило, и женщин, и мужчин, и каждому было бы что сказать мне, и мне было бы каждому что ответить. А потом они бы уходили окрыленные. А вокруг бы цепью стояли агенты КГБ… А так я порой неделю слова живого не слышу.

Одно слово правды весь воз перетянет. Будь я действительно Солж, я бы написал письмо на съезд русских писателей, после чего власти стали бы меня упрекать, что я говно. На самом-то деле говном были они, власти, поскольку вся Россия стонала, демократии никакой не было, твердая поступь тирана, всякое свободное слово удушалось — и когда бы не вековечное терпение, а мы, зажравшиеся, уже все забыли и потеряли все

чувства… И вдруг я бы узнавал, что некоторые ростки поднимаются то там, то тут, народ ушел в себя, и там, внутри, костер разгорался бы, а потом, когда тирания ушла бы, вылезли наружу мелкие дела и делишки их, обо всем рассуждающих за чужими и временно надежными спинами, так никогда ничему не научившихся ни на своем, ни на чужом горьких опытах, на все готовых только ради собственного блага, и столько вони грязной такой было бы вокруг, ибо занялись бы они, несмотря на все обещания, только решением собственных дел и знать бы они не хотели вековечных проблем переплетения. И уже нельзя было бы остановить тогда пожар, не вчера разгоревшийся. Семь раз отмерь, один раз того. Был бы я в самом деле Солж, исторические и какие другие параллели сошлись бы вокруг меня — Столыпин ленин павлик морозов мороз красный нос — все бы они всегда были рядом со мной масоны лейб-масоны прочая нечисть, сделавшая себе кормушку из нашего поля — и если бы не Христов светлый праздник… как бы я тогда верил в Бога и Божьих любимцев!

И ведь будь я Солжем, то смог бы оборотиться вокруг себя и посмотреть свежим взглядом, много унесшим с собой взглядом, много повидавшим

взглядом, взглядом даже не своим, а родственников и друзей своих взглядом — и самые простые веши, спокон веку скрученные внутри, кровью вспоенные, кровь приносящие и уже ставшие самой кровью, открылись бы мне — о, тогда бы я наконец понял их, говорящих спасибо за каждый дармовой кус хлеба. И ведь не ведают бедные щенята петербургской суки, что коснется их беда в виде пропажи дармовой похлебки, коснется детей их, а ведь будет уже поздно… Эх, как завело меня, бедного онаниста! Давно так не заводился, а все потому, что в августе ночи душные, уснуть невозможно, а Петя Блюдский, друг мой любезный, в соседней комнате ворочается и бабу свою ворочает, а она уже спит почти что и ни на что не реагирует… Петя с утра скажет:

— На что руку поднял, ублюдок? На святое, на Солжа!

Так ведь, Петенька, ангел ты мой, мало ли на что поднял, главное — ведь что схватил и чем это все кончилось.

Толстые жирные пальцы, Петечка, будь я Солж, были бы мне не страшны и не боялся б я остывшего чаю. Вот вечер, грустно в доме, только сломанные часы и обгорелые спички на треснувшем блюдечке — и этого натюрморта я бы не

боялся, ведь нечто объясняющее и проясняющее открылось бы мне, не то что сейчас. Боже, не оставь меня, кого другого оставь, меня не оставь же! Изо всех щелей звучит дьявольская музыка — рок и джаз, хитрый расчетчец… За что же ты, Господи, нас, бедных онанистов, оставил?

Если бы знать, что я Солж, а не гнусный таракан, я бы что ли бороду отпустил, а то режешься каждый день плохим станком и тупой бритвой, а нет ведь денег, чтобы приличное купить — откуда деньги у бедного? Всем плохо, не только мне, давно уже можно было спиться, скуриться, начать жить с женщиной — словом, опуститься. Но большее, чем я, вошло в меня (а если это любовь?), обвязало меня славной веревочкой и вело за собой, не спрашивая. У слепого пугала огорода не бывает. Когда бы я стал Солжем, я бы написал много больших по формату и содержанию произведений, а среди них — «Один день Ивана Денисовича», первую ласточку начала приближения ожидания конца. Тогда бы я видел совсем другое, чем многие в окружающем меня мире, знал бы, где что — где есть правда, а где нет правды, и почему нет, и что надо сделать, чтобы была, и как вообще быть дальше — а так я, бедный онанист, ничего не знаю и уже давно во

всем запутался.

Был бы я взаправду Солж, Петенька Блюдский не явился бы ко мне с бабой, а принес бы интересную книгу, и мы долго говорили бы о спасении и возрождении России, а так — они там ворочаются. Или мы б вместе ворочались.

А так — нет мне спасения, и нет у меня сына, и никто меня не любит — ни мужчина, ни женщина, и нет никому от меня никакой радости — ни мужчине, ни женщине, и надежды у меня никакой не осталось — и все лишь потому, что я не Солж. Эх, если бы им быть — подложить бы тогда все тома своих сочинений под задницу той девушки, что сейчас с Петенькой, да и отчебурашить ее за всех известных и неизвестных мне загубленных и замученных! А потом бы все и всех простить…

Если бы я был Солж, мне бы ничего не пришлось скрывать от людей. А так мне приходится скрывать абсолютно все, потому что я бедный онанист.

Если бы я был Солж… Интересно, а можно быть Солжем и бедным онанистом одновременно?

Виктор Пелевин
Хрустальный мир

Вот — третий на пути.
О милый друг мой, ты ль
В измятом картузе над взором оловянным?

А.Блок

Каждый, кому 24 октября 1917 года доводилось нюхать кокаин на безлюдных и бесчеловечных петроградских проспектах, знает, что человек вовсе не царь природы. Царь природы не складывал бы ладонь в подобие индийской мудры, пытаясь защитить от промозглого ветра крохотную стартовую площадку на ногте большого пальца. Царь природы не придерживал бы другой рукой норовящий упасть на глаза край башлыка. И уж до чего бы точно никогда не дошел царь природы, так это до унизительной необходимости держать зубами вонючие кожаные поводья, каждую секунду ожидая от тупой русской лошади давно уже предсказанного Дмитрием Сергеевичем Мережковским великого хамства.

— И как тебе не надоест только, Юрий? Уже пя-

тый раз за сегодня нюхаешь, — сказал Николай, с тоской догадываясь, что товарищ и на этот раз не предложит угоститься.

Юрий спрятал перламутровую коробочку в карман шинели, секунду подумал и вдруг сильно ударил лошадь сапогами по бокам.

— Х-х-х-а! За ним повсюду всадник медный! — закричал он и с тяжело-звонким грохотом унесся вдаль по пустой и темной Шпалерной. Затем, как-то убедив свою лошадь затормозить и повернуть обратно, он поскакал к Николаю — по пути рубанул аптечную вывеску невидимой шашкой и даже попытался поднять лошадь на дыбы, но та в ответ на его усилия присела на задние ноги и стала пятиться через всю улицу к кондитерской витрине, заклеенной одинаковыми желтыми рекламами лимонада: усатый герой с георгиевскими крестами на груди, чуть пригибаясь, чтобы не попасть под осколки только что разорвавшегося в небе шрапнельного снаряда, пьет из высокого бокала под взглядами двух приблизительно нарисованных красавиц-медсестер. Николай с кем-то уже обсуждал идиотизм и пошлость этого плаката, висевшего по всему городу вперемежку с эсеровскими и большевистскими листовками, сейчас он почему-то вспомнил бро-

шюру Петра Успенского о четвертом измерении, напечатанную на паршивой газетной бумаге, и представил себе конский зад, выдвигающийся из пустоты и вышибающий лимонад из руки усталого воина.

Юрий наконец справился с лошадью и после нескольких пируэтов в центре улицы направился к Николаю.

— Причем обрати внимание, — возобновил он прерванный разговор, — любая культура является именно парадоксальной целостностью вещей, на первый взгляд не имеющих друг к другу никакого отношения. Есть, конечно, параллели: стена, кольцом окружающая античный город, и круглая монета, или — быстрое преодоление огромных расстояний с помощью поездов, гаубиц и телеграфа. И так далее. Но главное, конечно, не в этом, а в том, что каждый раз проявляется некое нерасчленимое единство, некий принцип, который сам по себе не может быть сформулирован, несмотря на крайнюю простоту…

— Мы про это уже говорили, — сухо сказал Николай, — неопределимый принцип, одинаково представленный во всех феноменах культуры.

— Ну да. И этот культурный принцип имеет некий фиксированный период существования,

примерно тысячу лет. А внутри этого срока он проходит те же стадии, что и человек — культура может быть молодой, старой и умирающей. Как раз умирание сейчас и происходит. У нас это видно особенно ясно. Ведь это, — Юрий показал рукой на кумачовую полосу с надписью «Ура Учредительному собранию!», протянутую между двумя фонарными столбами, — уже агония. Или даже начало разложения.

Некоторое время ехали молча. Николай поглядывал по сторонам — улица словно вымерла, и если бы не несколько горящих окон, можно было бы решить, что вместе со старой культурой сгинули и все ее носители. С начала дежурства пошел уже второй час, а прохожих навстречу не попадалось, из-за чего совершенно невозможно было выполнить приказ капитана Приходова.

— Не пропускать по Шпалерной в сторону Смольного ни одну штатскую блядь, — сказал капитан на разводе, значительно глядя на Юрия, — ясно?

— Как прикажете понимать, господин капитан, — спросил Юрий, — в прямом смысле?

— Во всех смыслах, юнкер Попович, во всех.

Но чтобы не пропустить кого-то к Смольному по Шпалерной, надо, чтобы кроме двух готовых

выполнить приказ юнкеров существовал и этот третий, пытающийся туда пройти, — а его не было, и пока боевая вахта сводилась к довольно путаному рассказу Юрия о рукописи какого-то немца, которую сам Николай не мог прочесть из-за плохого знания языка.

— Как его зовут? Шпуллер?

— Шпенглер, — повторил Юрий.

— А как книга называется?

— Неизвестно. Я ж говорю, она еще не вышла. Это была машинопись первых глав. Через Швейцарию провезли.

— Надо запомнить, — пробормотал Николай и тут же опять начисто забыл немецкую фамилию — зато прочно запомнил совершенно бессмысленное слово «Шпуллер». Такие вещи происходили с ним все время: когда он пытался что-то запомнить, из головы вылетало именно это что-то, а оставались разные вспомогательные конструкции, которые должны были помочь сохранить запоминаемое в памяти, причем оставались очень основательно: пытаясь вспомнить фамилию бородатого немецкого анархиста, которым зачитывалась гимназистка-сестра, он немедленно представлял себе памятник Марку Аврелию, а вспоминая номер какого-нибудь до-

ма, он вдруг сталкивался с датой «1825» и пятью профилями — не то с коньячной бутылки, не то из теософского журнала. Он сделал еще одну попытку вспомнить немецкую фамилию, но вслед за словом «Шпуллер» выскочили слова «Зингер» и «Парабеллум», второе было вообще не при чем, а первое не могло быть нужным именем, потому что начиналось не на «Ш». Тогда Николай решил поступить хитро и запомнить слово «Шпуллер» как похожее на вылетевшую из головы фамилию, по идее, при этом оно должно было забыться, уступив этой фамилии место.

Николай уже решил переспросить товарища, как вдруг заметил темную фигуру, крадущуюся вдоль стены со стороны Литейного проспекта, и дернул едущего рядом Юрия за рукав. Юрий встрепенулся, огляделся по сторонам, увидел прохожего и попытался свистнуть, получившийся звук свистом не был, но прозвучал достаточно предостерегающе.

Неизвестный господин, поняв, что замечен, отделился от стены, вошел в светлое пятно под фонарем и стал полностью виден. На первый взгляд ему было лет пятьдесят или чуть больше, одет он был в темное пальто с бархатным воротником, а на голове имел котелок. Лицо его с

получеховской бородкой и широкими скулами было бы совсем неприметным, если бы не хитро прищуренные глазки, которые, казалось, только что кому-то подмигнули в обе стороны и по совершенно разным поводам. В правой руке господин имел трость, которой помахивал взад-вперед в том смысле, что просто идет себе тут, никого не трогает и не собирается трогать, и вообще знать ничего не желает о творящихся вокруг безобразиях. Склонному к метафоричности Николаю он показался похожим на специализирующегося по многотысячным рысакам конокрада.

— П'тивет, 'ебята, — развязно и даже, пожалуй, нагло сказал господин, — как служба?

— Вы куда изволите следовать, милостивый государь? — холодно спросил Николай.

— Я-то? А я гуляю. Гуляю тут. Сегодня, ве'гите, весь день кофий пил, к вече'гу так аж се'гце заныло… Дай, думаю, воздухом подышу…

— Значит, гуляете? — спросил Николай.

— Гуляю… А что, нельзя-с?

— Да нет, отчего. Только у нас к вам просьба — не могли бы вы гулять в другую сторону? Вам ведь все равно, где воздухом дышать?

— Все 'гавно, — ответил господин и вдруг нахмурился, — но однако это безоб'газие какое-то. Я

п'тивык по Шпале'тной туда-сюда, туда-сюда…

Он показал тростью, как. Юрий чуть покачнулся в седле, и господин перевел внимательные глазки на него, отчего Юрий почувствовал необходимость что-то произнести вслух.

— Но у нас приказ, — сказал он, — не пускать ни одну штатскую блядь к Смольному.

Господин как-то бойко оскорбился и задрал вверх бородку.

— Да как вы осмеливаетесь? Вы… Да я вас в газетах… В «Новом В'гемени»… — затараторил он, причем стало сразу ясно, что если он и имеет какое-то отношение к газетам, то уж во всяком случае не к «Новому Времени», — наглость какая… Да вы знаете, с кем гово'гите?

Было какое-то несоответствие между его возмущенным тоном и готовностью, с которой он начал пятиться из пятна света назад, в темноту, — слова предполагали, что сейчас начнется долгий и тяжелый скандал, а движения показывали немедленную готовность даже не убежать, а именно задать стрекача.

— В городе чрезвычайное положение, — закричал ему вслед Николай, — подышите пару дней в окошко!

Молча и быстро господин уходил и вскоре пол-

ностью растворился в темноте.

— Мерзкий тип, — сказал Николай, — определенно жулик. Глазки-то как зыркают…

Юрий рассеянно кивнул. Юнкера доехали до угла Литейного проспекта и повернули назад — Юрию эта процедура стоила некоторых усилий. В его обращении с лошадью постоянно проскальзывали ухватки опытного велосипедиста: он далеко разводил поводья, словно в его руках был руль, а когда надо было остановиться, подергивал ногами в стременах, как будто вращая назад педали полугоночного «Данлопа».

Начал моросить отвратительный мелкий дождь, и Николай тоже накинул на фуражку башлык, после чего они с Юрием стали совершенно неотличимы друг от друга.

— А что ты, Юра, думаешь — долго Керенский протянет? — спросил через некоторое время Николай.

— Ничего не думаю, — ответил Юрий, — какая разница. Не один, так другой. Ты лучше скажи, как ты себя во всем этом ощущаешь?

— В каком смысле? — Николай в первый момент решил, что Юрий имеет в виду военную форму.

— Ну вот смотри, — сказал Юрий, указывая на

что-то впереди жестом, похожим на движение сеятеля, — где-то война идет, люди гибнут. Свергли императора, все перевернули к чертовой матери. На каждом углу большевики гогочут, семечки жрут. Кухарки с красными бантами, матросня пьяная. Все пришло в движение, словно какую-то плотину прорвало. И вот ты, Николай Муромцев, стоишь в болотных сапогах своего духа в самой середине всей этой мути. Как ты себя понимаешь?

Николай задумался.

— Да я этого как-то не формулировал, — сказал он. — Вроде живу себе просто, и все.

— Но миссия-то у тебя есть?

— Какая там миссия, — ответил Николай и даже немного смутился, — Господь с тобой. Скажешь тоже.

Юрий потянул ремень перекосившегося карабина, и из-за его плеча выполз конец ствола, похожий на голову маленького стального индюка, внимательно слушающего разговор.

— Миссия есть у каждого, — сказал Юрий, — просто не надо понимать это слово торжественно. Вот, например, Карл Двенадцатый — знаешь, был такой шведский король — всю свою жизнь воевал — с нами, еще с кем-то, чеканил всякие медали в свою честь, строил корабли, соблазнял

женщин. Охотился, пил. А в это время в какой-то деревне рос, скажем, некий пастушок, у которого самая смелая мечта была — о новых лаптях. Он, конечно, не думал, что у него есть какая-то миссия, — не то что не думал, даже слова такого не знал. Потом попал в солдаты, получил ружье, кое-как научился стрелять. Может быть, даже не стрелять научился, а просто высовывать дуло из окопа и дергать за курок. И вот так однажды высунул он дуло, заткнул уши и дернул курок — а в это время где-то на линии полета пули скакал великолепный Карл Двенадцатый на специальной королевской лошади. И — прямо по тыкве…

Юрий повертел рукой, изображая падение убитого шведского короля с несущейся лошади.

— Самое интересное, — продолжал он, — что человек чаще всего не догадывается, в чем его миссия, и не узнает того момента, когда выполняет действие, ради которого был послан на землю. Скажем, он считает, что он композитор и его задача — писать музыку, а на самом деле единственная цель его существования — это попасть под телегу на пути в консерваторию.

— Это зачем?

— Ну, например, затем, чтобы у дамы, едущей на извозчике, от страха случился выкидыш и

человечество избавилось от нового Чингисхана. Или затем, чтобы кому-то стоящему у окна пришла в голову новая мысль. Мало ли.

— Ну, если так рассуждать, — сказал Николай, — то, конечно, миссия есть у каждого. Только узнать о ней положительно невозможно.

— Да нет, есть способы, — сказал Юрий и замолчал.

— Какие?

— Да есть такой доктор Штейнер в Швейцарии… Ну да ладно, — Юрий махнул рукой, и Николай понял, что лучше сейчас не лезть с расспросами.

Темной и таинственной была Шпалерная, темной и таинственной, как слова Юрия о неведомом немецком докторе. Все закрывал туман, хотелось спать, и Николай начал клевать носом. За промежуток времени между двумя ударами копыт он успевал заснуть и пробудиться, и каждый раз видел короткий сон. Сначала эти сны были хаотичными и бессмысленными — из темноты выплывали незнакомые лица, удивленно косились на него и исчезали, потом мелькнули какие-то темные пагоды на заснеженной вершине горы — Николай вспомнил, что это монастырь и вроде бы он даже что-то про него знал, — но видение исчезло. Потом пригрезилось,

что они с Юрием едут по высокому берегу реки и вглядываются в ползущую с запада черную тучу, уже закрывшую полнеба, — и даже вроде не они с Юрием, а какие-то два воина — тут Николай догадался было о чем-то, но сразу же проснулся, и вокруг опять была Шпалерная.

В домах горело только пять или шесть окон, и они походили на стены той самой темной расщелины, за которой, если верить древнему поэту, расположен вход в ад. «До чего же мрачный город, — думал Николай, прислушиваясь к свисту ветра в водосточных трубах, — и как только люди рожают здесь детей, дарят кому-то цветы, смеются… А ведь и я здесь живу…» Отчего-то его поразила эта мысль. Моросить перестало, но улица не стала уютней. Николай опять задремал в седле — на этот раз без всяких сновидений.

Разбудила долетевшая откуда-то из темноты музыка, сначала неясная, а потом — когда юнкера приблизились к ее источнику (освещенному окну первого этажа в коричневом трехэтажном доме с дующим в трубу амуром над дверью) — оказавшаяся вальсом «На сопках Манчжурии» в обычной духовой расфасовке.

— Но-о-чь тишина-а-а лишь гаолян шуми-и-т… — На глухой и негромкий звук граммофона

накладывался сильный мужской голос, четкая тень его обладателя падала на крашеное стекло окна — судя по фуражке, это был офицер. Он держал на весу тарелку и махал вилкой в такт музыке — на некоторых тактах вилка расплывалась и становилась огромной расплывчатой тенью какого-то сказочного насекомого.

— Спите, друзья-я, страна больша-ая память о вас хранит… — Николай подумал о его друзьях.

Через десяток шагов музыка стихла, и Николай опять стал размышлять о странных речах Юрия.

— И какие это способы? — спросил он покачивающегося в седле товарища.

— Ты о чем?

— Да только что говорили. Как узнать о своей миссии.

— А, ерунда, — махнул Юрий рукой. Он остановил лошадь, осторожно взял поводья в зубы и вынул из кармана перламутровую коробочку. Николай проехал чуть вперед, остановился и выразительно посмотрел на товарища.

Юрий закрылся руками, шмыгнул носом и изумленно глянул на Николая из-под ладони. Николай усмехнулся и закатил глаза. «Неужели опять, подлец, не предложит?» — подумал он.

— Не хочешь кокаину? — спросил наконец

Юрий.

— Даже не знаю, — лениво ответил Николай, — да у тебя хороший ли?

— Хороший.

— У капитана Приходова брал?

— Не, — сказал Юрий, заправляя вторую ноздрю, — это из эсеровских кругов. Такой боевики перед терактом нюхают.

— О! Любопытно. — Николай достал из-под шинели крохотную серебряную ложечку с монограммой и протянул Юрию, тот взял ее за чашечку и опустил витой стерженек ручки в перламутровую кокаинницу.

«Жмот», — подумал Николай, далеко, словно для сабельного удара, перегибаясь с лошади и поднося левую ноздрю к чуть подрагивающим пальцам товарища (Юрий держал ложечку двумя пальцами, сильно сжимая, словно у него в руке был крошечный и смертельно ядовитый гад, которому он сдавил шею).

Кокаин привычно обжег носоглотку, Николай не почувствовал никакого отличия от обычных сортов, но из благодарности изобразил на лице целую гамму запредельных ощущений. Он не спешил разгибаться, надеясь, что Юрий подумает и о его правой ноздре, но тот вдруг захлопнул

коробочку, быстро спрятал в карман и кивнул в сторону Литейного.

Николай выпрямился в седле. Со стороны проспекта кто-то шел — издали было неясно, кто. Николай тихо выругался по-английски и поскакал навстречу.

По тротуару медленно и осторожно, словно каждую секунду боясь обо что-то споткнуться, шла жирная женщина в шляпе с густой вуалью. Николай чуть не сбил ее лошадью — чудом успел отвернуть в последнюю минуту. Женщина испуганно прижалась к стене дома и издала тихий покорный писк, отчего Николай вспомнил свою бабушку и испытал мгновенное и острое чувство вины.

— Мадам! — заорал он, выхватывая шашку и салютуя, — что вы здесь делаете? В городе идут бои, вам известно об этом?

— Мне-то? — просипела сорванным голосом женщина. — Еще бы!

— Так что же вы — с ума сошли? Вас ведь могут убить, ограбить... Попадетесь какому-нибудь Плеханову, так он вас своим броневиком сразу переедет, не задумываясь.

— Еще кто кого пе'геедет, — с неожиданной злобой пробормотала женщина и сжала довольно

крупные кулаки.

— Мадам, — успокаиваясь и пряча шашку, заговорил Николай, — бодрое расположение вашего духа заслуживает всяческих похвал, но вам следует немедленно вернуться домой, к мужу и детям. Сядьте у камина, перечтите что-нибудь легкое, выпейте, наконец, вина. Но не выходите на улицу, умоляю вас.

— Мне надо туда, — женщина решительно махнула ридикюлем в сторону ведущей в ад расщелины, которой к этому времени окончательно стала дальняя часть Шпалерной улицы.

— Да зачем вам?

— Под'туга ждет. Компаньонка.

— Ну так встретитесь потом, — подъезжая, сказал Юрий. — Ведь ясно вам сказали — вперед нельзя. Назад можно, вперед нельзя.

Женщина повела головой из стороны в сторону — под вуалью черты ее лица были совершенно неразличимы и нельзя было определить, куда она смотрит.

— Ступайте, — ласково сказал Николай, — скоро десять часов, потом на улицах будет совсем опасно.

— Donnerwetter! — пробормотала женщина. Где-то неподалеку завыла собака — в ее вое было

столько тоски и ненависти, что Николай поежился в седле и вдруг почувствовал, до чего вокруг сыро и мерзко. Женщина как-то странно мялась под фонарем. Николай развернул лошадь и вопросительно поглядел на Юрия.

— Ну как тебе? — спросил тот.

— Что-то я ничего не пойму. Не успел распробовать, мало было. Но вроде самый обычный.

— Да нет, — сказал Юрий, — я об этой женщине. Какая-то она странная, не понравилась мне.

— Да и мне не понравилась, — ответил Николай, оборачиваясь посмотреть, не слышит ли старуха обидных для нее слов, но той уже след простыл.

— И обрати внимание, — задумчиво добавил Юрий, — оба они картавят. Тот, первый, и эта.

— Да ну и что. Мало ли народу грассирует. Французы, так все. И еще, кажется, немцы. Правда, чуть по-другому.

— Штейнер говорит, что когда какое-то событие повторяется несколько раз, это указание высших сил.

— Какой Штейнер? Который эту книгу о культурах написал?

— Нет. Книгу написал Шпенглер. Он никакой не доктор. А доктора Штейнера я видел в Швей-

царии. Ходил к нему на лекции. Удивительный человек. Он-то мне про миссию и рассказал…

Юрий замолчал и вздохнул.

Юнкера медленно поехали по Шпалерной в сторону Смольного. Улица уже давно казалась мертвой — но только в том смысле, что с каждой новой минутой все сложнее было представить себе живого человека в одном из черных окон или на склизком тротуаре. В другом, нечеловеческом смысле она, наоборот, оживала: совершенно неприметные днем кариатиды сейчас только притворялись оцепеневшими — на самом деле они провожали друзей внимательными закрашенными глазами. Орлы на фронтонах в любой миг готовы были взлететь и обрушиться с высоты на двух всадников, а бородатые лица воинов в гипсовых картушах, наоборот, виновато ухмылялись и отводили взгляды. Опять завыло в водосточных трубах — это при том, что никакого ветра на самой улице не чувствовалось. Сверху, там, где днем была широкая полоса неба, сейчас не видно было ни туч, ни звезд — сырой и холодный мрак провисал между двух линий крыш, и клубы тумана сползали вниз по стенам. Из нескольких горевших до этого фонарей два или три почему-то погасли, погасло и то окно

первого этажа, где совсем недавно офицер пел трагический и прекрасный вальс.

— Право, Юра, дай кокаину… — не выдержал Николай. Юрий, видимо, чувствовал то же смятение духа — он закивал головой, будто Николай только что сказал что-то замечательно верное, и полез в карман.

На этот раз он не поскупился: подняв голову, Николай изумленно заметил, что наваждение исчезло, и вокруг — обычная вечерняя улица, пусть темноватая и мрачноватая, пусть затянутая тяжелым туманом, но все же одна из тех, где прошло его детство и юность, с обычными скупыми украшениями на стенах домов и помигивающими тусклыми фонарями.

Вдали у Литейного грохнул винтовочный выстрел, потом еще один, и сразу же донеслись нарастающий стук копыт и дикие кавалерийские вскрики. Николай потянул из-за плеча карабин — прекрасной показалась ему смерть на посту, с оружием в руках и вкусом крови во рту. Но Юрий оставался спокоен.

— Это наши, — сказал он. И точно — всадники, появившиеся из тумана, были одеты в ту же форму, что и Юрий с Николаем. Еще секунда, и их лица стали различимы.

Впереди на молодой белой кобыле ехал капитан Приходов, концы его черных усов загибались вверх, глаза отважно блестели, а в руке замороженной молнией сверкала кавказская шашка. За ним сомкнутым строем скакали двенадцать юнкеров.

— Ну как? Нормально?

— Отлично, господин капитан! — вытягиваясь в седлах, хором ответили Юрий с Николаем.

— На Литейном — бандиты, — озабоченно сказал капитан, — вот. — Николаю в ладони шлепнулся тусклый металлический диск на длинной цепочке. Это были часы. Он ногтем откинул крышку и увидел глубоко врезанную готическую надпись — смысла ее он не понял и передал часы Юрию.

— «От генерального… от генерального штаба», — перевел тот, с трудом разобрав в темноте мелкие буквы. — Видно, трофейные. Но что странно, господин капитан, цепочка — из стали. На нее дверь можно запирать.

Он протянул часы Николаю: действительно, хоть цепочка была тонкой, она казалась удивительно прочной, самое удивительное, что на звеньях не было стыков, будто она была целиком выточена из куска стали.

— А еще можно людей душить, — сказал капитан, — на Литейном — три трупа. Два прямо на углу: инвалид и медсестра, задушены и раздеты. И непонятно, то ли их там бросили, то ли убили и ограбили. Скорей всего выбросили — не могла же медсестра безногого мужчину на себе тащить… Но какое зверство! На фронте такого не видел. Ясно, отнял у инвалида часы и их же цепочкой… Знаете, там такая большая лужа…

Один из юнкеров тем временем отделился от группы и подъехал к Юрию. Это был Васька Зиверс, большой энтузиаст конькобежного спорта и танкового дела, — в училище его не любили за преувеличенный педантизм и плохое знание русского языка, а с отлично знавшим немецкий Юрием он был накоротке.

— …за сотню метров, — говорил капитан, плашмя похлопывая шашкой по сапогу, — третье тело — успели в подворотню… Женщина, тоже почти голая… и след от цепочки…

Васька тронул внимательно слушающего Юрия за плечо, и тот, не отводя от капитана глаз, вывернул лодочкой ладонь, куда Васька быстро положил крохотный сверточек. Все это происходило у Юрия за спиной, но тем не менее не укрылось от капитана.

— Что такое, юнкер Зиверс? — перебил он сам себя, — что там у вас?

— Господин капитан! Через четыре минуты меняем караул у Николаевского вокзала! — отдав честь, ответил Васька.

— Рысью — вперед! — взревел капитан. — Да не туда, на Литейный! У Смольного быстро не пройдем!

Юнкера развернулись и унеслись в туман, капитан Приходов задержал пляшущую кобылу и крикнул Юрию с Николаем:

— Держитесь рядом! Никого без пропуска не пускать, на Литейный не выезжать, к Смольному тоже не соваться! Ясно? Смена в десять тридцать!

И исчез вслед за юнкерами — еще несколько секунд доносился стук копыт, а потом все стихло и уже не верилось, что только что на этой сырой и темной улице было столько народу.

— От генерального штаба, — повторил Николай, подбрасывая серебряную лепешку на ладони — второпях капитан забыл о своей страшной находке.

Часы имели форму маленькой раковины-жемчужницы, на циферблате было три стрелки, а сбоку, по числу стрелок, выступали три рифле-

ных головки для завода. Николай слегка нажал на верхнюю и чуть не уронил часы на мостовую — они заиграли. Это были первые несколько нот какой-то напыщенной немецкой мелодии, которую Николай сразу узнал, но названия которой не помнил.

— Апассионата, — сказал Юрий, — Людвиг фон Бетховен. Брат рассказывал, что немцы ее перед атакой на губных гармошках играют. Что-то вроде марша.

Он развернул оставленный Васькой сверток — тот, как оказалось, состоял почти из одной бумаги. Внутри оказалось пять ампул с неровно запаянными шейками. Юрий пожал плечами.

— То-то Приходов заерзал, — сказал он, — насквозь людей видит. Только что с ними делать без шприца… Педант называется: берет кокаин, а отдает эфедрином. У тебя тоже шприца нет?

— Отчего, есть, — безрадостно ответил Николай. Эфедрина не хотелось — хотелось вернуться в казарму, сдать шинель в сушилку, лечь на койку и уставиться на знакомое пятно от головы, которое спросонья становилось то картой города, то хищным монголоидным лицом с бородкой, то перевернутым обезглавленным орлом — Николай совершенно не помнил своих снов и

сталкивался только с их эхом.

С отъездом капитана Приходова улица опять превратилась в ущелье, ведущее в ад. Происходили странные вещи: кто-то успел запереть на замок подворотню в одном из домов, на самой середине мостовой появилось несколько пустых бутылок с ярко-желтыми этикетками, а поверх рекламы лимонада в окне кондитерской косо висело оглушительных размеров объявление, первая строка которого, выделенная крупным шрифтом и восклицательными знаками, фамильярно предлагала искать товар. Почти все фонари уже погасли — остались гореть только два, друг напротив друга, Николай подумал, что какому-нибудь декаденту из «Бродячей собаки», уже не способному воспринимать вещи просто, эти фонари показались бы мистическими светящимися воротами, возле которых должен быть остановлен чудовищный зверь, в любой миг готовый выползти из мрака и поглотить весь мир.

Где-то снова завыли псы, и Николай затосковал. Налетел холодный ветер, загремел жестяным листом на крыше и умчался — но оставил после себя странный и неприятный звук, пронзительный далекий скрип где-то в стороне Литейного. Звук то исчезал, то появлялся опять и постепенно

становился ближе — словно Шпалерная была густо посыпана битым стеклом, и кто-то медленно, с перерывами, вел по ней огромным гвоздем, постепенно придвигая его все ближе к двум последним светящимся точкам.

— Что это? — глупо спросил Николай.

— Не знаю, — ответил Юрий, вглядываясь в клубы черного тумана, — посмотрим.

Скрип стих, а потом вдруг раздался совсем рядом, и один из клубов тумана, налившись какой-то особенной чернотой, отделился от слоившейся между домами темной мглы. Приближаясь, он постепенно приобретал контуры странного существа: сверху — до плеч — это был человек, а ниже — что-то странное, массивное и шевелящееся, именно эта нижняя часть и издавала отвратительный скрипящий звук. Это странное существо тихо приборматывало одновременно двумя голосами — мужской стонал, а женский утешал, причем женским говорила верхняя его часть, а мужским — нижняя. Существо на два голоса прокашлялось, вступило в освещенную зону и остановилось, лишь в этот момент, как показалось Николаю, приобретя окончательную форму.

Перед юнкерами в инвалидном кресле сидел

мужчина, обильно покрытый бинтами и медалями. Перебинтовано было даже его лицо: в просветах между лентами белой марли виднелись только бугры лысого лба и отсвечивающий красным прищуренный глаз. В руках мужчина держал старинного вида гитару, украшенную разноцветными шелковыми лентами.

За креслом, держа водянистые пальцы на его спинке, стояла пожилая седоватая женщина в дрянной вытертой кацавейке — она была не то чтобы толстой, но какой-то оплывшей, словно мешок с крупой. Глаза женщины были круглы и безумны и видели явно не Шпалерную улицу, а что-то такое, о чем лучше даже не догадываться, на ее голове косо стоял маленький колпак с красным крестом — наверно, он был закреплен, потому что по физическим законам ему полагалось упасть.

Несколько секунд прошли в молчании, потом Юрий облизнул высохшие губы и сказал:

— Пропуск.

Инвалид заерзал в своем кресле, поднял взгляд на медсестру и беспокойно замычал. Медсестра вышла из-за кресла, наклонилась в сторону юнкеров и уперла руки в коленки — Николай отчего-то поразился, увидев на ее ногах стоптанные сол-

датские сапоги, торчащие из-под голубой юбки.

— Да стыд у вас есть, али нет совсем? — тихо сказала она, ввинчиваясь взглядом в Юрия. — Он же раненный в голову, за тебя убитый. Откуда у него пропуск?

— Раненный, значит, в голову? — задумчиво переспросил Юрий. — Но теперь как бы исцелел? Пропуск.

Женщина растерянно оглянулась. Инвалид в кресле дернул струну гитары, и по улице прошел низкий вибрирующий звук — он словно подстегнул медсестру, и она, снова пригнувшись, заговорила:

— Сынок, ты не серчай… Не серчай, если я не так что сказала, а только пройти нам обязательно надо. Если б ты знал, какой это человек сидит… Герой. Поручик Преображенского полка Кривотыкин. Герой Брусиловского прорыва. У него боевой товарищ завтра на фронт отбывает — может, не вернется. Пусти — надо им повидаться, понимаешь?

— Значит, Преображенского полка?

Инвалид закивал головой, прижал к груди гитару и заиграл. Играл он как-то странно, словно на раскаленной медной балалайке — с опаской ударяя по струнам и быстро отдергивая паль-

цы, — но мелодию Николай узнал: это был марш Преображенского полка. Другой странностью было то, что вырез резонатора, у всех гитар круглый, у этой имел форму пентаграммы, видимо, этим и объяснялся ее тревожащий душу низкий звук.

— А ведь Преображенский полк, — без выражения сказал Юрий, когда инвалид кончил играть, — не участвовал в Брусиловском прорыве.

Инвалид что-то замычал, указывая гитарой на медсестру, та обернулась к нему и, видимо, старалась понять, чего он хочет, это никак у нее не получалось, пока инвалид вновь не извлек из своего инструмента низкий вибрирующий звук, — тогда она спохватилась:

— Да ты что, сынок, не веришь? Господин поручик сам на фронт попросился, служил в третей Заамурской дивизии, в конно-горном дивизионе…

Инвалид в кресле с достоинством кивнул.

— С двадцатью всадниками австрийскую батарею взял. От главнокомандующего награды имеет, — укоряюще произнесла медсестра и повернулась к инвалиду, — господин поручик, да покажите ему…

Инвалид полез в боковой карман кителя, вы-

нул что-то и протянул медсестре, та передала Юрию. Юрий не глядя протянул лист Николаю. Тот развернул и прочел:

> «Пор. Кривотыкин — 43 Заамурского полка 4 батальона. Приказываю атаковать противника на фронте от д. Онут до перекрестка дорог, что севернее отм. 265 вкл., нанося главный удар между деревнями Онут и Черный Поток с целью овладеть высотой 236, Мол. фермой и северным склоном высоты 265.
>
> П. п. командир корпуса
> генерал-от-артиллерии Баранцев»

— Что еще покажете? — спросил Юрий. Инвалид полез в карман и вытащил часы, отчего Николаю на секунду стало не по себе. Медсестра передала их Юрию, тот осмотрел и отдал Николаю. «Так, глядишь, часовым мастером станешь, подумал Николай, откидывая золотую крышку, — за час вторые». На крышке была гравировка:

> Поручику Кривотыкину за бесстрашный рейд.
>
> Генерал Баранцев

Инвалид тихо наигрывал на гитаре марш Преображенского полка и щурился на что-то вдали, задумавшись видно о своих боевых друзьях.

— Хорошие часы. Только мы вам лучше покажем, — сказал Юрий, вынул из кармана серебряного моллюска, покачал его на цепочке, потом перехватил ладонью и нажал рифленую шишечку на боку.

Часы заиграли. Николай никогда раньше не видел, чтобы музыка — пусть даже гениальная — так сильно и, главное, быстро действовала на человека. Инвалид на секунду закрыл лицо ладонью, словно не в силах поверить, что эту музыку мог написать человек, а затем повел себя очень странно: вскочил с кресла и быстро побежал в сторону Литейного, следом, стуча солдатскими сапогами, побежала медсестра. Николай сорвал с плеча карабин, передернул затвор и выстрелил вверх.

— Стоять! — крикнул он. Медсестра на бегу обернулась и дала несколько выстрелов из нагана — завизжали рикошеты, рассыпалась по асфальту выбитая витрина парикмахерской, откуда всего секунду назад на мир удивленно глядела девушка в стиле модерн, нанесенная на стекло золотой краской. Николай опустил ствол

и два раза выстрелил в туман, наугад: беглецов уже не было видно.

— И чего они к Смольному так стремятся? — стараясь, чтобы голос звучал спокойно, спросил Юрий. Он не успел сделать ни одного выстрела и до сих пор держал в руках часы.

— Не знаю, — сказал Николай. — Наверно, к большевикам хотят: там можно спирт купить и кокаин. Совсем недорого.

— Что, покупал?

— Нет, — ответил Николай, закидывая карабин за плечо, — слышал. Бог с ним. Ты про свою миссию начал рассказывать, про доктора Шпуллера…

— Штейнера, — поправил Юрий, острые ощущения придали ему разговорчивости. — Это такой визионер. Я, когда в Дорнахе был, ходил к нему на лекции. Садился поближе, даже конспект вел. После лекции его сразу обступали со всех сторон и уводили, так что поговорить с ним не было никакой возможности. Да я особо и не стремился. И тут что-то стал он на меня коситься на лекциях. Поговорит-поговорит, а потом замолчит и уставится. Я уж и не знал, что думать — а потом он вдруг подходит ко мне и говорит: «Нам с вами надо поговорить, молодой человек». Пошли мы с

ним в ресторан, сели за столик. И стал он мне что-то странное втолковывать — про Апокалипсис, про невидимый мир и так далее. А потом сказал, что я отмечен каким-то особым знаком и должен сыграть огромную роль в истории. Что чем бы я ни занимался, в духовном смысле я стою на неком посту и защищаю мир от древнего демона, с которым уже когда-то сражался.

— Это когда ты успел? — спросил Николай.

— В прошлых воплощениях. Он — то есть не демон, а доктор Штейнер — сказал, что только я могу его остановить, но смогу ли — никому не известно. Даже ему. Штейнер мне даже гравюру показывал в какой-то древней книге, где будто бы про меня говорится. Там были два таких, знаешь, длинноволосых, в одной руке — копье, в другой — песочные часы, все в латах, и вроде один из них — я.

— И ты во все это веришь?

— Черт его знает, — усмехнулся Юрий, — пока, видишь, с медсестрами перестреливаюсь. И то не я, а ты. Ну что, вколем?

— Пожалуй, — согласился Николай и полез под шинель, в нагрудный карман гимнастерки, где в плоской жестяной коробочке лежал маленький шприц.

На улице стало совсем тихо — ветер больше не выл в трубах, голодные псы, похоже, покинули свои подворотни и подались в какие-то другие места, на Шпалерную сошел покой — даже треск тончайших стеклянных шеек был хорошо различим.

— Два сантиграмма, — раздавался шепот.

— Конечно, — шептал другой голос в ответ.

— Откинь шинель, — говорил первый шепот, — иглу погнешь.

— Пустяки, — откликался второй.

— Ты с ума сошел, — шептал первый голос, — пожалей лошадь…

— Ничего, она привычная, — шептал второй…

…Николай поднял голову и огляделся. Трудно было поверить, что осенняя петроградская улица может быть так красива. За окном цветочного магазина в дубовых кадках росли три крошечных сосенки, улица поднималась вверх метра на полтора и становилась шире, окна верхних этажей отражали только что появившуюся в просвете туч луну — все это было Россией и было до того прекрасно, что у Николая на глаза навернулись слезы.

— Мы защитим тебя, хрустальный мир, — прошептал он и положил ладонь на рукоять шашки.

Юрий крепко держал ремень карабина у левого плеча и не отрываясь глядел на луну, несущуюся вдоль рваного края тучи. Когда она скрылась, он повернул вдохновенное лицо к спутнику.

— Удивительная вещь эфедрин, — сказал он. Николай не ответил — да и что можно было ответить? Уже по-иному дышала грудь, другим казалось все вокруг, и даже отвратительная изморось теперь ласкала щеки. Тысячи мелких и крупных вопросов, совсем недавно бывших мучительными и неразрешимыми, вдруг оказались не то что решенными, но совершенно несущественными, центр тяжести жизни был совершенно в другом, и когда это другое вдруг открылось, выяснилось, что оно всегда было рядом, присутствовало в любой минуте любого дня, но было незаметным, как становится невидимой долго висящая на стене картина.

— Я жалобной рукой сжимаю свой костыль, — стал нараспев читать Юрий. — Мой друг — влюблен в луну — живет ее обманом. Вот третий на пути…

Николай уже не слышал товарища — он думал о том, как он завтра же изменит свою жизнь. Мысли были бессвязные, иногда откровенно глупые — но очень приятные. Начать обязательно надо

было с того, чтобы встать в пять тридцать утра и облиться холодной водой, а дальше была такая уйма вариантов, что остановиться на чем-нибудь конкретном было крайне тяжело, и Николай стал напряженно выбирать, незаметно для себя приборматывая вслух и сжимая от возбуждения кулаки.

— …Заборы — как гроба! Повсюду преет гниль! Все, все погребено в безлюдье окаянном! — читал Юрий и свободной рукой вытирал выступающий на лбу пот.

Некоторое время ехали молча, потом Юрий стал напевать какую-то песенку, а Николай впал в странное подобие дремы. Странным было то, что это было очень далекое от сна состояние — как после нескольких чашек крепкого кофе, — но сопровождавшееся чем-то вроде сновидений. Перед Николаем, накладываясь на Шпалерную, замелькали дороги его детства: гимназия и цветущие яблони за ее окном, радуга над городом, черный лед катка и быстро скользящие по нему конькобежцы, освещенные ярким электрическим светом, облетающие столетние липы, двумя рядами сходящиеся к старинному дому с колоннами у входа, — все это он когда-то видел на самом деле. Но потом стали появляться картины

чего-то очень знакомого и одновременно никогда не виданного: померещился огромный белый город, увенчанный тысячами золотых церковных головок, — город, как бы висящий в воздухе внутри огромного хрустального шара, — и этот город (Николай знал это совершенно точно) был Россией, а они с Юрием, который во сне был не совсем Юрием, находились за его границей и сквозь клубы тумана мчались на конях навстречу какомуто чудовищу, в котором самым страшным была полная неясность его очертаний и размеров: это был бесформенный клуб пустоты, источающий ледяной холод.

Николай вздрогнул и широко открыл глаза. В окружающей его броне блаженства появилась крохотная трещинка, в которую просочилось несколько капель неуверенности и тоски. Трещинка постепенно росла, и скоро мысль о предстоящем завтра утром (ровно в пять тридцать) повороте всей жизни и судьбы перестала доставлять удовольствие. А еще через пару минут, когда впереди замигали и поплыли навстречу два горящих друг напротив друга фонаря, эта самая мысль стала несомненным и главным источником переполнившего душу страдания.

«Отходняк», — наконец вынужден был при-

знаться себе Николай. Странное дело — откровенная прямота этого вывода словно заделала брешь в душе, и количество страдания в ней перестало увеличиваться. Но теперь надо было очень тщательно следить за своими мыслями, потому что любая из них могла стать началом неизбежной, но пока еще, как хотелось верить, далекой полосы мучений, которых каждый раз требовал за свои услуги эфедрин. С Юрием явно творилось то же самое, потому что он повернулся к Николаю и сказал тихо и быстро, словно экономя выходящий из легких воздух:

— Надо на кишку было кинуть.

— Не хватило бы, — так же отрывисто ответил Николай и почувствовал к товарищу ненависть за то, что тот вынудил его открыть рот.

Под копытами лошади раздался густой и противный хруст — это были осколки выбитой наганным рикошетом витрины.

«Хр-р-рус-с-стальный мир», — с отвращением к себе и всему на свете подумал Николай. Недавние видения показались вдруг настолько нелепыми и стыдными, что захотелось в ответ на хруст стекла так же заскрипеть зубами.

Теперь ясно стало, что ждет впереди: отходняк. Сначала он был где-то возле фонарей, а потом,

когда фонари оказались рядом, он отступил в клубящийся у пересечения с Литейным туман и пока выжидал. Несомненным было то, что холодная, мокрая и грязная Шпалерная — единственное, что существует в мире, а единственным, чего можно было от нее ждать, была беспросветная тоска и мука.

По улице пробежала черная собака неопределенной породы с задранным вверх хвостом, рявкнула на двух сгорбленных серых обезьянок в седлах и нырнула в подворотню, а вслед за ней со стороны Литейного появился и стал приближаться отходняк.

Он оказался усатым мужиком средних лет в кожаном картузе и блестящих сапогах — типичным сознательным пролетарием. Перед собой пролетарий толкал вместительную желтую тележку с надписями «Лимонадъ» на боках, а на переднем борту тележки был тот самый рекламный плакат, который выводил Николая из себя даже и в приподнятом состоянии духа — сейчас же он показался всей мировой мерзостью, собранной на листе бумаги.

— Пропуск, — мучительно выдавил из себя Юрий.

— Пожалуйста, — веско сказал мужчина и про-

тянул Юрию сложенную вдвое бумагу.

— Так. Эйно Райхья… Дозволяется… Комендант… Что везете?

— Лимонад для караула. Не желаете? — В руках у пролетария блеснули две бутылки с ядовито-желтыми этикетками. Юрий слабенько махнул рукой и выронил пропуск — пролетарий ловко поймал его над самой лужей.

— Лимонад? — отупело спросил Николай. — Куда? Зачем?

— Понимаете ли, — отозвался пролетарий, — я служащий фирмы «Карл Либкнехт и сыновья», и у нас соглашение о снабжении лимонадом всех петроградских постов и караулов. На средства генерального штаба.

— Коля, — почти прошептал Юрий, — сделай одолжение, глянь, что там у него в тележке.

— Сам глянь.

— Да лимонад же! — весело отозвался пролетарий и пнул свою повозку сапогом. Внутри картаво загрохотали бутылки, повозка тронулась с места и проехала за фонари.

— Какого еще генерального штаба… А впрочем, пустое. Проходи, пои посты и караулы… Только быстрее, садист, быстрее!

— Не извольте беспокоиться, господа юнкера!

Всю Россию напоим!

— Иди-и-и… — вытягиваясь в седле, провыл Николай.

— Иди-и… — сворачиваясь в серый войлочный комок, прохрипел Юрий.

Пролетарий спрятал пропуск в карман, взялся за ручки своей тележки и покатил ее вдаль — скоро он растворился в тумане, потом долетел хруст стекла под колесами, и все стихло. Прошла еще секунда, и какие-то далекие часы стали бить десять. Где-то между седьмым и восьмым ударом в воспаленный и страдающий мозг Николая белой чайкой впорхнула надежда:

— Юра… Юра… Ведь у тебя кокаин остался?

— Боже, — облегченно забормотал Юрий, хлопая себя по карманам, — какой ты, Коля, молодец… Я ведь и забыл совсем… Вот.

— Полную… отдам, слово чести!

— Как знаешь. Подержи повод… Осторожно, дубина, высыплешь все. Вот так. Приношу извинения за дубину.

— Принимаю. Фуражкой закрой — сдует…

Шпалерная медленно ползла назад, остолбенело прислушиваясь своими черными окнами и подворотнями к громкому разговору в самом центре мостовой.

— Главное в Стриндберге — не его так называемый демократизм и даже не его искусство, хоть оно и гениально, — оживленно жестикулируя свободной рукой, говорил Юрий. — Главное — это то, что он представляет новый человеческий тип. Ведь нынешняя культура находится на грани гибели и, как любое гибнущее существо, делает отчаянные попытки выжить, порождая в алхимических лабораториях духа странных гомункулусов. Сверхчеловек — вовсе не то, что думал Ницше. Природа сама еще этого не знает и делает тысячи попыток, в разных пропорциях смешивая мужественность и женственность — заметь, не просто мужское и женское. Если хочешь, Стриндберг — просто ступень, этап. И здесь мы опять приходим к Шпенглеру…

«Вот черт, — подумал Николай, — как фамилию-то запомнить?» Но вместо фамилии он спросил другое:

— Слушай, а помнишь, ты стихотворение читал? Какие там последние строчки?

Юрий на секунду наморщил лоб.

— И дальше мы идем. И видим в щели зданий

Старинную игру вечерних содроганий.

1991

Ерофеев Виктор
Сила лобного места

1996 год. Это твои лились струйки. Ты сделала выставку Женское Мочеиспускание. Под лозунгом: Больше в Москве туалетов для баб. Это ты крупным планом позировала на мочеиспускательных фотографиях. Твоя нижняя половина. Катя — сердце мое! Я тебя рыщу. Я затолкал в машину весь этот несвежий человеческий фарш, чтобы что? чтобы зачем? чтобы найти тебя.

1995 год. С перебитым носом ты куда? делась? в черных колготках.

1994 год. Патриарх благословил тебя расписывать Елоховский собор. Московская архитектура, московская живопись, московские нравы достигли высокого уровня. Город захорошел. Мостовая морщилась у тебя под ногами. Андрей Рублев в юбке в легкий горошек сбежал. Сил на то, чтобы дать точный адрес, у тебя не нашлось.

1993 год. Московское население активно участвовало во всех событиях. Среди монахов тебя не оказалось. Я знал, что в конце концов ты окажешься под черными колготками мужчиной. Ты

обещала подарить мне свои иконы.

1992 год. Ты обещала подарить мне свои картины 2 на 2, где много кошек, русалок с волосатой грудью и бас-гитаристов, чтобы я завесил ими всю мою квартиру. На Солянке присесть и пописать в ведро. Потом с помощью туалетного приспособления «ёршик» окропить мочой всех собравшихся конкретных подонков. Ты пописала в ведро через черно-красные трусы, чтобы не брызгало. Встала, сняла трусы, надела на голову устроителю, весь этот траур и траур, в узких очках. Все обрадованно стали щелкать. Приезжаем: где она? Как, уже уехала? Прямо так конкретно и уехала? Одна? Куда? К патриарху? Косой, где Катя? Она от меня сбежала в метро. Куда? Я разворачиваю широким жестом поверхностный план Москвы. Москва-река в своем левом городском изгибе похожа на удивленный пенис при прерванном коитусе, в правом — профиль лысого глупца со вздернутым носом. Все улицы переименованы, проехать никуда невозможно. Давай-ка, мать, в метро! Москва является крупнейшим арсеналом и складом продовольствия. Пребывание в Москве оказалось гибельным для войск Наполеона. Почему бой за сортиры был ограничен исключительно мочеиспускательной

темой? Канализация не врет. Царский указ 1714 года о запрещении возводить каменные строения где бы то ни было, кроме Санкт-Петербурга, приостановил строительство Москвы практически навсегда.

Улицу Адама Мицкевича переименовали в Большой Патриарший переулок. Улицу Веснина — в Денежный переулок. Безбожный переулок — в Протопоповский. Площадь Коммуны — в Суворовскую площадь. Новокировский проспект — в проспект Академика Сахарова.

Набережную Мориса Тереза — в Софийскую набережную.

3-й Неглинный переулок — в Нижний Кисельный переулок.

Как я тебя найду? Там одни твои влажные лобки вместо лица. А по лобковым волосам течет твоя сладкая моча, песня моя! Одна разверзная ватина. И тут же ты их окопляешь святой мочой, моя знаменитость. Вот твоя больная плоть с переломанным носом. Улицу Куйбышева — в Биржевую площадь. 1992 год. Ты, говоришь мне на кухне, любишь минет? Ой, говорю, кто же минет не любит? Это, говорю, шестидесятники не любили. А все остальные любят. А кто такие конкретно шестидесятники? Ну, это такие дедуш-

ки-прадедушки, они, говорю, точно не любили. Почему-то. Я поехал на авангардную выставку Женское Мочеиспускание, место конкретных подонков. Солянка, говоришь, возле церкви. Рисуешь рукой богомаза непонятный план. Длинная Танька читает в метро «Философию в будуаре». У нее новый френд: Джеймс Джойс. Ты говоришь по телефону: я никуда не поеду. Длинная Танька бежит по коридору. Лысый глупец со вздернутым носом говорит: я ее найду. Возьмите меня с собой. У тебя нос заложен. На плане все видно.

1947 год. Меня вырастил Сталин. В честь 800-летия Москвы я родился в коммунальной квартире на Можайском шоссе. Мое рождение ознаменовалось различными чудесами. В Москве в одну ночь выросли без всякой человеческой помощи семь красавцев высотных домов: Университет на Ленинских горах, гостиница «Украина», Министерство Иностранных Дел на Смоленской и некоторые другие здания. Руководители партии и правительства признали целесообразным провести в стране денежную реформу и, посетив меня на Можайском шоссе, подарили мне много новых денег с изображением самих себя. Я предложил Сталину прорыть в ударные сроки подземный туннель между Москвой и Катманду для связи с

Гималаями. Сначала конка, а затем уже и метро соединили столицы двух дружеских государств.

1948 год. История не знает выходных дней, Катя. Я лишился невинности в полтора года. Москва не любит затяжного полета девственников. Я запускал пятаки на орбиту в метро на станции «Маяковская». Я знаю, о чем говорю. Меня лишила невинности трехлетняя троюродная сестра Лена во время игры под диваном. Мы тогда переехали жить под диван на улицу Горького.

1949 год. Я долго не говорил. Даже «мама» не говорил. По Благовещенскому переулку мимо коммиссионного магазина с маленькими окошками шли строем милиционеры в баню. Я яростно закричал: почему так много милиционеров?! Будущий помощник Брежнева считал, что это было начало моей диссиды.

1950 год. У нас был свой сталинско-домашний клан. Наш шофер Коля сделал предложение нашей домработнице Марусе. Она, беззубая, закрыла мне глаза. Мы проехали мимо дорожно-транспортного происшествия. Оказалось, однако, что он был женат. Мы расстреляли его у Кремлевской стены. Я не жалею об этом. Это вписывалось тогда в нравы наивно-жестокого времени. Маруся отщипывала хлеб и ела. Не отщипывай, — сказал

ей Коля.

1951 год. С ласковыми почестями он там же и похоронен. Москва — крупнейший научный центр СССР. После отмены крепостного права, несмотря на общий рост, снижался удельный вес текстильной промышленности. Матрешки — японское изобретение.

1952 год. Мой папа — генерал и старьевщик. У него шинель мышиного цвета. За ним бегают дворовые мальчишки и дразнят его немцем.

1953 год. У меня было счастливое сталинское детство, не хуже, чем у Набокова.

1954 год. 122-я средняя школа не раз являлась мне в Палашевском переулке, где в старые времена жили палачи, на месте кладбища. Во дворе школы было много человеческих костей и черепов. Черепами мы играли в футбол, а костями дрались. На вопрос, сколько времени, бабушка всегда отвечала не знаю.

1955 год. Родина послала меня продолжать учебу в Париж. Мы проехали Львов, Прагу, Елисейские поля. Мама сказала: «Видишь, это Елисейские поля». — «Да», соврал я.

1956 год. Осенью в Париже оказалось мало черной икры. Было очень весело: советское посольство на рю де Гренель закидали яйцами с

красной краской.

1957 год. Папа нашел во Франции памятник Ленину и нелегально вывез его в СССР. Когда мы ехали через весь Париж на школьном автобусе в советскую школу, нам запрещалось надевать пионерские галстуки на случай провокации. В школе, возле Булонского леса, я увидел первого живого писателя в своей жизни. Им оказался Катаев. Он сказал нам, советским школьникам: «Вы, может быть, ничего не поймете в этом образе, но кошки бывают очень длинными».

1958 год. По дороге на Каннский фестиваль в сером «Пежо-403» я сочинил свой первый роман «Война и мир». Мы плыли по Сене, и мама сказала: «Эти парни в клетчатых рубахах — американские солдаты». «Янки, гоу хом!» — про себя закричал я. Мы бросились на Солянку с длинной Танькой. Ты сказала, что это будет на Солянке. Мы ходили по Солянке и кричали: Катя, Катя! Кто взял трубку? Кто хрипел с бодуна, что ты никуда не поедешь? Потом пришла зареванная: моя любовница умерла! С перламутровыми руками. Смеешься, кашляешь. Говоришь: здравствуйте. Ну, вот и познакомились. С любовничком — бас-гитаристом.

1959 год. Мы бросались камнями. Французский

хулиган с русской фамилией Орлофф мне камнем выбил передний зуб. Я вернулся в Москву.

1960 год. В Москве, от которой я отвык, оказалось, что хулиганов еще больше, чем в Париже. Они останавливали меня в Трехпрудном переулке и говорили: «Попрыгай!» Если я не прыгал, они меня били. Если я прыгал и в карманах у меня звенела мелочь, они отнимали у меня мелочь. Я решил дружить с хулиганами.

1961 год. Мы ходили с соседом на Красную Пресню поздно вечером смотреть бандитский район. Там всегда было жутко и что-то горело.

1962 год. Космонавты, сказала мне Катя, обязаны быть охуительно красивы. Мой друг-одноклассник, хулиган Коля, убил человека ножом, когда лез на голубятню, чтобы украсть белых голубей. Я очень удивился, когда его после убийства не стали пускать в нашу бандитскую школу учиться дальше.

1963 год. Хулиган Коля пришел ко мне домой и стал просить жвачку. Я дал ему подушечку французского клея, и он долго не мог раскрыть рот.

1964 год. В Москве было тридцать четыре театра, из них четыре детских. В театре Маяковского на представлении «Гамлета» ко мне пристал педераст. Я сидел ни жив ни мертв. С тех пор у

меня Гамлет ассоциируется с Женей Харитоновым. Они сидели с Приговым на одной табуретке в мастерской скульптора Федота Федотыча и до смерти хохотали.

1965 год. Москвы как таковой не существует.

1966 год. А кто ездил по утрам на завод? В Марьину рощу на 13-м желто-синем тупорыле. Кто верил в рабочий класс? Катя, я так далек был от рабочего класса, что верил в него.

1988 год. Не зря Нью-Йорк, по-русски, ОН, Москва-ОНА.

Москва до сих пор горизонтальный женский город, где Кремль, влагалище все еще секретной, загадочной власти, оброс кольцом бульваров. Концентрический, круглый, как бублик, город. Катя раскинулась широко на постели русской равнины, в сонливой истоме, лежит себе, ковыряет в носу, со своими куполами-грудями-маковками. В ней доминируют женская истеричность, женские очереди, в ней женщин видно больше, чем мужчин. Город бабьей энергии, бабьих коммунальных ссор, охов-вздохов, паники, и московская походка — бабья, шаркающая.

Нью-Йорк, напротив, мужской, фаллический, мускулистый. Город вечного возбуждения, крепкой эрекции, где каждый яппи- сперматозоид,

быстро текущий по тротуару Пятой Авеню в расчете на солнечный сентябрьский денек.

1967 год. Разностороннюю культурно-просветительскую работу среди трудящихся столицы ведут 226 клубов, домов и дворцов культуры, а также свыше 3 тысяч красных уголков.

1968 год. Москва — Третий Рим. Политическая теория обосновывает всемирно-историческое значение столицы Русского государства как политического и церковного центра. Изложена псковским монахом Филофеем в характерной для средневекового мышления религиозной форме. Исторической преемницей Римской и Византийской империй, павших из-за уклонения от истинной веры, является Московская Русь: «Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не бысти», шепнула мне Катя.

1969 год. Длинная Танька под утро бежит по квартире блевать в туалет, поскользнувшись, сломала три ребра. Как удивительны замыслы тела! Когда она сломала три ребра, она совсем забыла, зачем она бежала в туалет, и больше об этом не вспоминала, только ахала и сердилась.

1970 год. Ты вышла брать машину, чтобы ехать домой. И когда ты села в машину, подвернулся попутчик и говорит: мне тоже в Теплый стан. И

тогда я тебя перебил и сказал: — А вы разговаривали по дороге? — И ты мне что сказала? Нет. — И тогда я сказал: — Надо было разговаривать. И тогда, на Окружной дороге, он схватил тебя за волосы и стал тыкать тебя в свой мерзкий хуй и говорить: соси! соси! А потом они тебя выкинули из машины и засунули тебе в 1989 году грязь и глину в попу и в женские органы, и ты потом все это отмывала с помощью друзей шампанским, потому что шампанское хорошо все это дезинфицирует, а потом они тебя переехали своей Волгой и уехали, думая, что тебя больше нет. А еще тебе, как на грех, после изнасилования, с разбитым носом, попались дети в лифте, и они тоже сказали: соси нам! И ты стала хохотать и сказала: вы сначала научитесь пить водку, а потом уже приставайте к женщинам! И они тебя стали жутко пиздеть.

1971 год. А еще ты сказала длинной Таньке, что она пиздит, что ребра у нее не сломались, а если там что-то екает, так это только из ревности к нашему счастью.

1972 год. Вы были, солнце мое, обе очень смешные. Но особенно смешным был твой любовничек, который подсел ко мне на кухне и стал читать свои стихи про кикимор, а длинная

Танька ему говорит:

— Ты себе смертный приговор подписал, потому что ты сказал, что не позволишь Катьке трахаться с дураками, а он-не дурак. И тут я встал и ушел, чтобы они сами разбирались, и они все ушли: и рыжий еврей, который выжрал всю бутылку джина, и его подруга, которая не хотела быть лесбиянкой, хотя длинная Танька ее уговаривала, потому что вы с длинной Танькой агрессивные лесбиянки и вы всех уговариваете целоваться и трахаться и валяться на полу в поцелуях.

1973 год. Я был уверен, что Москва — это мокрое финское слово.

1974 год. В тот год на яблочный Спас в Москве закурили на улицах женщины. Раньше они не курили, и — вдруг закурили. Что сказал напоследок этот рыжий еврей, я все ждал, что он скажет что-нибудь путное, что-нибудь вербально неуместное из прошлого или из следующего тысячелетия, но он только сказал, что всякое определение ограничивает, а это, по большому счету, противно самой идее Евангелия от Иоанна, и он попросил, чтобы ты его поцеловала, и ты ему резко отказала, радость моя.

1975 год. Что такое цыганский поцелуй? Ну

вот, ты еще по телефону мне сказала, что я буду твоим сегодняшним «другом», еще не видя меня, но только слыша мой, как это писала британская пресса? мой, писала она, гипнотически «бъютифул войс». Но все фатально не складывалось. Во-первых, когда эти все собаки удалились, ты мне сказала, сними мне платье, и я снял твое платье в легкий горошек через голову, и что я тебе сказал? Я, сильно лукавя, сказал, что ты опоздала на тридцать лет, потому что мне тридцать лет назад парижские девушки на баррикадах 1968 года рассказывали о том, что они любят лизать небритые жопы, и ты фатально опоздала со своей московской любовью к геморрою.

1976 год. Что такое цыганский поцелуй? Он образуется из небольшого болота близ населенного пункта Старкове на высоте 256 м. Ты выходила, чтобы ехать ко мне, из своей разбитой ремонтом квартиры с любовничком, когда зазвонил телефон и оказалось, что она умерла. Ты приезжаешь ко мне сухая, без слез, но постепенно в тебе собираются мысли насчет ее перламутровых рук и волосатой в треугольнике между сисек и пупка груди, и ты даешь волю своим чувствам и начинаешь мне рассказывать по-новой и по-новой о том, что муж ее так лупил, так лупил, что она была

вынуждена носить толстые черные колготки. И наконец, некоторое разочарование: когда я снимаю с тебя твое платье в легкий горошек через голову, я обнаруживаю, что твои груди несколько устали, они так устало, невесело висят, с усталыми отпечатками от черного лифчика, не то что у длинной Таньки, у которой они ни чуть-чуть не висят. И тогда я говорю, собственно, то, что мне приходит в голову: а похожа ли та, убитая, на тебя? Ну, по духу! И какая в сущности между вами разница? И ты, кусающаяся при ебле, и она кусающаяся, и ты активная лесбиянка, и она тоже, и значит, прав ее бандит с деньгами, киллер или кто он там, кэмел-трофи, прав, что убил.

1977 год. Вся Москва любит Хармса. Ты уже доела всю банку со сливовым вареньем. Осталось на донышке. Не больше двух ложек. Поскреби. Оставь! Не жри котлету!

1978 год. Морда твоя, радость моя.

1979 год. Я знаю, к слову, о том, что черный заговор двойного минета начало раздора.

1980 год. Поговорим о Катманду. В конце концов, не зря соединенное с Москвой посредством метро государство парит в Гималаях, как дырка в космос. Я не зря был в Лумбине на родине Будды. С меня сошел христианский комплекс вины.

1981 год. Все ближе и ближе развязка. Москва является крупнейшим издательским центром, гордостью советской полиграфии. Здравоохранение в дореволюционной Москве не удовлетворяло элементарной потребности населения. Борьба с туберкулезом, кожно-венерическими заболеваниями проводится широкой сетью диспансеров и диспансерных отделений и кабинетов. Мы с тобой не носим в наших штанах презервативов.

1982 год. Тридцать восемь градусов в тени — выше этой отметки никогда-никогда не поднималась московская температура в июле-августе. Умеренно континентально.

1983 год. Школа бортпроводниц Шереметьевского аэропорта. Занятие в лингафонном кабинете.

1984 год. Я знаю, что до конца 15 века лечебную помощь в моем родном городе оказывали только знахари и повивальные бабки. Применялись средства народной медицины — травы, коренья, ягоды, специально приготовленные внутренности животных. Мы стоим над длинной Танькой и смотрим, как она корчится от боли. Основные принципы советской медицины, по-моему, это профилактическое направление, бесплатность, общедоступность, активное участие самих трудя-

щихся в деле охраны здоровья.

1985 год. «Дети в советской Москве всегда были в цене: их сдавали с грудного возраста в аренду, чуть ли не с аукциона, нищим. И грязная советская баба, нередко со следами ужасной болезни, брала несчастного ребенка, совала ему в рот советскую соску из грязной тряпки с нажеванным хлебом и тащила его на холодную советскую улицу. Ребенок, целый день мокрый и грязный, лежал у нее на руках, отравляясь соской, и стонал от холода и постоянных болей в желудке, вызывая участие у советских прохожих. Бывали, однако, случаи, когда советское дитя умирало утром на руках нищей, и она, не желая потерять день, ходила с ним до ночи за подаянием...» (Из тайного доклада Михаила Горбачева на апрельском Пленуме ЦК КПСС.)

1986 год. Очень конкретные подонки.

1987 год. Иногда я, как Пушкин или Чаадаев, люблю писать не важно что по-французски: Moscou n'existe pas... Paris, formidablement reelle, existe sans consideration du temps qu'il fait, de votre humeur ou de vos finances, de vos liens personels avec les Pari-siens. Paris existe sans vous. Moscou, au contraire, a grand besoin de vous pour acquerir quelque realite. Son seul architect, c'est vous, memo

si vous n'etes pas un professionel! Moi non plus.

1988 год. Мне четыре года. С моей няней Марусей Беловой, она из-под Волоколамска, мы ездим на метро в парк Сокольники. Там мы играем в шахматы, все завалено снегом, и близится март, и мы сидим на скамейке верхом, и играем в шахматы. Она не умеет, и я не умею, но, когда я проигрываю, я плачу, и Маруся меня утешает как может.

1989 год. Что я хочу доказать? Почему ты с таким удовольствием толкаешь мне палец в попу? К чему эти проявления женского тщеславия и власти? Почему бы нам с тобой не подумать о пожизненной любви? Почему вы обе такие ваньки-встаньки? Почему, когда ты раздеваешься, начинает одеваться длинная Танька, а когда я ловлю ее и она раздевается, ты хватаешься за платье в легкий горошек? Неужели мы вывели простейшую формулу ревности?

1990 год. Наконец, мы втроем. Длинная Танька с интересом смотрит, как ты делаешь мне минет. Она никогда не наблюдала минет со стороны. Она оказалась гораздо свежее тебя. Ты оказалась далека от совершенства. У тебя оказался вполне обывательский лобок. Ты даже задумываешься на секунду над возможностью несуществующего

презерватива. Ты больше для меня не существуешь. Ты не существенна. Я опять накололся. Остается лишь кончить и прогнать вас при первой удобной возможности.

1991 год. Ты не столько ебешься, сколько кусаешься. Мне приходится держать тебя за волосы, чтобы ты не обкусала меня до костей. Все заканчивается женской истерикой. После незамысловатых пирамид, в духе моего советского детства под Парижем, где-то возле пионерского лагеря в Манте, где в садах была такая сладкая черешня, ты в голос рыдаешь. Твоя подружка забралась на небеса со своими перламутровыми руками. Все это только повторение повторения. Длинная Танька размазала всю свою французскую косметику. Она так хотела прийти ко мне в длинном лиловом платье! Ты сидишь у кровати и рыдаешь. Мне ничего не оставалось, как подрочиться в твое рыдающее лицо. Посмотри не меня, собака! Лови! Лови! Она ловит все что надо и не надо, поймала.

1992 год. Я понимаю, что я разучился думать. Я понимаю, что плоские игры моей родины обворовали, растратили меня на пустяки. Москва приобретает очертания города. Пора ей снова облупиться до основания, расползтись по подвалам.

Только это вернет мне способность соображать. Русское счастье опасный оксюморон.

1993 год. Я ненавижу тяжелый московский быт. Я ненавижу либеральные мемориальные доски, покрывшие Москву, словно сыпь. Я ненавижу отсутствие очередей. Я разрезаю Москву на несколько кусков. Дымится пролетарский восток кулебяки. Хрустят на зубах пустые бутылки в Текстильщиках. Лишенный с детства истории, я невольно оказываюсь ее непосредственным свидетелем и понимаю, что она для меня слишком мелка и нелюбопытна. В коридоре слышатся охи длинной Таньки. История продолжается, на этот раз в виде псевдогуманистического финала. У длинной Таньки что-то екает в спине под кожей. Хорошо еще, что она не разбилась насмерть. В Москве нельзя болеть и дико умирать. Голая страдающая баба страшнее и омерзительнее опрокинувшегося на спину жука. Она не вызывает ни желания, ни сострадания. Ее хочется вымести веником вон из квартиры. Я делаю вид, что хочу вызвать «скорую помощь». На самом деле я стою на рассвете и курю в ожидании, что будет дальше. После варенья ты перешла на котлеты и креветки. Солнце мое раскулачила мой холодильник.

1994 год. Городская дума полностью пренебрегала интересами трудящегося населения. Городская канализация сооружалась в течение 24 лет и до сих пор обслуживает лишь центральные районы. 95 % московского населения не употребляет туалетную бумагу, предпочитая газеты и старые письма. Я жду прихода большевиков как награду за собственное инакомыслие, как отличительный знак непрозрачности дикаря, спасительной инаковости, как расплату за ложную идентичность, как экзортический способ продления русской материи. Я думал, что московская мафия возьмет на себя все функции непроницаемости. Я думал! Но она оказалась подвержена коррозии всеобъемлющей одинаковости, она уже распорядилась отдать детей в престижные школы, они уже в Гарвардах пишут на отцов доносы, эти павлики Морозовы шиворот-навыворот.

1995 год. Я обещал рассказать поподробнее о твоей детской пизде, светлой, не окруженной срамными делами, я обещал, но боюсь, что не справлюсь с заданием. Москву нетрудно обидеть, засомневавшись в ее бессмыслице, отсутствии логики, культурных ориентиров.

1996 год. La place Rouge. Sur son ventre incline, qui me rappelle la rotondite de la Terre, vous decouvrirez

un curieux nombril, l'Echafaud, grand comme une piscine gonflable. Запад нам нужен ровно настолько, чтобы в нас самих его не было вовсе.

1997